

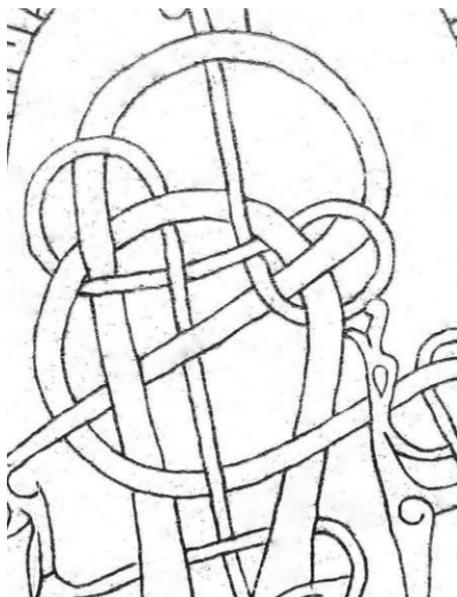
Иван Коновалов
Очерки современной деревни
Дневник агитатора

материалы по истории позднеимперской России
том 02

Издательство Упыря Лихого
2022

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Иван Коновалов

Очерки современной деревни

Дневник агитатора

Издательство Упыря Лихого

2022

Второе издание (в современной орфографии и в новой верстке).

Книга полностью повторяет оригинальное издание (Санкт-Петербург: Издательское товарищество писателей, 1913), с исключением двух малоинтересных очерков, не содержащих личных наблюдений автора.

Все книги из серии «Материалы по истории позднеимперской России» предназначены для свободного распространения и размещены на сайте library6.com

library6@yandex.ru

Оглавление

Предисловие.....	1
Очерки современной деревни.....	20
В деревне	20
Землеустроители	54
Новый помещик. Из записной книжки современного деревенского наблюдателя.....	103
Деревенский интеллигент	169
На хуторах. Заметки деревенского наблюдателя	214
Пролетаризация деревни. Заметки.....	299
Чье преступление?.....	317
Деревенские картинки	334
Случаи.....	385
Дневник агитатора	398

Предисловие

В настоящем посмертном издании сочинений И.А.Коновалова собрано почти все литературное наследство молодого автора, так рано, 28-ми лет, порвавшего счеты с жизнью. Не велико это наследство по объему. И как бы ни было оно ценно по содержанию, по интересу и по заложенным в нем богатым возможностям, не надобно забывать, что литературе, собственно, этот даровитый самородок посвятил лишь последние четыре-пять лет своей недолгой жизни, да и эти немногие годы литературной работы значительно сокращаются многими месяцами ежегодных тюремных высидок. Симпатии Коновалова влекли его в сторону общественной деятельности, и можно сказать даже, что он превращался в литератора лишь по мере того, как чувствовал себя утомленным «товарищ Николай», — конспиративная кличка, под которой Коновалов, как партийный работник, был известен среди рабочих, пользуясь там широкой популярностью и любовью.

И вот потому именно, что литература, которую он страстно любил, все же не заполонила души Коновалова; что в его литературных произведениях не успела с достаточной полнотой выразиться вся его богатая индивидуальность, я поставил себе целью в предлагаемом вступлении показать читателю живое лицо покойного автора, в его переживаниях и в его деятельности.

I

Вскоре после самоубийства Коновалова один из друзей его напечатал в «Саратовском Листке» (6 мая 1911 г.) некролог, в котором, подчеркивая обычную жизнерадостность своего

покойного друга, называет смерть его «страшной и непостижимой».

«Ивана Андреевича Коновалова — читаем мы в этом некрологе — я знал очень хорошо. Это мой товарищ детства. Вместе учились, вместе росли, вместе увлекались в свое время Майн Ридом и Жюлем Верном и вместе же собирались ехать в Америку к индейцам и плавать под водой... Это был тогда веселый, подвижной мальчик, любивший пошалить, посмеяться; превеликий мастер на всякого рода школьные проделки. Веселый, способный мальчик, превратившийся в здорового, жизнерадостного юношу...»

Веселый и жизнерадостный.

Таким запечатлен Коновалов в памяти товарища его детских и юношеских лет. Таким же должен был сохраниться образ его и в памяти тех, кто видел и слышал «товарища Николая» на собраниях, сходках и митингах, внушающим своим собеседникам и своей аудитории бодрость и веру. Да иначе и быть не могло. «Ведь, мы официальные пропагандисты жизнерадостности», — пишет он в «Дневнике агитатора», и тут же, несколькими страницами дальше, он говорит о «беспричинной, мучительной тоске», которая беспрестанно «съедает» его, и от которой ему «все казалось немилым и отвратительным; а жизнь совершенно ненужной».

Остро воспринимающий все впечатления бытия, он легко, в кругу друзей своих, заражался шаловливой веселостью, передавая и другим это свое настроение. Но, веселый и жизнерадостный со стороны, он в глубине души своей таил непреодолимую муку, о которой только в беллетристических своих опытах да в самых интимных письмах к сестре и к жене раз-

решает себе не говорить уже, а вопить: «кому повем тоску мою?»

Но как «поведать», как сделать понятным для других, хотя бы и самых близких людей то, что было непонятным и необъяснимым для него самого и что своею непостижимой тайною еще больше тревожило и мучило его?

А между тем это непостижимое завладело его душой с самого раннего детства. «Клянусь, — писал он в 1908 г. жене из тюрьмы, вспоминая свои детские годы, — клянусь, что я помню, как в душе моей зрело какое то смутное противоречие и досада»... И в том же письме он дает ключ к этому своему настроению, очевидно, сам не сознавая этого. «Среди могучего леса, среди орлов, ястребов и других хищников — пишет он здесь — провел я дни детства, не боясь их, любя и понимая их жизнь. А дома меня учили низкопоклонничать, льстить и трястись перед каждым «барином»...

Простой и ясной даже для детского ума жизни природы здесь противопоставлены человеческие отношения в той сложной путанице, в какой они предстали перед Коноваловым с первыми проблесками его только что пробуждающегося сознания.

Отец Коновалова был полицейским в маленьком уездном городке. Это скромное служебное положение отца вполне, однако, удовлетворяло честолюбие ребенка. «Я — вспоминает он впоследствии — гордился, что моего отца все зовут Андрей Иванович, что он полицейский и «любого может забрать в полицию»... И в то же время этот «властный», в представлении ребенка, человек мог обеспечить своей семье только полуголодное, полное всяческих унижений существование. Об этом

периоде своей жизни Коновалов рассказывает в «Дневнике агитатора» без всяких прикрас поэтического вымысла, которым на других страницах «Дневника» он старается иногда прикрыть житейскую правду этого автобиографического произведения. «Мы росли — говорит он в «Дневнике» — под постоянным страхом голодной смерти, непосредственно следующей за увольнением отца. Не удивительно, что отец дрожал за свою должность, низкопоклонничал, приучая к этому и нас. То и дело мы носили надзирателям и их женам букеты ландышей, корзины грибов и ягод, которые нам удавалось собрать в лесу». В письме к жене он вспоминает о чувствах обиды и зависти, которые ему приходилось испытывать в своих сношениях с одетыми и сытыми сверстниками, товарищами по играм. Чувства свои он таил про себя, обнаруживая их, как он сам выражается «дебоширством». И те веселые «школьные проделки», о которых нам говорил в «Саратовском Листке» друг детства Коновалова, в рассказе этого последнего приобретают характер обдуманной демонстрации. «Помню — рассказывает он — Петька (сын богатого купца) пришел к нам в новом «пинжаке». А мне так давно обещали и не шили. Тотчас же явилось желание уравнивать форсуна с нами. «Ребятишки! — крикнул я — кто в пинжаках купаться — вали!» И первый бросился в своем засаленном костюме в реку. Все кинулись за мной. Петька долго стоял в нерешительности, а затем, глотая слезы, полез в воду в своей обновке».

Семи лет Коновалов поступил в приходскую школу, откуда затем, по настоянию учителей, перешел в городское училище. Недюжинные способности мальчика внушили его отцу мечту о том, чтобы вывести сына «в люди», т. е. в чиновники. Однако, как ни тянулся отец, дальше городского училища

повести сына не было никакой возможности. Семья была запутана в долгах, и, по окончании училища, перед Коноваловым открывались два выхода: или писец в полиции или почтово-телеграфный чиновник. И хотя последний выход требовал известной предварительной подготовки, — «кандидатства», связанного с бесплатной службой, — Коновалов остановился на нем. По-видимому, выбор сына был сделан с полного одобрения отца. Так Коновалов случайно подслушал беседу отца с матерью, беседу, которая, по его собственным словам, осталась ему памятной на веки и, которая, быть может, положила начало той трогательной привязанности, которую сын сохранил к отцу, несмотря на разницу во взглядах, до последних дней своей жизни. Из этой беседы он впервые узнал, что отец с отвращением и презрением относится к своей почетной в околотке полицейской должности; что выше всего в жизни он ценит независимость и страстно поэтому мечтает о самостоятельной жизни земледельца, связывая между прочим, эту мечту с будущей служебной карьерой сына.

II

Но вот прошли годы ученичества и «кандидатства», годы, когда перед Коноваловым стояла определенная цель, требовавшая от него значительных усилий и напряжения. В 16 с половиною лет он облечен в нарядный мундир почтово-телеграфного чиновника и получает 24 рубля в месяц жалованья, почти вдвое больше, чем старик-отец, который теперь гордится сыном. «Есть чем гордиться и есть чему позавидовать! Многие наивные и завидовали, — пишет он в одной из своих начатых, но незаконченных автобиографических пове-

стей: — меня же глотала непонятная мне, мучительная тоска... Если бы меня спросили в то время, отчего мое сердце рвет на части какая-то неудовлетворенность, я бы не смог ответить. Я сам не знал, чего мне не достает и, когда в уме пробовал перечислить все лучшее, что я мог в ту пору представить, то не находил ничего, что бы могло успокоить меня хоть на минуту. Много денег, повышение на службе, красавица-жена, — нет, все не то, не то»...

Чтобы как-нибудь избавиться от этого ужасного состояния, он набрасывается на книги, но неудачный подбор их скоро охлаждает его читательский пыл; начинает пить, но и водка не дает забвения; задумывается о самоубийстве, но неотвязная мысль об отце, о семье, которые так много и так долго рассчитывали на его поддержку, пока еще удерживает его от этого последнего шага.

Письма, которые он пишет теперь своей старшей сестре, переполнены трогательными и наивными жалобами и просьбами помочь ему. Привожу отрывок из двух его писем, датированных 1900-м годом.

«Дорогая сестра! Доводилось ли когда-либо тебе испытывать то, что делается со мною? Страшная тоска давит грудь, скука и одиночество убивают, чего-то хочется, но чего именно, не знаю сам... Скучно! Эх, как скучно! Умереть — это единственный выход, но этим убьешь своих» ...

«Дорогая сестра! — жалуется он в другом письме: — мне скучно! Эх, как скучно! Какое мучительное состояние. Дорогая сестра! Видишь ли, как мучается брат твой, как ему скучно, как тяжело убивать свои юные годы! Я часто плачу; плачу, как малый ребенок, как дитя, потерявшее мать... Порой сердце

томительно сжимается, к чему-то стремясь, и я готов отдать все, что имею, чтобы узнать, чего я желаю, но тщетно. Дорогая сестра! Ты старше меня, опытнее, научи меня, что делать, — ведь помру от такого состояния...»

В «Дневнике агитатора» Коновалов утверждает, что «только это (т. е. тоска и невозможность отыскать ее источник), одно это» и толкнуло его на путь революции.

Случилось так, что в конце того же 1900 г. Коновалов был переведен в г. Петровск. Здесь он встретился и постепенно сошелся с группой революционно настроенной молодежи, среди которой оказались близкие друзья его детства. Он втянулся в этот кружок и с увлечением отдался революционной работе.

В 1902 г. он был арестован и перевезен сначала в Саратовскую, а потом в Самарскую тюрьму. Каким-то образом, без всяких оснований, его пристегнули к делу Балмашова и поддержали в тюрьме 2 1/2 года.

В первые месяцы тюремной жизни к юноше, по-видимому, вернулось его старое мучительное душевное состояние. Он тосковал о родных, которые теряли в нем обещанную поддержку, тосковал о бесполезности своей жертвы, так как — рассуждал он — едва ли дело революции выиграло что-нибудь оттого, что он роздал кому-то несколько прокламаций и брошюр. В начале 1903 г., после большого провала в Самаре социал-демократов, тюрьма переполнилась массой новых интересных людей. В связи с этим значительно изменились к лучшему условия материальной и духовной жизни Коновалова. Он оживился и стал усердно работать над своим самообразованием. Один из сидевших в это же время в Самарской тюрьме

вспоминает о Коновалове, как о прекрасном товарище, нежном друге и пламенном партийном деятеле. Коновалов постоянно заботился и беспокоился о ком-либо из товарищей и никогда не думал о себе. Энергия была в нем ключом и, не находя ей выхода, он издавал рукописную тюремную газетку «Всем сестрам по серьгам» и ухитрялся вести пропаганду не только среди тюремного населения, среди уголовных и тюремной стражи, но и среди проходящих мимо тюрьмы рабочих, с которыми он вступал в беседы из окна своей камеры. За эти из-оконные выступления и речи товарищи в шутку прозвали его Мирабо. По отзывам всех знавших Коновалова, он вообще умел сблизиться с людьми, подходил к ним открыто и просто, но родственные натуры находил гораздо чаще в крестьянской и рабочей, чем в интеллигентской среде.

В Самарской тюрьме мирозерцание Коновалова постепенно эволюционировало в сторону марксизма, и по выходе из тюрьмы он вступил в ряды социал-демократии, как активный работник партии. Через неделю после своего освобождения он принимает участие в политической демонстрации, а затем, скрываясь от полицейского надзора, он вынужден был перейти на нелегальное положение. С этого момента начинается новый период в его жизни, — период, полный опасностей, приключений, напряженной, захватывающей работы и... ежегодных тюремных высидок. Сам Коновалов сравнивает этот период своей жизни с швейцарским железнодорожным путем, по которому поезд мчится, то ныряя вдруг в абсолютный мрак туннелей, то снова появляясь на ярко-освещенных солнцем цветущих берегах зеленых и голубых озер.

С большим подъемом и успехом ведет он агитационную работу в целом ряде городов Поволжья и Урала, пока развернувшиеся события не призвали его в Петербург, в центр.

Здесь «товарищ Николай» имел возможность развернуть всю свою огромную энергию. И вот, что рассказывает об его петербургской партийной работе ближайший свидетель ее А.Брам, любезно предоставивший свои воспоминания о Коновалове в наше распоряжение.

«Как партийный деятель и вождь, Николай выдвинулся сразу же в митинговую эру. В ночь 18 Октября он был на улице и, в качестве одного из диктаторов Петербурга, шел с белым платком на шляпе впереди толпы, ведя ее к тюрьме; к этому же времени относится и полупоупендарный факт его ареста и непосредственного затем освобождения по личному приказанию Витте. Нечеловеческая энергия покойного меня всегда поражала. «Дневник агитатора» лишь в слабой степени дает понятие о совершенной им сумме работы. — С конца сентября, весь октябрь, ноябрь и декабрь 1905 года ежедневной работы, — страшной, напряженной, с утра до поздней ночи — утром на Обуховском, в полдень на Семянниковском, в три часа в штабе района, ответственным руководителем которого он являлся, вечером в комитете районном или подрайонном на заседании коллегии агитаторов или в Совете Рабочих Депутатов и, наконец, ночью возвращение из-за заставы домой, обыкновенно пешком, чтоб утром начать такой же день, и так в течение месяцев. Но Николай остался тем же, когда другие уже ушли из работы. С февраля 1906 г. он с головой ушел в избирательную кампанию первой Думы, ведя в то же время отчаянную фракционную борьбу в районах перед конференцией, долженствовавшей решить вопрос о бойкоте Думы. В то же время он

постоянно сотрудничал в партийной прессе, а раз я его застал в довольно странном положении и за странной работой. Лежа на полу, он раскладывал по порядку бесчисленное количество вырезок из газет, наклеивая их опять-таки в особом порядке в тетрадь. Уже тогда, среди горячки революционной работы, он собирал материал по эволюции русской деревни, — тема, для которой он так много сделал потом, как журналист. В мае я уже вижу Николая в Москве опять за работой, то как сотрудника «Светоча», то как члена общегородской конференции, то как агитатора па грандиозном митинге типографщиков в Грузинском саду в их борьбе против первого русского локаута, то «На Трубе» у Гужона, то в мастерских Курской дороги, то в дискуссии с анархистами в Марьиной Роще. В июне мы должны были расстаться. В Казани, куда он попал, Николай был арестован и выслан в Томск, но в ноябре я уже пожимал ему руку в Петербурге после счастливого возвращения из ссылки. Опять та же работа. Вторая избирательная кампания, еще более ожесточенная, чем первая, и уже без тех милых, ободряющих улыбочек, которыми нас встречали кадеты весной — и рядом та же отчаянная фракционная борьба по вопросу о блоках перед конференцией. Николай опять в первых рядах, опять член конференции и комитета, опять за работой. Весна прошла в подготовке съезда, Николай как делегат Ц.К. едет в Луганск, возвращается и снова в Питере. После роспуска Думы он продолжает нервно бороться за возможность осуществления революционных иллюзий (см. «Дневник агитатора»). Временно изолированный, я потерял его из виду. Зимой 1907 г., в эпоху начавшегося повального бегства интеллигенции и распада организации—Николай все время на своем посту. Мельком встречаю я его в Финляндии, опять как члена ответственного

партийного собрания. Арестованный на одном из них, он попадает на год в тюрьму... 1908 год, год еще более тяжелый, год гробового молчания масс, почти полного прекращения работы, падения не только революционной волны, но и всеобщего обратного течения даже предреволюционных симптомов, вплоть до судорожной борьбы университетов за автономию — и Николай снова, как делегат комитета на собрании студенческой социал-демократической группы старается вдохнуть новый жар в потухающее движение. Весною 1909 года я ждал Николая у него на квартире, освобожденного только что из тюрьмы после годовой отсидки. Он пришел такой-же, как всегда, все с той же энергией и волей. И только раз, в период самой тяжелой реакции и Третьей Думы 1910 г., когда фактически всякая работа стала, а среди еще копошившихся и, по характерному выражению, «скрипевших людей» каждый с опаскою оглядывался на другого, «не провокатор ли», — только раз услышал я от Николая жалобу, вздох, затаенное недовольство и как бы усталость от партийной работы. Волею судеб, только моментами наезжая в Питер, я не мог, увы, быть теперь, как прежде, близок с ним; о состоянии его души — дает понятие его «Дневник».

III

А. Брам, еще за два месяца до смерти Коновалова, вел с ним полушутливый разговор на тему о самоубийстве, причем Коновалов относился к этому способу расчета с жизнью с полным отрицанием. Свои личные переживания, свои сомнения, свою тоску он таил про себя, оставаясь для окружающих все тем же «пропагандистом жизнерадостности», каким он

был, каким считал себя *ex officio*. В глазах окружающих его эта жизнерадостность Коновалова должна была казаться тем более несомненной, что она как будто подтверждалась даже его личным поведением, — той, подчас сумасбродной удалью, которой он не был чужд вплоть до легкого авантюризма.

«В его голове — рассказывает А. Брам — роились не раз самые рискованные мысли. Я помню его бегство из конвоируемой толпы арестованных, помню сумасбродную попытку самозаконности, когда он в один прекрасный день вдруг вздумал съехать с квартиры в качестве Соснина, въехав в нее же в качестве Коновалова. Мы ахнули, он только смеялся, однако все же был несколько смущен, когда получил через несколько дней приглашение явиться участок. В сюртуке (откуда он его взял?), с подушкой в одной руке и кипой книг в другой, отправился он к властям, полагая оттуда отправиться прямо в тюрьму. На этот раз все сошло с рук благополучно, впрочем мало ли что не сходило благополучно в 1905 году? Помню и другие «предприятия» товарища Николая. Помню, как он с толпой своих соратников атаковал ночью за заставой конку и затем, пригласив пассажиров выйти, валил вагон на рельсы, чтобы затормозить движение; помню, как держал совещание о разгроме черносотенной типографии; помню, как, остановив нежелавший бастовать завод, приказал временно арестовать городского, тайком пробравшегося к телефону, помню и другие «неудобо-оглашаемые» факты...»

Интимный мир внутренних переживаний Коновалова был недоступен для посторонних. Неудивительно поэтому, что в глазах даже близких людей «товарища Николая», видевших, с какой расточительной щедростью этот «веселый, жизнерадостный» человек разбрасывает свои силы в общей партийной

работе, самоубийство его явилось загадочной и ничем необъяснимой катастрофой. Только «Дневник агитатора», появившийся в печати после смерти Коновалова (в «Совр. Мире», 1912 г., в 3 и 4 книгах), но написанный им задолго до катастрофы, вскрывает логическую необходимость последней.

С детства неудовлетворенный и даже обиженный социальными противоречиями, которые больно отражались на его личной жизни, Коновалов, — со своими страстными устремлениями в какую-то заманчивую, но неизвестную даль, со своей мучительной и, как он сам формулировал, «беспричинной» печалью, — печалью, во всяком случае, «о не своем горе», — был типичным романтиком. Если бы его сестра, письма к которой я цитировал, знала литературу, то на обращенную к ней мольбу она могла бы ответить: «то, чего ты так жадно ищешь, но имени чего не знаешь, — это «голубой цветок» немецких романтиков. Прекрасен и благоуханен этот цветок, но увы! и для них он остался неведомым, таинственным».

Впрочем, что касается Коновалова, то он оказался гораздо счастливее немецких искателей. Он нашел цветок, он видел его, и было время, когда он утолил тоску свою. Беда была не в том, что, вместо голубого, цветок оказался красным, — красным цветком революции, — а в том, что цветы вообще, — и голубые и красные и всякие другие, — вянут. И когда Коновалов подметил увядание своего драгоценного цветка; когда революция пошла на убыль, к нему вновь стала подкрадываться его старая тоска, на этот раз безнадежная, безысходная. «Революционная волна, которая давала цель моей жизни, умерла. Вместе с ней умираю и я. Ждать другой — нет сил» ... Так в «Дневнике агитатора» гласит предсмертная записка Герасима. Коновалов не оставил после себя такой записки. Не

оставил потому, что некоторое время еще пытался, не выпустив из своих рук увядающий красный цветок, овладеть и голубым. Он искал этот последний в литературе, в личных привязанностях, но ни там, ни здесь он не нашел, да и не мог найти того, что дала ему революция: той «постоянной жгучей атмосферы», без которой—признавался он в «Дневнике» — «мы не сумеем жить».

Романтик в жизни, романтик в партийной работе, Коновалов не мог, конечно, не обнаружить своего романтизма и в литературной деятельности. Он был слишком честен и искренен, он слишком уважал литературу для того, чтобы в ней позволить себе рядиться в какой бы то ни было маскарадный костюм. Я не говорю уже о «Дневнике агитатора», этой опозитизированной авторской исповеди, от начала и до конца обвеянной настроением революционера-романтика. Но и в деревенских его очерках, обнаруживших вместе с правдивостью, большую наблюдательность молодого автора, чувствуется все тот же романтик, с его постоянной тревогой и тоской о чем-то ином, лучшем, чего нет, но что хотелось бы видеть, и о чем автор не может не сказать, то и дело забывая о взятой на себя роли объективного наблюдателя и регистратора деревенской жизни.

IV

Я не могу гадать о том, в какие формы вылилась бы литературная деятельность Коновалова, если бы в самом начале ее он не сошел в преждевременную могилу. Теперь же, и смешанной художественно-публицистической формой своих

произведений, и даже сюжетами их, он сильно напоминает Глеба Успенского.

Гл. Успенский—один из любимейших писателей Коновалова. Последний часто вспоминает и цитирует Успенского и, весьма возможно, что иногда он даже сознательно подражает любимому автору. Не помню, отметил ли кто-либо из критиков эту черту подражательности Коновалова, но во всяком случае никто не осудил ее в писателе, хотя говорили о нем не мало и нередко. Это значит, что манера Успенского шла к Коновалову, т. е. не противоречила тому новому содержанию, которое начинающий автор вложил в старую форму. И надобно признать, что, приискивая форму для своих первых литературных замыслов, Коновалов тем более вправе был остановить свой выбор на Успенском, что между ними есть несомненное духовное родство, определившее и духовную их преемственность.

Прежде всего Коновалова с Успенским сближает общее им настроение, — тоска, печаль «о не своем горе», которая, как мы знаем, всегда сопутствовала Коновалову и которая, в то же время, была так характерна для Успенского. «Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, от чего это происходит» — писал Успенский, вспоминая свои отроческие и юношеские годы. А потом это «адское душевное состояние», преследующее Успенского всю жизнь, вплоть до полной потери душевного равновесия, до безумия, которое не редко мерещилось и Коновалову, пугая его воображение. Здесь Коновалов подходит к Успенскому так близко, что со стороны их можно было бы принять за родных братьев, наделенных одной общей наследственностью.

Дальше нельзя не отметить полную в социальном отношении тождественность их литературных выступлений. Начало литературной деятельности Успенского совпадает с крестьянской реформой, с моментом, когда по его собственным словам, «большого художника, с большим сердцем, ожидало полчище народа, заболевшего новой, светлой мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге и, несомненно, к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу; сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскаливших от злости зубы!» ... Глеб Успенский оказался сам этим «большим художником, с большим сердцем», который с такой силой художественной правды изобразил именно эту «рвущуюся с пути» массу, в самых разнообразных ее проявлениях.

У Коновалова были все задатки для того, чтобы стать если не таким же перворазрядным, как Успенский, то все же «большим художником, с большим сердцем». Он не успел развернуть перед нами всего запаса своих писательских талантов. Но и то, что он дал нам, обнаруживает в нем художника того же заболевшего новой мыслью полчища народа, который сорвался с места в исторический момент, однородный, по своей социальной сущности, с моментом крестьянской реформы.

Наконец, еще одна существенная черта, сближающая Коновалова с Успенским.

Как мне уже приходилось писать в другом месте, Успенского интересовала не статика явлений, а их динамика, вопрос, не что есть, а что будет. Задумав новый ряд очерков, он писал Соболевскому, что их будет три. Первый займется вопросом «что будет? Второй получит название: «что будет с фабрикой?»

Третий — «что будет с бабой?». И этот тревожный вопрос: «что будет?» красной нитью проходит через все произведения Успенского. Всегда и везде объект наблюдения интересует его не с точки зрения достигнутого им равновесия, а с точки зрения направления, какое он примет в дальнейшем своем движении.

В эту же сторону всегда устремляет свой взор и Коновалов. Ведь еще до начала своей литературной деятельности, в 1905—06 г.г. он видел деревню, когда «все были серьезны, все были проникнуты уверенностью, что жизнь нужно перековать сызнова» («В деревне»). Когда он серьезно взялся за перо, посвятив его деревне, — в ней все изменилось. И вот, он ставит себе задачей проследить эволюцию, проделанную новой деревней после того, как на нее обрушился указ 9 ноября 1906 г., сверху и до низу перетасовавший деревенские отношения. Он добросовестно входит в жизнь деревни, наблюдая и изучая ее, ездит по хуторам, нищенствующим и зажиточным, и, внимательно присматриваясь к настоящему, ни на одну минуту не упускает из вида «перспективы будущего». Не важны эти перспективы. «Разобрать ничего нельзя!» — жалуются ему даже оптимистически настроенные крестьяне, на всякой мелочи готовые констатировать «просвещение мужика».

«И вот — свидетельствует Коновалов — эта «невозможность разбраться», это отсутствие перспектив, «угол» — злоба дня современной деревни... С мучительным напряжением мужик старается «осилить», «преодолеть» путаницу, бросается на хутора, в собственники, — иногда устраивается, а чаще запутывается еще больше. Некоторые кончают самоубийством. И это характерно, потому что десять лет тому назад самоубий-

ство в деревне было исключительным явлением» («Деревенские картинки») ...

На безотрадном фоне этой «тоскливой безысходности» автор мог отметить лишь «настойчивое искание» крестьян, как «единственное отрадное явление в современной деревне».

Для «перспективы будущего» этого, как будто бы, и мало-вато. Но во времена Успенского деревня не давала материала даже для такого скромного итога.

Как отнесся романтик Успенский к неприкрашенным выводам, сделанным им из наблюдений над родной действительностью? Мы уже знаем об его «смертной тоске», на которую он жаловался друзьям, а иногда и читателям, и которая давила его до полной потери душевного равновесия. И когда катастрофа произошла, больного писателя стала навещать «Святая Ефросинья» и укорять его за то, что он не так писал и не то писал, что нужно России... Что Россия—чистая и пречистая, светлая и благодатная, а он всю жизнь писал про темное, про нечистое, выискивал в ней неладное и нескладное... Себя, а не действительность, не дорогую и любимую родину осудил писатель за то, что не мог не видеть и не отметить в ней неладного и нескладного, о чем так болела его душа.

Глубокая, непоколебимая вера в рабочий класс, в его историческую миссию, беззаветная любовь вообще ко всей демократии чувствуется в каждом произведении Коновалова. И, разумеется, тоже себя, свою личную неприиспособленность, а не жизнь, не родину осудил он, когда решил покончить с собой.

Отметив сходство Коновалова с Успенским, я не могу обойти молчанием и различия между ними, — различия существенного и значительного.

В характере Успенского, как и в стиле его произведений, преобладающей особенностью был юмор. Запас смеха, которым владел этот художник слова, долгое время был надежной защитой для его обнаженных нервов от острых и ядовитых уколов современной ему действительности. Коновалову юмор почти чужд. Господствующей особенностью его характера и стиля является пафос, которым и объясняется острота его эмоции, приподнятость его настроения. Эта черта его характера сразу же выдвинула его, как политического оратора, легко овладевающего настроением аудитории; она положила печать особенной сосредоточенности и серьезности на его литературные выступления; она же определила и его последний роковой шаг.

Вл.Кранихфельд

Очерки современной деревни. В деревне

Когда я был в деревне О. три года назад, она представляла из себя кипящий котел, и ночью на улицах толпились кучи народа, произносились огненные речи, обсуждались и критиковались правительственными распоряжения... Жизнь бурлила... На всех лицах была какая-то особая решимость, какая-то железная непреклонность и настойчивость... Все были серьезны, все были проникнуты уверенностью, что жизнь нужно перековать сызнова...

Сильно билось сердце, когда я подъезжал к деревне О. летом прошлого года. Хотелось скорее узнать, что осталось от тех бурных дней.

Я остановился у крестьянина Кирина. Это в своем роде оригинальный человек. Отбыл два года административной ссылки, не мало сидел в тюрьме, почти ежемесячно у него производят обыски, — но все это ничуть не влияет на его жизнерадостность. Много работает, не доедает, но выписывает газету, и сына отдал в реальное училище.

— Ну, как дела?

— Да как дела, дела так плохи, хоть беги... Нет ничего, а будет ли что-нибудь, Господь один ведает...

— Что, землю что ли покупают все?

— Чего тут землю! Покупали бы землю—пускай бы их, а просто дурной народ... И сказать не знаю, как— сами вот увидите...

— Ну, а вы сами-то унываете?

— И не говорите! Такая тоска, хоть в петлю... Ей-Богу, правду вам говорю... Как раздумаюсь обо всем, сколько здесь

сил да крови было истрачено, и все это прахом идет, то завернись в тулуп и вою... Душа болит... Жалко все... С людьми смеешься, уговариваешь их не унывать, а останешься один—терпенья нет... Как подумаю, что все теперь по-старому пойдет, то и жить не хочется, не мило ничто...

— Это уж слишком!

— Да как же слишком? Ведь вы делов наших совсем не знаете... Вот увидите и не скажете, что слишком... Да вот вам, например: вы помните наших мужиков? (Он назвал несколько имен). Все они были высечены и увезены, и до сих пор нет... Сгибли. А семьи их здесь. Как увезли их всех тогда, то сошлись мы и решили кормить семьи вплоть до возвращения отцов, обрабатывать им всем обществом землю, ну и вообще помогать... Первый год ничего—все помогали, как надо, а потом и пошло... Сначала двое отказались—у нас, говорят, свои семьи... За этими другие: коли они, мол, не хотят, так и нам не больше других нужно... Так и пошли один за одним... Осталось теперь человек пятнадцать согласных, а остальные отказались... Ну, что мы можем сделать для шести семей? С голоду ребятишки пухнут... Вот вам и «слишком» ...

— Что же, вы пробовали с ними говорить?

— Чуть не каждый день говорю и — хоть бы что! Урядник, мол, грозит, что это сообщничество, да и у самих, мол нет ничего... Говоришь, говоришь, стыдишь, стыдишь, — как в стену горох... Стоят, как бараны—вот и все...

— Почему же это?

— Да выдохлись все... Устали что-ль—отдохнуть хочется Аль так... время такое... Уж не знаю, как и сказать...

Поговорив о разных разностях, мы отправились посмотреть деревню и навестить осиротелые семьи.

Внешний вид деревни почти не изменился... Раскинутая на полугорье, она серединой выдается вверх, а концами уходит до дна оврага. На «верху» красуются несколько покрытых железом домиков, а по обоим скатам и на дне оврага беспорядочно раскинуты, то прижатые одна к другой, то отдаленные на большое расстояние — лачужки. Разбросанные по изломанной линии безо всякого плана избы, покривившиеся и вросшие в землю, как бы олицетворяли собой упадок духа и растерянность их обитателей.

— Вы помните, — вот здесь на углу стояла изба с мазанкой?

- Ну?

— Ее сожгли... Здесь Максим жил, — так теперь вся семья распалась... Самого-то его убили, сын неизвестно куда скрылся... А дочь в прислугах у кого-то в городе...

Я молчал.

— Теперь ведь какой народ-то стал: вот одним этим местом мне житья не дают... Чуть-что—«вон, говорят, радуйся»... Вот какой народ... И не потому, что смирились, а так... Злость сорвать не на ком...

На улицах кое-где встречались торопливо идущие люди. Около лавочки группа полупьяных парней кричала, пела и ругалась.

Мы вошли в небольшую избенку в одну комнату с низким потолком, разбитыми окнами. Ничто в ней не напоминало жилого помещения; какой-то ящик в одном углу, сундук без крышки в другом... На грязной полке заплесневелые куски

хлеба и — все... Ни мебели, ни одежды... На полу сидели два мальчика, приблизительно 5 и 7 лет, в изодранных рубашонках, без шаровар... С печки торчали еще две головенки, при нашем входе нырнувшие за трубу...

— Где мать-то?

— В Славкино ушла работать...

— Давно?

— Шестой день никак...

— Чего же ты, дурак, ко мне не заходил?

— Маманька сказала, как весь хлеб выйдет, сходи мол...

— Федька не кричит?

— Кричит.

— Давай-ка его сюда...

Стыдливо прикрывая голые ноженки, старший мальчик полез на печку.

— Ты уж не стыдись нас-то... Чего конфузиться, — не ты виноват...

На печке началась возня, плач...

— Вот он, держи...

— Не реви, не реви, Федька, — крендель дам... Ну!

Кирин взял за ручонки маленькое существо и снял на пол.

— Эх вы, горемыки! Есть хочешь?

Мальченка стонал и хныкал... Не было никакой возможности определить, сколько ему лет: крошечное худое личико, крошечные ручонки... Какой-то маленький старичок, с гноящими глазами и толстым животом...

— Что же ты молчишь, Федька?

— Он кричит все, дяденька; ему есть нельзя... Укусит хлеба, а изо рта кровь: обметало у него... Я ему жевал— все равно не ест...

— Дурак ты, дурак и есть...

Мы дали ребенку пряник, он откусил кусочек, закричал и начал плевать; из растревоженных десен потекла сукровица...

— Ты соси, — не кусай, а соси... Эх, дела, дела... Мучится, мучится, а смерть не берет... Молока бы теперь кипяченого ... Как же это она вас оставила-то?

— Испекла хлеба и ушла... Теперь все уж съели— скоро придет...

— Прибеги ко мне сегодня, — я пирожка вам отрежу...

— Прибегу!

Мы вышли.

— Вот отца томят, а эти вон что... Эх!.. А попрошайничать не пойдут... Умрут—не пойдут... Вот оно где горе-то... И ведь никто к ним и глазу не кажет... Люди!! Одно слово...

Мы навестили еще три семьи. В двух — те же грязь, нищета и голод... Голодные, нагие детишки, изуродованные и озлобленные... В последней же семье было немного лучше: две девочки довольно прилично одеты, и мать встретила нас не обычным полудоверчивым молчанием, а очень радушно. На судьбу свою не жаловалась, смерти себе не молила...

— Пробьемся как-нибудь... Что же делать?..

— Пишет вам муж-то?

— Как же... Часто пишет... Потерпите, говорит, еще немного... Мы 'тоже написали, не беспокойся, мол, с голоду не умрем...

— Хорошая ты баба Лукерья! Всем ведь я говорю — терпите пока что, не убивайте мужей... А то напишут, что с голоду мрут, — те там и сходят с ума... Им и без того тяжело, а здесь еще такие письма...

— Как-нибудь...

— А что у вас в Питере ничего не слышно? — спросила она меня, немного помолчав.

— Насчет чего?

— А вот опять о забастовках?..

— Нет ничего.

— А говорят, готовятся... Скоро, говорят, опять начнутся...

— Не знаю...

— А ты, баба, помалкивай... Начнется, и нас не минует... А болтать раньше времени нечего... — заметил Кирин.

— Да я так... Другие говорят...

— Ты где теперь работаешь?

— На заводе все: пучки вяжем... За весну-то 33 руб. заработали... Манька помогает уж...

— Ну, дай Бог, дай Бог...

Когда мы вышли, Кирин долго хвалил Лукерью, доказывая, что «это не баба, а золото, и что с таким человеком не пропадешь» ... Мне тоже было немного легче от этого посещения после тяжелых сцен в предыдущих избах... По дороге мы остановились с двумя-тремя знакомыми, но встречи были неприятные, разговор не клеился; мы как-то конфузились и чего-то стыдились... О прошлом не говорили вовсе... Однако, настойчиво звали к себе поговорить, узнать — „как и что“ ...

В деревню мы вернулись уже вечером. Был самый обыкновенный вечер деревенских буден.

Пыль от возвратившегося стада, ребятишки, загоняющие коров и овец, сидящие на завалинках старики—все, как двадцать или сто лет назад...

Одна только картина резко напоминала нам о современности.

Десятка полтора крестьянских ребятишек бежали за обтрепанной и грязной женщиной... Она время от времени махала на них руками, ругалась, кидала кусками земли. Но угроза мало пугала ребят... Они окружали женщину, теребили ее костюм, смеялись.

— Агаша, покажи, как тебя казаки!

— Уйдите... Черти... Я вас!..

— Го, го, го... покажи, что-ль... Аль жалко?!..

Женщина делала неприличный жест, хохотала и бежала дальше... Дети тоже хохотали, подражали ее жесту и бежали за ней...

— Чего вы, окаянные, ее одолеваете! Пошли прочь!

Дети остановились, посмотрели на кричавшего старика и конфузливо разбрелись.

— Что это за женщина, дедушка?

— Да Агаша хуторская... Помешана малость, ну, они ее и одолевают...

— А что с ней?

— Да так... Вишь, здесь забастовка была у нас... Понаехали казаки-черкесы и напугали бабу... Знамо дело, баба работающая была, тихая... Муж в городе хорошее жалованье получает... А

они насели на нее... Да! Испугалась что-ль, в обиду ли больно вошла — не знаю уж... А помешалась с того раза...

Довольных в деревне нет совсем, или — если и есть, — то так мало, что они тонут в море распыленного недовольства... Крестьяне и помещики, сельскохозяйственные служащие и интеллигенция, наконец, духовенство и вольнонаемные черкесы, — все, как есть все, — недовольны тем, что есть... Причина недовольства, конечно, у каждой группы своя собственная.

Но сразу видно, что непосредственная экономическая безвыходность не играет в нем главной роли. Больше всего мучит крестьян отсутствие всякой надежды на будущее.

— Вот вы говорите все, что нельзя жить, что умирать пора, а урожай ведь у вас богатый: по-моему, жить еще можно, — говорю я деревенскому патриарху, отцу трех женатых сыновей.

— Урожай, урожай... Вот заладили все о нашем урожае... В газетах и то вон читали об урожае в нашей волости. А что урожай? Чего от него больно много-то придется?! Не в урожае теперь дело, а в другом... Коренная подъемка теперь нужна, чтобы все внизу, все снова... Чтобы и лошадь, и скотина, и изба—все заново. Без сомнения чтобы... Вот что нужно! А то—урожай! Но подумайте вы, какую он имеет цену, коли не вытягивает меня из ямы... Ну, высуну я голову—на будущий год еще глубже меня сунут...

И с кем бы вы ни начали говорить на эту тему, ото всех услышите один и тот же ответ!

«Мы кровь-то лили, лили, а землю богачам отдали... Мы как голодали, так, видно, и будем голодать... Им-то хорошо: они землю купили, а нам совсем окончание приходит — ни

наделов нет, ни снять негде... Продать все да в город — один конец»...

Город! — вот пока единственный ясный исход... «В городе как ни на есть, а все можно прокормиться...» Приводится несколько примеров, что «Яков, вон, Сердобинский поступил на лесопилку и—живет...», или «Иван-то Дармидонов самым зрящим мужиком был, а теперь 15 целковых в месяц получает.» И у всех одно и то же... «Надо же где-нибудь искать выхода»—и опять те же Яков Сердобинский и Иван Дармидонов...

Казалось бы, что «новые помещики», крестьяне, приобретшие землю через крестьянский банк и тем самым получившие власть над всем селом, — казалось бы, они должны чувствовать себя превосходно. Но этого нет: и их беспрестанно гнетет сознание неустойчивости своего положения. Великолепно зная настроение деревни, они лучше других понимают, что думать о полном успокоении можно будет не скоро. Справедливо или несправедливо, но озлобление деревенской бедноты особенно сильно направлено на них, им придется беспрестанно сталкиваться с этим озлоблением, и они хорошо понимают причины: в нем и зависть в конец разоренных людей, и злоба на то, что отдельные люди приобрели себе всю землю, тогда как ее мог бы приобрести «весь мир»...

— Купить-то я купил, а уж подумываю передать кому-нибудь свой участок. Посудите сами: я продал две лошади, две коровы, десять овец, почти весь хлеб, вес сбор яблоков — заплатил задаток. Теперь и хозяйство расстроил, и людей против себя восстановил. Уж и не знаю, почему на меня так взъелись: и купил-то я всего 20 десятин. Грозят и грозят... Разорят ведь в конец, что с ними поделаешь? Вы знаете, какой у нас народ-от! Помещикам хорошо: у них казаки, объездчики,

а нам это не по силам... Будешь, пожалуй, на людей сеять... Бог с ней и с землей! Вот так времена пришли... Прямо-таки ничему не рад...

Вот рассуждения крестьян, купивших землю. Участки они в большинстве случаев никому не передают и оставляют за собой; но вступают во владение ими с тяжелым сознанием глубокой ненависти односельчан...

Ненависть эта особенно усиливается потому, что приобретение участков в корне изменило мировоззрение приобретших... Три-четыре года назад большинство из «новых помещиков» были застрельщиками крестьянских волнений. Если они и не шли впереди крестьян, когда те направлялись громить помещичьи усадьбы, то в селе кричали больше других, и самая резкая ругань по адресу помещиков выходила из их уст. Кроме того, им же досталась и большая часть хлеба из помещичьих амбаров, так как они приезжали за ним на двух-трех подводах, тогда как безлошадная беднота пользовалась лишь тем, что удавалось утащить на собственном горбу. Постановления, правда, были делить хлеб по числу едоков, но где же возможно соблюсти какой-либо порядок при той кутерьме, какая создается при всех погромах?!. Тогда эти «новые помещики» повсюду твердили, что нельзя так, чтобы «у одних амбары до краев; а другие с голоду мрут, как мухи» что «все крестьяне—братья», — а теперь они резко отделились от гольтыпы, которой только и дела, что забастовки устраивать». «На всяких голодранцев не работаешься... Купи вместе с ним землю, да и сядь в лужу: у него ни в нем, ни на нем, он из тебя и будет соки-то тянуть... Тоже мы их хорошо понимаем» ... «Нет, мало их секли... Выпороть бы еще, как следует, они бы и замолкли»... Все эти рассуждения беднота прекрасно знает; знает и то, что теперь

«новые помещики» «с урядниками и казаками чаек начали попивать», и все это беднотой прекрасно учитывается...

По линии участия крестьян в покупке помещичьих земель разбилось большинство сел и деревень Петровского уезда, Саратовской губ. Любопытна в этом одна характерная путаница: кулаки, по каким-либо причинам не участвовавшие в покупке, присоединяются к деревенской бедноте «подгвзживая» ее против «новых помещиков». А какойнибудь бедняк, путем полной гибели хозяйства приобретший три-пять десятин, зачисляется односельчанами в «новые помещики» и вместе с крупными сравнительно земельными собственниками принужден выносить натиск бедноты ...

В свою очередь, и он более льнет к лицам, купивших землю, сторонясь от «бесштаных горлодралов» ...

Аграрные волнения порождены экономическим и духовным гнетом. Отдельных лиц для крестьян не существовало: существовал класс помещиков, и крестьяне вели борьбу лишь постольку, поскольку они помещики.

При разгроме одного пиения помещик—известный в уезде земский деятель—вышел к крестьянам и лично начал их уговаривать.

— Помилуй Бог, барин, да мы противу тебя ничего не имеем... Слава Богу, не первый год знаем—худого не видали.

— Зачем же вы жжете мое имение, пугаете детей?

— Как же, нельзя... Всех помещиков порешили выкурить...

Поэтому насилий над личностью помещиков—за небольшими исключениями—не было вовсе... Жгли имения, развозили хлеб, но людей не трогали...

Теперь же к озлобленности против класса присоединилась ненависть к отдельным лицам. Движение не дало крестьянам ничего, экономическое положение большинства даже ухудшилось, а при усмирении каждый помещик проявлял себя с особой жестокостью; в каждой деревне, в каждом захолустном углу есть много живых примеров этой жестокости... Во многих местах помещики и их управляющие собственноручно секли крестьян... Все это породило глубокую личную ненависть, скрытую до времени и готовую проявиться при всяком удобном случае.

Помещики и их управляющие понимают это прекрасно, как прекрасно понимают и то, что забудется это не скоро. Каждый из них может рассказать не мало проявлений этой личной мести, начинающейся от «мелких пакостей» и кончающейся покушением на убийство.

— При погроме нас никто пальцем не тронул, — говорил мне управляющий крупным именем, — за день ко мне на квартиру пришли: «Уведите, — говорят, — куда-нибудь ребят, неровен час напугаются». Когда жгли хутор, мы все на горке стояли, и ничего — смеются: «отошла-де барин, ваша лафато»... А что с ними стало теперь — вы не можете себе представить: ни одного дня не проходит без какой-нибудь «пакости»: то собаку отравят, то лошадь испортят, то окна выбьют... Можете поверить, до чего дошло дело: на-днях выследил я несколько тетеревиных выводков, пошел за псаломщиком, чтобы пострелять... И что же? На и зло мне взяли да всех распугали... Вы скажете—мелочи! Но ведь они повторяются ежедневно, они жизнь отравляют... А тем только того и надо—позлить... Серьезное-то что-нибудь делать боятся, ну и одолевают пока-что мелким озорством...

Помещикам приходится жить, как они говорят, на постоянном «военном положении»... Каждое имение охраняют наемные казаки, черкесы, объездчики... В одном Даниловском имении их было около тридцати человек. Они получают по 30—40 руб. жалованья, квартиру, стол и лошадей. Ведут чисто военный караул, беспрестанно объезжая посевы, ночью охраняя постройки. Придираются к крестьянам, то и дело пускают в ход нагайки. Достаточно мужику поднять прут в барском лесу, пройти барской межой, недостаточно низко поклониться барину, чтобы быть избитому до полусмерти... «Сапарю!»— вот обычный крик кавказских хищников... Большинство из них по-русски умеют только ругаться, — те же, которые научились говорить, выражают свои мысли с полной откровенностью.

— Русский мужик только и годен для того, чтобы его нагайкой сечь...

— Его порешь, а он молчит да дуется...

Таковы «порядки» во всех почти имениях... Произвол и безнаказанность полные. Вот какую инструкцию почти ежедневно дает своим лесникам и объездчикам управляющий имением Московского Лесопромышленного Товарищества: «Увидите, кто рубит лес — стреляйте в него без рассуждений... В самого не попадаете—стреляйте в лошадь... Не убьешь, или так осилишь связать—лупи нагайкой до полусмерти... Останется жив—веди на хутор!» И если инструкция эта не всегда выполняется целиком, то вовсе не потому, что «боятся суда»; лесники и объездчики побаиваются самих крестьян, которые «раз-два спустят, а третий и того... поймают»...

— И что же, вы так и делаете? — спрашиваю одного из лесников.

— Пороть—порем, а стрелять редко... Жалко все-таки: убьешь самого—семья с голоду помрет, лошадь убьешь—разоришь из-за какого-нибудь прута... Выпорем и ведем к самому, а он — как знает...

Нужно сказать, что у крестьян, окружающих имение названного товарищества, нет ни прута леса... В буквальном смысле им приходится покупать каждую щепку. Вполне понятно, что, несмотря на все «скорпионы», находятся все-таки охотники ездить за дровами в помещичий лес...

Если же ловят и приводят на хутор, то обычно происходит такая сцена. Выходит «сам».

— Ты срубил дерево...

— Виноват... Помилуйте!

— Две с половиной десятины вспахать, засеять, и убрать...
Иначе в тюрьму!..

— Согласен...

Мужик закрепощает себя на целый год.

В помещиках меня все время поражало удивительное противоречие.

По их словам, положение помещика теперь самое трудное: им приходится жить на «вулкане», терпеть убытки, выслушивать всякие нарекания. «Надежды на то, что скоро все поправится — нет. Положение самое неопределенное: сегодня не знаешь, что будет завтра... Постоянная тревога, постоянное беспокойство... Ни минуты не чувствуешь себя счастливым и довольным человеком... Нет, это не жизнь!..»

— Зачем же вы тогда беспрестанно раздражаете крестьян?

— Крестьянам нужно показать, что теперь сила — мы, что время всяких там их фантазий прошло, и чтобы они об этом думать перестали... Нужно подчеркнуть, что все их движения принесли им один вред, и попытка возобновить их принесет еще больший вред... За эти годы крестьяне слишком много понабрались спеси — вот мы ее и сбиваем... Пусть поймут, что лучше для них смириться.

— Но ведь сами вы видите, что тактика ваша не достигает цели: народ более и более озлобляется и никакого успокоения не создается.

— А это потому, что дух самовольства глубоко в них засел... Правительство не принимает достаточных мер... Мало помогает нам. Если бы теперь на крестьян нагнать еще больший трепет—они стали бы шелковыми...

Недовольные помещики тоже ищут «виноватого». «Виноватым» этим является правительство, не сумевшее вовремя принять достаточных мер и теперь заставляющее помещиков тратить крупные суммы на казаков и объездчиков.

— Расход этот должен быть отнесен на счет правительства. Мы, полноправные русские граждане, и неприкосновенность наша должна быть обеспечена правительством.

— Не вынуждайте крестьян.

— Что поделаете? На войне, как на войне... А с крестьянами мы ведем войну...

— И думаете победить?

— Видите — кое-кто отступает: продает имение и бежит, а я вот не отступлю... И думаю, что мы победим, потому что каждый день дает нам новых союзников: все крестьяне, которые, выделяясь из общества, приобретают землю в наличную

собственность, теперь наши союзники... Посмотрите, как на них смотрят в деревне: так и зовут «новые помещики» ... Часть ненависти на них обрушится, и за таким прикрытием можно долго продержаться.

— А пока?

— А пока будем вести «свою линию», а чуть кто зашевелится—в тюрьму или под нагайку...

— Довольно цинично ведь...

— Что поделаете: мы или они, здесь борьба за существование.

Каждая земельная сделка обрекает на голодную смерть по меньшей мере десяток-другой, а то и целую сотню сельскохозяйственных служащих... Пастухи, конюхи, объездчики, лесники, всевозможные караульщики и ключники, порой десятки лет питавшиеся на счет экономии и грабежами крестьян, — остаются без куска хлеба. Люди эти большей частью городские мещане и отставные солдаты, — не знают никакого ремесла и ни на что не годны, кроме сельскохозяйственной службы. Род занятий их таков, что не требует никаких специальных знаний, кроме умения хорошо ругаться, «пороть», надувать крестьян. Годы находясь около земли, люди эти сами — за редкими исключениями — не умеют или разучились обрабатывать землю и, следовательно, не годны и в сельскохозяйственные батраки.

Несколько лет назад люди эти были несравненно человечнее: с крестьянами, конечно, ссорились и тогда, но до такого озверения дело не доходило, и пороть, стрелять и сечь решались лишь в редких случаях. Теперь же всем дана власть

распоряжаться крестьянином, как рабом, и все именно так им пока-что и распоряжаются.

Возьмем пастуха... Еще недавно пастух был самой скромной и безобидной фигурой. Ничего не имея при себе, кроме кнута и волынки, он пас себе помещичье стадо, за недорогую цену допуская крестьянских коров к помещичьим быкам. Теперь пастух похож на скваттера, ведущего беспрестанную борьбу с дикими зверями. За спиной у него двустволка, у пояса нож; при нем оседланная лошадь, на которой он во всякую минуту может скакать за казаками.

— Для чего ты так вооружен?

— Нам как же можно? Ведь это скотина, а не шутка. Что же хорошего, ее уничтожат каким-нибудь способом?.. То-то и есть... В забастовку вон был у нас на хуторе старичок-пастух, да мальчишка-подпасок; оба вместе-то они получали четвертную за лето—ну, пришли мужички и перерезали стадо. Девять заводских быков, по триста каждый, ни за что пропали! То-то и есть... А то не вооружаться! Да посудите вы сами, возможно ли теперь здесь быть какому-нибудь старичишке, когда против нас двенадцать деревень зубами скрипят.

— Что же вы двое поделаете, если они нагрянут.

— А вы знаете, как у нас сожгли хутор? Пришли шесть человек, выстрелили в воздух—уходите, говорят: жечь будем. Все и разбежались, кто куда... Тоже и стадо... А теперь у нас покеда один будет с ними бояриться — другой на лошадь, да за казаками...

Подобное же перерождение произошло и с лесником. В деревенском быту лесник — фигура очень важная; леса нет, и от характера лесника зависит, тащить ли в контору за каждую

палку пли миловать... Бывало, лесник жил с крестьянами в дружбе: позволял бабам и ребятам собирать валежник, накроет за порубкой — покричит и отпустит... Большую часть времени лесник проводил в своей сторожке — плел лапти, вязал веники, точил ложки и приготавливал разные изделия из коры. Иногда заглядывал в деревушку, выпивая с крестьянами—вообще отношения были «соседские». Бывали, конечно и тогда исключения, но такой озлобленности, как теперь, не было

Теперь «лесник зол, как черт и барину верен, как пес». То и дело обходит свой участок и не только за валежник, но и за калину, за грибы, за сухие листья тащит в контору...

— И ничем ты его не проймешь—ни добром, ни худом... запорю! Застрелю! — только и кричит... Ведь, у нас какое дело—лесов нет, а они за воз хворосту полтину дерут—крестато ведь на них нет... А возьми из лесу какую ни на есть палку—застрелит! Порази Господи, застрелит!.. Вот на прошлой неделе Семена Пашкина за гнёт в кровь исполосовали... До сей поры заметно, как станет купаться...

— Чего там гнёт! За удилище до полусмерти исколотит. А то еще казаков призовет—всю деревню избьет да обыщет. Права-то им теперь больно велики даны: убьют, и суда нет... А у нас самой вот завалящей палки нету—собаку прогнать... Вот тут и поживи!..

— Вот по этому самому вопросу и терпежу-то у нас не стало; есть нечего, топить нечем, а придирка большая...

— И чего надо людям? Выслужиться что ли хотят!

— Знамо, выслужиться... Сам имеет кусок, а людям не надо...

Еще большие «права» даны объездчикам, ключникам, старостам и другой «администрации» помещичьих экономий. Еще более они специализированы в области «прижимки» и «выдавливания соков» и еще более непригодны ни к какому другому делу. Хорошо, если кто-либо из них сумел «кое-что сколотить»: огаревский староста и ключник «кое-что» сколотили и при ликвидации имения купили на наличные 50 десятин лучшей земли. Но «сколачивать» удастся не всем; ревностная служба вознаграждается очень скудно. В Аплечеевской экономии лесник получает 7 руб. в месяц, объездчик — 10-12; в Огаревской лесник — 6 руб., объездчик — 15; в Даниловской лесник — 6 руб.; во всех других экономиях цифра жалованья служащим колеблется между 6-12 руб. Хотя к этому выдается еще «паек», но все же жить приходится впроголодь. В Аплечеевской экономии лесники буквально голодают: лесник Михайла, например, имеет пять человек детей, н «пайка» ему не хватает и на полмесяца.

И вот вся эта полуголодная, ненавистная крестьянам и озлобленная против них, масса выбрасывается на произвол судьбы: «экономии продана — получайте расчет!» Или — «хутор предназначен к продаже — подыскивайте должность!»

Мне пришлось несколько раз беседовать со служащими экономии Московского Лесопромышленного Товарищества.

— Против барина мы ничего не можем иметь — ему сказано «продавай» — он продает... А почему «продавай»? Потому что, сами видите, — теперь вести хозяйство трудно. Те, кто покупают, тоже не виноваты; не могут же они без земли остаться... Они люди степенные, денежные... Их житье тоже не слишком приглядно: гольтяпа-то вон как против них зубы скалит. А виноваты—одни эти бесштаные крикуны... Бунто-

вали вот, устраивали забастовки—и остались ни при чем! Как были, так и есть голь перекатная! Чего добились? Продают имения, где теперь будут землю снимать?.. И сами без хлеба остались, и нас по миру пустили» ...

К этому мнению присоединились все, ругали и грозили самым ужасным образом...

— Живи, работай, служи, а потом через какую-нибудь голь иди по миру, да у ней же хлеба проси... Что же это такое? Разве это жизнь?!..

И пока имение еще не ликвидировано, люди эти удесятятряют свои придирки к крестьянам, свои гнушательства над собратьями по нищете...

В тех местах, где земельных сделок еще не было, крестьяне еще более или менее сплоченно отстаивают свои интересы, потому что все одинаково заинтересованы при аренде помещичьих земель и угодий. Общие контуры будущих расслоений намечены, конечно, и там: все прекрасно знают, кто при сделке может купить земли, кто останется ни с чем... но все-таки у людей есть надежда, что, может быть, сделку удастся провести так, что землю купит «весь мир», все «совместно», и владеть ею будут так, что никто не будет обделенным...

Поэтому, как только со стороны помещика или банка приходит предложение купить землю, начинаются ежедневные сходы для обсуждения вопроса, стоит ли покупать и, если покупать, то как, на каких условиях. Сходы эти представляют глубокий интерес: здесь детально обрисовывается положение деревни, подвергаются критике правительственные мероприятия, предлагаются всевозможные планы... Здесь ярче, чем где бы то ни было, сказывается влияние имущественного положе-

ния на политические взгляды людей, резко обозначаются грани последующей группировки...

Земельные сделки, которые пришлось мне наблюдать, в общих чертах совершенно одинаковы, — поэтому я опишу одну из них, которая представляется мне наиболее типичной.

Подлежало продаже имение Огаревка. Пахотной земли в этом имении 2.000 десятин и несколько сот десятин леса. Владельцы имения предложили его крестьянскому банку, но не сошлись в цене: банк оценил землю в 120 руб. десятину, а владельцы требовали 140 руб. Тогда владельцы обратились непосредственно к крестьянам тех деревень, которые раньше снимали эту землю под свои посевы, — именно Чернавки, Тугузки, Сорокина, Даниловки и др. Землю крестьяне снимали или на наличные, платя обычную в этих местах цену — 25-30 руб., или обрабатывали из-полу, по довольно оригинальной расценке: $\frac{2}{5}$ крестьянину и $\frac{3}{5}$ помещику. Причем весь труд по пашне и уборке ложился на крестьянина. На этих же условиях убирали и луга. В особенно трагическом положении находятся Тугузка и Сорокино, крестьяне которых пользовались, главным образом, огаревской землей, ничтожные наделы не в состоянии прокормить крестьян, а, кроме огаревского имения, землю снимать негде. Тугузка, правда, стиснута помещичьими имениями с трех сторон: с одной Аплечеевским, с другой — Даниловским и с третьей — Огаревским, но даниловские земли тоже предназначены к продаже, Аплечеев же страшно теснит... Следовательно, огаревскую землю нужно приобрести во что бы то ни стало, иначе оставалось — переходить в крепостную зависимость к взбалмошному барину Аплечееву.

— Земля эта нам вот как необходима, что только ну!.. Без нее нам капут...

— Прямо надо говорить, что, если земля эта уйдет из наших рук—ложись и помирай!..

— Одно слово...

В Тугузке, Сорокине, Огаревке и др. деревнях начались постоянные совещания... Споры, ругань и всевозможные предположения сыпались, как из рога изобилия... Деревни разбились на группы, каждая предлагала свое, и ни на чем не могли столкнуться.

В каждой деревне наметились четыре основных направления: крайнее левое, сгруппировавшее вокруг себя всю деревенскую бедноту; лозунгом его было: «не покупать земли вовсе — она и без того будет наша». Эта «партия» имела за собой численное большинство, но влияние ее распространялось именно только на бедноту. Вторая группа советовала купить землю через банк, всем обществом и владеть ею на общинных началах, переделывая ее через известные сроки «по числу едоков». К этому мнению присоединялись самые развитые и толковые крестьяне; их было немного, но моральный вес они имели большой. Третьи—преимущественно крестьяне средней обеспеченности — говорили, что купить надо через банк, но в подворное владение: «пусть каждый по своим силам запишет, сколько надо десятин — навечно». И, наконец, крайние правые — деревенские богачи—заявляли очень определенно: «с вами, гольтяпой, мы не желаем иметь никакого дела и купим себе, сколько надо—на наличные!..»

Понятно, во что обращался при таких условиях каждый сход: спорили, ссорились, упрекали друг друга, вызывали «советчиков» из других сел...

Мы с крестьянином Кириным, о котором говорилось вначале, были на нескольких сходах. За незначительными исключениями, все они похожи один на другой, как две капли воды...

Собираются человек 100—200 и начинают «толковать» ... Говорит высокий, черный мужик, в суконной поддевке, смазных сапогах... Говорит внушительно, не торопясь...

— То-то и дело, мужички, не спеша надо решать, а подумамши. А мое мнение такое, что купить надо в подворное владение. Первым делом—банк нам даст больше— такой закон есть, что в случае покупают мужики по отдельности, то выдавать им больше; а второе дело—каждый для себя стараться будет: взял, к примеру, ты пять десятин, ну, и знай, что это уж твоя земля, старайся ее выкупить и детям она перейдет твоим... Навечно, одним словом... А покупать миром—по-моему, одна суета да скандал... Ни землю не будут навозить, ни что... Да и теперь-то: иной в силах заплатить в задатки и верхи, а у иного есть нечего... Возьмем мы землю, придет время платить, а денег нет... За людей никто платить не станет. Дело ваше, думайте. А мой совет такой — записаться подворно, кому сколько, и конец... Всяк своп силы знает, с ними и соображаться будет...

— Верно! Это справедливо, что и говорить...

— Верно, да не совсем...

— Хорошо ему распевать-то, наел пузо-то...

— И эти тоже: «верно!..» Вы купите, а мы с чем останемся?

— Что же, для тебя что ли еще прикупить?

— Не ты купишь, — мир должен пособить.

На некоторое время сход разбивается на группы, и начинается ожесточенный спор и перебранка.., Люди кричат, ссорятся, переходят в личную пикировку...

— Хорош гусь, хорош... Купит он двадцать десятин, вишь, и деньги выложит... А дедушка Ерема, значит, ноги протягивай... Теперь так будем говорить: возьмет он с ребятами две десятины, созовет помочь хлеб убрать и—сыт зиму... А тогда что? Землю вы разобьете — ведь у вас, кровососов, уж клещами не вытащишь ничего... Выдумал тоже: кому сколько... Ты о мире толкуй, а не о своем кармане, Июда...

— Не лайся, пес!..

— Сам ты пес... Я дело говорю... Надо сообща обдумать. а не брякать, как корова на сено... Советчик!

— Вот с такими горланами и делай дело...

— Ты весь «мир» за гривну продашь...

— Он продаст—только дай...

— А ты купишь? купи, пожалуй, — дешево отдам...

Моему приятелю Кирину на минуту удастся восстановить порядок. Сам он—сторонник покупки земли в общинное владение, и, как серьезного мужика, его слушают охотно.

— Такое будет мое слово: купить надо! Потому, если упустим мы эту землю—прямо надо говорить—нам будет мат! Ну, будем говорить так: купите вы, кто побогаче, на наличные... Много вы не возьмете, а только что для себя... Остальное разойдется по другим деревням: купят сорокинцы, огаревцы, а там и другие понаедут... Разорвете вы всю землю на куски, а нас оставите ни с чем...

— Вот это правильно!

— Верно говорит! Что и говорить!

— Сущая правда!

— Значит, такое дело не подходит: мир на это не согласится... Поидете вы супротив — дело ваше, а только, как мы и раньше делали, — нам друг от друга отрываться не надо... Если купить подворно через банк — опять дело не выйдет: надо верхи платить, задатки, а у другого их нет... И рад бы заплатить, да есть нечего... А у иного сейчас нет, а зимой, примерно, будет... Сколько у вас таких найдется, чтобы сейчас верхи выложить? Двадцать человек, а остальные все равно с носом...

— Где тут двадцать, — пятнадцать не найдешь...

— Двадцать будет!

— Откуда?

— Ну, считай: Семен заплатит, Егоров, Даркин...

— Подождите — пусть двадцать, но ведь остальным-то от этого не лучше! Значит, остается одно: купить больше земли всем миром... Возьмем мы ее все, часть можно сдать—платить проценты, остальную разделить всем... На задатки мир достанет денег, а потом каждый и будет платить, как будут деньги...

— Заплатят!

— Подставляй шире карман!

— Много мы за них, пьяниц, платили, довольно!

— Ты не пьяница...

— Если земля будет в руках мира, взыскать всегда можно... Тогда будет по совести... Да и то надо говорить— время теперь такое, что всего ждать можно: вдруг перейдет к ним

земля даром—мы немногим пострадаем... Вёрхи одни пропадут...

Последний аргумент действует особенно сильно. Начинается разбор его. Новые споры.

Замечательно, что земельный вопрос теперь принял такой обостренный характер, что волнует буквально всех: стариков, детей; женщин... Последние толпятся на сходах, выкрикивают свои мнения, спорят друг с другом... Мужики выталкивают их, кричат,—но они тотчас возвращаются снова и начинают прежние крики... Кирин рассказывал мне, что они устраивают свои сходы, которые иногда заканчиваются потасовкой...

После Кирина на описываемом сходе говорили еще несколько крестьян, один из которых защищал предложение не покупать земли вовсе...

— Пусть приезжают из других мест... Пусть... Приедут—мы в колья! Засеют—мы скотину выпустим... Земля наша будет: нельзя ей перейти в одни руки! А то что это? Мы за нее лили, лили кровь-то, а пузаны ей воспользуются... Это не резон...

Сходка не пришла ни к чему... Тщетно Кирин уговаривал не спешить, подумать—ничто не помогало, всякий твердил свое и не хотел слушать других...

— Не будем покупать! — кричало большинство.—Нам есть нечего — не токмо что платить!.. И так земля наша будет!..

— Одумайтесь, мужички!.. Наделаете беды!

— Не разлимонивай, слышали...

— Ой, спохватитесь! ...

— Проваливай...

Нужно сказать, что деревенская молодежь почти целиком стояла за то, чтобы землю не покупать. Более сознательная, она руководствовалась несколько иными мотивами, и хотя со сходов ее гнали, но в частных собраниях слушали и некоторый вес она имела.

Во всех местах сходы были, приблизительно, одинаковы. Те же предложения, те же споры и невозможность на чем-либо согласиться. Некоторые из крестьян со своими предложениями ездили из одного села в другое и всюду старались его провести. Кирин тоже аккуратно ходил в каждое место — благо деревни расположены по близости — и везде наблюдалась одна и та же картина.

Из всех сходов, на которых мне удалось присутствовать, особой бурностью отличались два. За день до первого из них несколько крестьян ездили в город, чтобы поговорить со знакомыми людьми и привезли с собой двоих городских интеллигентов, чтобы они сами поговорили с мужиками. От приезжих ожидали очень многого. Сходки были необычайно многолюдны. Но приезжие разочаровали крестьян: своего нового плана они не предложили. Сказали, правда, много интересного, разъяснили крестьянам, почему при покупке миром дается меньшая ссуда, для кого это выгодно. А при решительном вопросе—«как же нам теперь быть?» — замялись.

Один заявил—«решайте сами—вам виднее», а другой посоветовал «не покупать и другим не позволять покупать». Общего решения опять-таки никакого не состоялось. На втором сходе народу было меньше: явилась, преимущественно, беднота, и здесь дело кончилось одними обсуждениями...

О результатах каждого схода немедленно доводилось до сведения управляющего, предназначенного к продаже имения, и управляющий скоро понял, что при таких условиях дело к концу придет не скоро. Между тем, с продажей земли спешили... Каким бы путем удалось экономии ускорить сделку— неизвестно, но неожиданно выручил «случай»: покупать землю приехали ходоки от «мордвов», а затем и от крестьян различных губерний. Это скоро изменило «ход событий». Ходоки, покупающие землю для переселения нескольких десятков дворов, а потому рассчитывающие получить полную банковую оценку, т.-е. 120 руб. на десятину, — не особенно стеснялись требуемой экономией цифрой — 140 руб. за десятину и предлагали купить все имение с лесом и постройками. Эта покупка оставила бы без земли перечисленные окружные деревни, и местные крестьяне заторопились.

— «Мордва приехала!» — Слова эти начали повторять все, и «мордва» сделалась страхом и ужасом всех крестьян...

— Ведь купят!..

— Как пит дадут, купят... Из-под носа, можно сказать, вырвут...

— Обдумывать надо... Время немного...

— Како тут время: по рукам, говорят, ударили...

— Экое дело!..

— Да, дела...

Начались новые обсуждения. Предлагались планы прогнать «мордву», а под шумок этих разговоров в каждой деревне выделилась группа зажиточных крестьян, образовали «товарищества» и вступили с экономией в переговоры...

Управляющий и специально приехавший для ликвидации «ревизор» поняли, что их положение очень выгодно и особенно с «товариществами» не церемонились:

— Хотите купить землю?

— Да, имеем желание...

— Так по 3 руб. с десятины, иначе земли вам не будет.

Некоторые члены товариществ торговались и сошлись на 2 р. 50 к., некоторые сошлись на всю сумму и «ударили по рукам». Неизвестно, в чей карман поступят эти добавочные рубли, но товариществу пришлось платить по 143 р., при банковской оценке в 120 р. десятина. При чем, по общему мнению понимающих людей, и банковая оценка очень высока.

В «товарищества» вошли люди разной состоятельности: иные могли уплатить всю сумму наличными, иные только верхи — поэтому решили купить через банк. Каждый член «товарищества» взял земли «по своим силам» от 5 до 20 десятин на человека, и земля Огаревской экономии раздробилась на неравные участки.

Таким образом, крестьяне Огаревки, Сорокина, Даниловки и Тугузки «упустили землю из-под носа», и «не успели рта разинуть», как увидели, что она принадлежит «новым помещикам». Тугузцы остались в полном и бесконтрольном распоряжении «генерала» Аплечеева... Некоторые из них уже и теперь или ликвидируют свои хозяйства, или идут в кабалу ко вновь образовавшимся собственникам...

Отсюда и началась непримиримая ненависть к лицам, купившим землю.

Когда приехал межевой и начал каждому из вновь образовавшихся товариществ отмерять приобретенный участок,

довольно значительное число крестьян, не участвовавших в сделке, пришли «посмотреть». Они ходили за межевым, помогали ему мерить и все чего-то ждали, что может приостановить нарезку и «поправить дело» ... Взволнованные, со впалыми щеками, выдавшимися скулами и блестящими глазами, они как бы с удивлением смотрели на то, что «дело здесь в серьез», что совершается какая-то обидная несправедливость, которая бросает их в совершенную безвыходность.

— Вот, пока колышки вбивают — можно еще повернуть... Приостановить... А уж если проедут сохой, то крышка, тогда дело кончено...

— Да, уж тогда прощай!.. Тогда уж клади зубы на полку...

— Экое дело... На виду, как говорится, петлю готовят, а затем и почнут ее затягивать...

— Ах, Господи, Царь Небесный!..

— В конец! Ну, дела...

Крестьяне опять подходят к межевому, рассматривают астролябию, помогают найти цепь...

— Дураки вы, дураки и есть, — сердится добродушный старик межевой, — ну, чего здесь третесь? Работу бросили — только время тратите... Теперь уж ваше дело — трава... Проворонили землю, выгасили у вас из-под носу... На себя пеняйте!

— По душе, ведь, думали, по совести... Чтобы, к примеру, всем миром...

— Ну, вот и сидите с вашим «миром»...

— Этак ограбить-то всякий может... Что у них деньги есть, так им и землю...

— Помалкивай, брат, от греха...

Высокий, плечистый старик отзывает крестьян в сторону, о чем-то долго шепчется с ними и снова подходит к межевому...

— Вот что, ваше благородие, подь-ка на пару слов.

— Чего ты, старина?

Нельзя ли задержать? Приостановить то-есть размерения... А? А мы тем временем в город—и хлоп по рукам... А мир вам уважит...

— Ну, ну, чудаки... Как же можно? Нет, я ничего не могу.

— Барин, как-нибудь... Видишь, дело-то наше какое... Ведь прямо яма... Петля!

— Жалко мне вас; очень жалко, а ничего не поделаю... Просите их...

— Кого, то-есть?

— Да вот, «товарищество»... Пусть примут кого из вас или откажутся...

— Нет, не подойдет...

— Это нам не рука... Чтобы, к примеру, их просить... Ничего не выйдет...

— И думать нечего... Ведь мы знаем, что они есть за люди...

— Тогда ничего поделать нельзя...

— Так пропадать, значить?

— Жалко мне вас...

— Жалко, жалко... Нам, барин, из жалости-то не шубу шить... Жалко—пособи...

— Ничего не могу!..

— Пропадай, значит, голова... Пойдем, мужики, чего здесь тереться-то...

— Пойдем... Гроб нам сколачивают... Эх-ма!..

В деревне их ожидали с большим нетерпением.

— Ну, что?...

Старик махнул рукой и пошел к своей избе...

— Что же, дедушка? Как же?

— Помирать, видно, надо...

Поговорили, злобно грозили... Кирину едва удалось отговорить их идти туда и прогнать межевого.

— Ну, что же? Аль мне не все равно? — нервно кричал худой мужик, в изорванных штанах и какой-то бабьей куцавейке. — Пойдем, робя! Чай, дойдет до кого, поймут... Мыслимое ли дело?.. А?..

— Погоди, не спеши... Что тут ерохориться-то... Вон, в забастовку ходили, да ничего не выходили... А надо как-нибудь с другого конца... Чтобы по верной дороге... Чтобы без ошибки!..

— Ну, как же? Теперь дело на чеку—отмежует, и конец...

— Отмежует, размежевать можно... Как, я не знаю— вот и надо подумать, посоветоваться... Может, кто те на-, учит... Вот Дума може что... А так, как же это вдруг сразу...

— Никто не научит, будь покоен... Они из глотки кусок вырвут, не токмо что...

Весь день крестьяне не ходили на работу, а вечером «выпили с горя», по очереди ходили к домам своих обидчиков, грозили, махали кулаками... «Новые помещики» попробовали было предложить «миру» угощение, чтобы «обмыть покупку», но крестьяне ответили руганью и угрозами.

Так и закончилась эта печальная страничка крестьянского разорения... Лишние морщины на лице, сосредоточенная угрюмость и неумолимый вопрос: «что теперь делать»? — вот что осталось у деревенской бедноты ото всех разговоров о ликвидации помещичьей земли.

«Что теперь делать? — Этот вопрос мучит крестьян и заставляет неумоимо работать крестьянский ум... За решением крестьяне обращаются к недалекому прошлому, но оно не дает ответа... В самом деле: несколько лет ожесточенной борьбы повели к тому, что положение только ухудшилось. Борьба заставила старых владельцев бежать из деревни, ликвидируя насиженные гнезда. Но в силу каких-то странных причин земля выскользнула снова из рук крестьянской бедноты и попала в цепкие кулацкие лапы... Те — зажиточные крестьяне — и раньше жили хорошо. Во время крестьянских движений они не пожертвовали и миллионной частью сил, затраченных беднотой, и, тем не менее — земля, главный предмет, из-за которого велась борьба, — попала им...

Эти вопросы волнуют самые тяжелые и неповоротливые умы, понуждая решить загадку. Ответ пока один: «значит, действовали раньше неверно, начали, значит, не с того конца»... Но в чем заключалась ошибка прошлых действий и с '«какого конца» следует начинать снова — никто не знает. Отсюда, с одной стороны, тоскливая безвыходность, с другой стороны — настойчивые искания...

Крестьяне часто собираются, много говорят о создавшемся положении вещей и предлагают всевозможные планы... Дело ясное: создались такие условия, что жить совершенно нельзя: предстоит голодная смерть... Значит, нужно что-нибудь делать, но что делать? Люди цепляются за каждый

предлагаемый план, в каждой мелочи ищут точку опоры. В то же время стараются найти ответ в книгах, в истории других стран... Это последнее явление — единственное отрадное в современной деревне...

1909 г.

Землеустроители

I

Землеустроители всех сортов и категорий, несомненно, являются «героями современной деревни». Несомненно, что и сами они считают себя лучшими и полезнейшими людьми деревни. Поговорите с любым из этих господ, и вы — помимо какого-то своеобразного «чванства» — услышите, что ими «предотвращена русская жакерия», они «спасли дворян и государство», они «делом ответили на вековой вопль крестьянина — «земли!» Эта «тройная услуга» правительству, крестьянам и помещикам — настолько повысила значение господ землеустроителей в их собственных глазах, что они, не шутя, требуют всеобщей признательности, и когда не встречают этого, бывают «глубоко обижены» и частенько «срывают свою злобу» способами, не совсем красивыми.

Я не знаю, насколько признательно господам землеустроителям за их деятельность русское правительство. Судя по щедрым окладам и суточным многих гг. землеустроителей, можно предположить, однако, что признательность правительство чувствует. Но во всех местах Поволжья, где мне приходилось наблюдать, со стороны крестьян и со стороны помещиков признательность эта вовсе не так уж велика.

При первом появлении гг. землеустроителей в наших деревнях помещиками они были встречены очень доброжелательно, крестьянами же или равнодушно, или выжидательно. Какой-нибудь ликвидатор или оценщик был желанным гостем помещичьих усадеб. От них ждали многого.

Однако, скоро пришлось разочароваться. Гг. землеустроители не только не помогли распутать Гордиев узел крестьян-

ского вопроса, но, «толчась без толку», «всему мешают и все портят». Вот какой разговор происходил при мне в буфете станции Аткарск, Саратовской губернии. Буфет этот является как бы клубом гг. местных землеустроителей; здесь их чаще всего можно встретить за мирным обсуждением сложных вопросов своей деятельности.

Знакомый мне ликвидатор беседовал с местным помещиком-крепостником. Ликвидатор этот, как и большинство подобных господ, командированных крестьянским банком, — человек молодой, все время живший в Петербурге, без малейшего знания деревни и крестьянской души. Перед командировкой он «готовился», для чего прочел пару каких-то брошюр, и этим ограничился. Вполне понятно, что, прибыв в деревню с запасом знаний, полученных в делопроизводстве банка, он скоро натолкнулся на ряд явлений, ему непонятных и необъяснимых. Крестьяне еще не остыли от бывших волнений, «не пришли в себя», вопрос о земле — самый больной и жгучий — стоял ребром. Всевозможные, порою фантастические, слухи волновали крестьянские умы. В такое время — не говоря уже о сущности дела — в самых беседах с крестьянами должна бы была проявиться особая чуткость и осторожность. Ликвидатор же этот, как и огромная часть гг. землеустроителей, решил, что «до настроения крестьян ему нет дела — это дело жандармов и прокуратуры», что «валандаться с мужиками нечего, сказал в чем дело, а потом, хочешь — соглашайся, хочешь — нет». Скоро такая тактика привела к ряду конфликтов. Крестьяне отказались переселяться на хутора, отказались и разговаривать с ликвидатором, дали ему кличку «свининные ножки» и бойкотировали его форменным образом. Угрозы пригласить на землю «хохлов» вызвали раздражение, а из

банка понукали «спешить со сделкой». В результате ликвидатор начал беспорядочно метаться за советами то к священнику, то к помещикам; винил во всем интеллигенцию, писал доносы... Как он выпутается, неизвестно. Дальше я приведу два — три факта из его деятельности. Приводимый же разговор его с помещиком был вызван тем обстоятельством, что помещики начали на него тоже жаловаться — «мешает сделкам».

— Вы, господа, помещики, удивительно требовательный и капризный народ! Ведь, если говорить по совести (а между своими людьми можно и так говорить!), то вся наша деятельность направлена не на крестьянское, а на дворянское землеустройство, да и наш банк давно приличнее было бы переименовать в «учреждение, содействующее помещикам продать земли по возможно высокой цене».

— Не видим мы этого, голубчик. Не видим.

— В том то и несчастье наше, что вы многого не видите, а многого не хотите видеть...

Помещик ехидно прищурил глаз, долго и пристально посмотрел на ликвидатора.

— Позвольте теперь вас спросить, господин деятель, — сколько вам лет?

— Мне. Мне 27.

— А овес от пшеницы вы сумеете отличить?

— Станный вопрос.

— Станный? Нет, не странный-с! Гонят вот вас сюда из Питера, ни уха, ни рыла вы не понимаете, толчетесь здесь, людей с толку сбиваете, да мешаетесь, где вас не просят.

— Но, ведь, это все слова... Это...

— Слова, слова!.. — крепостник перегнулся через стол и над самым ухом ликвидатора прорычал: А знаете ли вы молодой человек, что без вас я давно бы землю уж продал! Два года назад я получил бы за нее по 150 чистыми. Ведь я совсем было столкнулся с мужиками, осталось задаток получить... Чего вы вмешались? Не вы ли тогда твердили мне—банк повысит цены, не торопитесь, свое не потеряете... Дурак я, что послушался дураков!..

— Да, ведь, банк предлагает вам по 165 руб.! ...

Предлагает за всю землю огулом. А я 75 десятин сдаю по 50 да по 100 руб. в год под бахчи, да под кирпичные заводы. И эту землю вам продать? Самому с вашими «свидетельствами» остаться? Да будьте вы трижды неладны!..

Берите ту землю, которую у меня брали мужики, я вам ее тоже по 150 отдам.

— Между нами говоря, цена той земле — красная цена— 75 руб. десятин: кустарник, пески, болота...

Ликвидатор начал что-то говорить о содействии государству при решении таких коренных вопросов и т. п. Крепостник махнул рукой и упал на спинку кресла.

— Пустяки все это! Не мы им — они нам должны помогать! Сидите вы там у себя в канцеляриях, а нам пусть казаков вместо вас пришлют: тогда мы скоро уладим дело к обоюдному согласию. А то... землеустроители!..

Немного погодя, крепостник добавил.

А уж если правительство хочет взять всю землю и отдать мужикам — бери! Я не отказываюсь. Но дай тогда настоящую цену! Дай по 190-200 руб.! Раз отбираете землю, обеспечьте... Мужикам потом хоть даром отдайте — мне плевать!

Как видно, в настоящем случае, если и не было резкой недоброжелательности, то отношение иронически-отрицательное проявляется довольно ясно. Но этот случай характерен, по-моему, в другом отношении: здесь и ликвидатор, и помещик принимают за данное, что господа землеустроители нахлынули в деревню именно с целью поспособствовать помещикам «вывернуться». Вообще в беседах с помещиками гг. землеустроители не скрывают своих истинных взглядов. Сколько мне ни приходилось присутствовать при таких разговорах — всегда разговор вертелся около «мы вам—вы нам», и все красноречивые излияния на тему «помочь обездоленному крестьянству» здесь обычно забываются. При разговорах же с крестьянами, в особенности при попытках сломать суровое крестьянское упорство, откровенные слова заменяются слащавым красноречием; здесь землеустроитель превращается в агитатора-народника; о нуждах деревни, о страданиях крестьянина, о его невежестве и забитости он говорит не хуже любого социалиста-революционера, и все эти многовековые страдания, по его словам, тотчас исчезнут, «если крестьяне перейдут на хутора»; тогда и земля начнет родить лучше, и нищета сгинет навеки и, благоденствуя, крестьянин вечно будет благодарить своих благодетелей-землеустроителей...

Первое появление в деревне гг. землеустроителей внесло в крестьянскую среду значительную путаницу. Как-никак — появились люди, открыто, от имени правительства, говорящие о крестьянском благополучии. «Благополучие» в крестьянских умах соединяется со словом — «земля!» И гг. землеустроители начали твердить, что они затем именно и явились, чтобы наделить крестьян землей. Мнение крестьян разделилось: одни говорили, что «ничего путного не выйдет», что «началь-

ство всегда начальство»; другие советовали «пообождать», «авось что и выйdet», «бывает, что и из палки выстрелит». В конце концов примирились на мысли — «поживем — увидим», а «пока что поосторожней с ними». Однако, истинная сущность гг. землеустроителей раскрылась очень скоро. Все их слезоточивые разглагольствования оканчивались такими предложениями, которые были «почище любой кабалы», и крестьянское большинство согласилось с первым мнением, что «путного» от этих господ действительно «ничего не выйdet», что цель их — «наградить помещиков», и пассивная «осторожность» сменилась упорным противодействием.

Скоро всем стало ясно, что благодаря землеустроителям, цены на землю начали расти с бешеной быстротой. Крестьянский банк начал — если не прямо, то косвенно — конкурировать с крестьянами, желающими купить землю непосредственно. Во многих местах — в том числе и в Ангарском уезде, где громадное число помещичьих земель уже продано — приходится наблюдать такие случаи. Помещик решает продать землю. Обычно, прежде всего он предлагает ее банку. Гг. землеустроители «исследуют» землю и назначают определенную цифру, которая обычно выше действительной стоимости земли и значительно выше той суммы, в которую помещик оценивал землю семь-восемь лет назад сам. Зная оценку банка, помещик вступает в переговоры с крестьянами, причем, конечно, запрашивает с них сумму, превышающую банковую оценку. Аргументом помещика в этом случае всегда является одно и то же; «не хотите — дело ваше, банку продам, он уж столько-то предлагает». А так как в большинстве мест Поволжья у крестьян полное безземелье (а в Саратовской губ. в особенности), то крестьяне волей-неволей покупают землю по

помещичьей оценке, получая из банка ссуду и доплачивая верхи, потому что покупать у банка с переселением на хутора охотников находится пока что мало.

II

При въезде в деревню Е-нь со стороны города в глаза бросается врытый в землю подгнивший и покачнувшийся столбик с дощечкой. На одной стороне дощечки написано: «Душ мужского пола 239», а на другой — «Курить на улицах деревни воспрещено». Дощечка эта теперь потеряла всякое значение и говорит лишь о прошлом: душ мужского пола в Е-ни теперь значительно больше, и курит на улице всякий желающий.

Раскинута деревня Е. на дне оврага, так что в особо снежные зимы почти всю деревню заносит снегом; для проезда на большую дорогу и для сообщения одной избы с другой прорывают канавки, и если смотреть тогда на деревню с горы, она кажется гигантской кротовой норой. Весной в овраг стекают десятки ключей, и дно его покрывается водой; тогда избы затопляет, и крестьяне поддерживают сообщение друг с другом при помощи досок и бревен. На одном полугорье раскинута «выселки», куда раньше выселяли новые выделившиеся семьи; теперь «выселки» слились с деревней, примыкая к ней в виде «нагорной улицы». На другом полугорье расположены гумна и кладбище.

В этой деревне мне пришлось жить несколько месяцев, наблюдая деятельность гг. землеустроителей. Желающие видеть живые иллюстрации к закону 9 ноября, могут найти в д. Е—ни весьма богатый материал. Меня мало интересовали «тонкости» и «выходы» в деятельности гг. землеустроителей;

больше занимало меня настроение крестьян и их переживания. Интересно было видеть, как заметно зреют крестьяне умственно, как резко изменяются их взгляды и представления, как гибнут вчерашние идолы и кумиры...

Деревня Е—нь имеет свою очень интересную историю. В начале нынешнего столетия один помощник волостного писаря описал историю Е—ни в «Саратовских Губернских Ведомостях», но с тех пор «воды утекло много», и история помощника волостного писаря потеряла все свое значение. Правда, до сих пор еще он предлагает обществу издать его «работу» отдельной брошюрой для назидания подрастающему поколению, но общество не отпускает необходимых средств, и «труд» гибнет в губернских архивах. Говорят, что «труд» помощника волостного писаря обратил на себя внимание властей, которые всю последующую историю деревни Е., начиная с 1902 г., кончая настоящим временем, — объясняют применительно к этому труду. Дело в том, что в «истории» этой было указано, будто «старожилы говорили нашим дедам, что до основания деревни на этом месте были непроходимые леса и в лесах этих жили разбойники». У администрации сложилось представление, что жители Е. одно из разбойничьих поколений и все их выходки объясняются, так сказать, наследственностью. Это мнение настолько укоренилось в некоторых головах, что при «усмирении» одного из «бунтов» деревни Е. исправник предложил радикальное средство: «Это разбойничье гнездо с корнем надо бы повывести». Дошло это, наверное, и до сведения «Нового Времени», которое, описывая волнения крестьян деревни Е. в 1906 году, назвало их «разбойным взрывом бешеной черни». Вообще года три-четыре назад о деревне Е. говорилось в печати много; значение ее не только для

окрестных сел и деревень, но для крестьян всего уезда было громадно: ее считали «застрельщицей движений Русской Гурии»; к ее решениям и поступкам крестьяне прислушивались и довольно часто следовали по пути, указанному е—цами. Теперь о деревне Е. пишут мало, но местное значение ее по-прежнему довольно велико.

Крупное значение среди окрестных деревень и местечек деревня Е. приобрела главным образом потому, что крестьяне ее раньше других начали применять различные способы решения земельного вопроса, и попытки эти всегда производились в особенно ярких и отчетливых формах.

Надельной земли у крестьян Е. «почти совсем нет». «Обидели нас наделами, так обидели, что и сказать нельзя». При последнем переделе пришлось по 8 борозд на душу. «Существовать при такой малой земле невыносимо»; жизнь и смерть зависит от милости окрестных помещиков; если те сдадут землю, крестьяне «на минуту вздыхают»; отказывают—крестьяне нищенствуют и мрут с голода. Окрестные помещики же, к несчастью для крестьян, принадлежат к числу людей, «пользующихся случаем». Двое из них— типичные кулаки, разбогатевшие от хлебных ссыпок; оба «ни перед чем не остановятся, чтобы содрать с человека шкуру». Земли они сдавали лишь на короткий срок, тщательно следя за всеми обстоятельствами, которые содействуют повышению арендной платы: вызывали искусственно конкуренцию различных деревень и довели арендную цену до 25 руб. за тридцатку в год. Третий помещик — старый крепостник и самодур, ярый крестьяноненавистник. Терпя крупные убытки, он не сдавал крестьянам земли ни за какие деньги, если крестьяне недостаточно унижались перед ним или «чем-либо обидели его в

течение прошлого года». Четвертая помещица, барыня У—ва, живет за границей и земли сдает двум городским кулакам-хлеботорговцам, которые лишь в редких случаях пересдают малопродуктивные клочки.

К этому нужно прибавить, что у крестьян нет «ни прута леса, ни клочка выгона». Положение такое, что «завяжи глаза, да бежи». Крестьяне и пробовали бежать в Сибирь, «на новые места», но почему-то их задержали, а при «самовольной попытке» вернули обратно с дороги. Жизнь — по общим отзывам стариков — была значительно хуже, чем при крепостном праве. Ни на минуту не было уверенности в завтрашнем дне. Ничтожное обстоятельство, как ругань пьяного мужика или шалость детишек, стащивших яблоко из барского сада, — могло повести к тому, что «обиженный» барин откажет в земле, и придется идти «по кусочки».

Господа же великолепно понимают выгоду своего положения и прекрасно учитывают каждое обстоятельство. Помимо постоянного увеличения арендных цен на землю, помимо всевозможных штрафов и поборов, — введены были чисто холопские личные отношения, доходящие до невероятных мерзостей.

Несмотря на все это, долгое время «все было совершенно спокойно». Помещики настолько были уверены в забитой покорности своих подданных, настолько чувствовали свое могущество, что при всяких «слухах и предположениях» заявляли с ленивой улыбкой: «у нас этого не может быть». Конечно, время от времени крестьяне «пошаливали», но все это были единичные случаи отдельных смельчаков, которые сторицей расплачивались за каждое помещичье полено, за каждый клоч сена... Однако, под внешним видом покорности зрела кре-

стьянская озлобленность, лихорадочно работал ум, и, наконец, «терпение лопнуло» ...

В 1902 г. старый крепостник, владелец нескольких участков в различных местах уезда и постоянный деревенский диктатор, как сумасшедший, прискакал к исправнику и, задыхаясь, заявил, что мужики деревни Е. «взбунтовались и всем селом рубят его лес». Это была первая попытка крестьян деревни Е. общими силами улучшить свое положение. Попытка эта была жестоко наказана. Крепостник торжествовал, но «спокойствие жизни» было нарушено; торжество скоро перешло в скрытую боязнь новых деревенских движений, которые не заставили себя долго ждать. Порубки, потравы, увоз хлеба и корма, поджоги—все приняло хронический характер и не прекращалось вплоть до 1905 г. То и дело помещики ездили к исправнику и телеграфировали губернатору об «озорстве» е—цев. Принимались крутые меры, обыскивали всех поголовно, секли, тащили в тюрьму... Никто, однако, не догадался улучшить условия земельной аренды, никто ни на минуту не задумался посмотреть на коренные причины деревенского «озорства». «Виноватых» искали среди двух-трех человек деревенских интеллигентов, хватали «подстрекателей», но ни что не помогало, движение росло, репрессии лишь озлобляли крестьян, и зимой 1905 г. последними было устроено форменное нападение на хутора; сожгли усадьбы, увезли хлеб, уничтожили и растащили ценные вещи. Вместо трех прекрасно обстроенных помещичьих усадеб остались — сохранившиеся до сих пор — груды пепла...

Из города между тем приходили смутные вести о каком-то манифесте, о полном раскрепощении России.

Все создавало уверенность, что теперь коренной вопрос — земельный решен раз навсегда; проникнувшись этой уверенностью, е—цы все дальнейшие свои действия сообразовали с ней: «перечислили» в общую собственность барскую землю, отделили участки, которые можно пока что обрабатывать и вообще открыто пользовались барским добром. Около изб появились невиданные доселе громадные вороха строевого леса и дров: крестьянки «на свой фасон» переделывали барское платье. Никогда, кажется, деревня не была так деловито-серьезна. На улицах группы людей вели деловые беседы, читали газеты, листки. В город был послан уполномоченный за землемером для «верной отмежевки, кому что» ... Отъявленные пропойцы как-то остепенились, стали серьезны и деловито обсуждали общие вопросы...

Но горькое разочарование наступило быстро и неожиданно... Казаки, солдаты, обыски, порка, тюрьма...

Для е—цев вернулись старые времена — голода и рабства.

Невероятно-озлобленные помещики и разговаривать не хотели о сдаче земли... Начался форменный голод...

— Экое дело!.. А? Вот поди-ж ты, да и подумай...

— Дела, братец ты мой, я тебе скажу... Одно слово — смерть!..

— Хуже смерти... Смерть что? Закопали тебя и лежи... А здесь... Эх!..

В неопределенно-тоскливом настроении е—цы провели полуголодную зиму, не зная, что будут делать дальше. Ходили к помещикам, но те все еще «ломались» и не хотели разговаривать.

Пронесся слух о выборах в Думу; затем о самой Думе. На минуту воскресла надежда. Сначала отправили в Думу «бумагу» с изложением всех событий, а когда ответа не последовало, — отправили троих ходоков.

— Так и скажите там: что если, мол, не будет вашего распоряжения, остается нам одно дело — помирать, — в сотый раз повторял старик Афанасий Климов и давал ходокам десятки других наставлений.

— Постараемся... Чего уж! Все силы приложим... Видим, чай...

— Подтвердите уж... На вас, мол, одна надежда...

— Уж будьте покойны—одно слово.

— Дети, мол, слезами обливаются... Выхода, мол, не стало.

— Главным делом заявите, что кругом нам обида. Ни земли нет, ни сеять нельзя. Кругом прижимка, и выхода нет никакого...

Верст пять провожала ходоков почти вся деревня; кричали пожелания; крестили... Возвращения их ждали с мучительным нетерпением; каждый день почти давали телеграммы, ездили в город встречать.

Вернулись ходоки, подробно рассказали — где были и что видели.

— Какое же вышло решение?

— Обещали разобрать дело... Вишь идет к ним теперича народ со всей Расеи. Кругом, то есть, неправда, так совместях они все и разберут.

Начали ждать решения, а пока что продавали последний скарб и занимали деньги под работу.

Распустили Думу. Весть эта, как громом, поразила крестьян. На некоторое время на всех напал столбняк; затем снова «метнулись» к помещикам и снова ничего не добились...

Нужно сказать, что ежегодно из Е. человек 40-50 мужчин и женщин уходили на заработки «за Волгу», т.е. в Покровскую слободу Самарской губ., где нанимались на время уборки в крупные экономии Самарской и Оренбургской губ. Иногда они возвращались с заработком рублей в 20-30, иногда ни с чем, но так как «дома» все равно «делать нечего», то уходили довольно регулярно.

Когда е—цы увидели, что «помощи таперича не будет» и что «помрут они в самом скором времени», решили «попытать счастья» «за Волгой» и тронулись туда почти «всей деревней». Это было временное переселение. Многие отправились с семьями, захватив лошадь и телегу. Многие решили «остаться где-нибудь навсегда, если подвернется случай».

Точно неизвестны все приключения е—цев во время этой поездки. Впоследствии они рассказывали, что «за Волгу столько привалило народищу, что шапка валится», нанимали же лишь третью-четвертую часть, цены упали до крайности. После довольно продолжительной канители и целого ряда забастовок большую часть е—цев «вернули по этапу», а остальные, полуголодные и оборванные, вернулись месяцем позже.

— Гибнет деревня! Последние часы, видно, пришли...

— Злое время наступило, Господи, Твоя воля!

— Что же делать-то, мужички, думайте.

— Ах. ты дела-то какие! А?!

— Ты от нужды, а она за тобой. Верно, видно, сказка-то рассказывает, что как сядет она те на шею, то и в яму ее не зароешь.

Я не буду подробно описывать дальнейшие мытарства крестьян Е—ни. Их каждому легко себе представить. Кто бежал в город, кто шел в кабалу за кусок хлеба, кто шел по миру, кто просто, скрежеща зубами, умирал с голоду. Создались условия, когда никто почти не дорожил жизнью; тюрьма не пугала; люди шли «напролом». Кое-кто «крепился», «подтягивая животы»: писали, ходатайствовали. Но полное разорение шло быстро и приближалось к концу. За исключением десятка зажиточных мужиков, награвших руки при общем разорении и голоде, все видели, что «висят на волоске» и что «куда-нибудь нужно подаваться».

Когда наступили зимние холода 1907 года, крестьяне сделали отчаянную попытку напомнить о себе. Вдруг 99 процентов е—ского населения приехали в город и расположились на базарной площади. Крестьяне, крестьянки, дети окружили полицейское управление.

Вышло начальство.

— Что, бунтовать? Чего вам надо? Что вам не сидится? Не живется смирно?!. Да я вас!..

Вышли вперед старики.

— Мы, ваше благородие, не токмо бунтовать, но даже хлеба не емши. Мы пришли закон искать, потому что чувствуем обиду... Ваше дело казнить нас, либо миловать, а домой возвращаться нам не к чему: один конец. Мы писали, хлопотали — не вышло никакого сполнения. Теперь нам все равно.

— Берите ребяташек! — кричали бабы: — нам нечем их кормить... Вы нас разорили — вы их и пропитывайте.

— Продовольствия никакого нет.

— Посмотри на нас, ваше благородие, ведь, мы хуже шки-летов.

— Вернитесь домой! Начальство рассмотрит ваше дело!

— Не желаем!

— Умрем на месте!

Конные городские разогнали толпу. Сопrotивлявшихся арестовали. А на другой день две роты солдат перевязали е—цев и отправили их домой.

Через месяц после этого события в Е—нь пожаловали гг. землеустроители приглашать е—цев приобрести в хуторское пользование участки земли.

III

За неделю до приезда гг. землеустроителей, в Е—ни уже начались толки, что «едут землю прирезывать», «в Синеньких пока остановились — скоро будут и к нам». Е—нь находится в участке того самого ликвидатора, о котором говорилось в начале. Собравши крестьян, он произнес перед ними такую речь:

— Не бунтовство вам помогло; долго вы бунтовали и ничего хорошего не получили. Плохо вам живется, но пеняйте на себя — «сама себя раба бьет, коли не чисто жнет». Вместо того: чтобы в добром соседстве жить с помещиками, вы поступили с ними, как разбойники и воры. Вы пошли против власти, против родины...

— Это как же, к примеру?..

— Ты, брат, о деле говори, а ругаться нечего: мы и без тебя много руганы.

— Против власти пошли вы, и с вами поступили, как с бунтовщиками и изменниками. Но власть простила вам ваше буйство и незаконные поступки. Мало того, что простила! Видя нужду вашу, она хочет наделить вас землей...

Крестьяне насторожились. Кое-кто снял шапку.

— Сейчас манифест, слышь, читать будут... ,

— Чу-ка, послушам, что скажет.

— Дают вам землю, но не в ней главное дело. Главное дело—в умении этой землей пользоваться. При неумелом пользовании и десять десятин на душу не помогут.

— Известно—хозяйство нужно, скотина.

— Обзаводка ну ясна, что и говорить.

— Возьмите вы известные вам примеры — у кого десятина родит 20 пудов, а у кого втрое; иной землю кое-как всковыряет, а иной, как мать родную, ее любит. В плохих ваших урожаях сами вы большей частью виноваты...

— Это уж как Бог—дело известное.

— Как когда уродит... Это так!

— Происходит-же это по двум причинам: во-первых — вбили вам какие-то дураки в голову, что будет вам безвозмездная прирезка, верите вы этому, ждете и бросили всякую заботу о своей земле; а во-вторых, переделы ваши виноваты: каждый думает, что через год, через два его земля перейдет другому, а потому и не обрабатывает земли, как следует...

— Пьянство тоже вот...

— Чего уж тут...

Но умные мужики, начинающие понимать, в чем дело, насторожились?

— Ты бы, барин, к делу-то поскорее переходил. Слышали мы все это. Говорил бы поскорей—откелева будет нам прирезка?

— Я говорил уже, что прирезки не будет. А предлагается вам участок по Булаку; купить вы его должны подворно и переселиться туда на жительство...

— Это мочеви́нник-то?

— Даром не надо.

— Подождите, подождите, мужички.

— А какая цена будет, барин?

— 135 на 55 лет.

— 135?

— Да...

— Ддда... Подумаем!

— Не подойдет, чтобы, к примеру, переселяться...

— Род там плохой... Совсем нет роду...

— И воды нету-ти!..

— Подумайте, посоветуйтесь. Но знайте, что даром вы ничего не получите. Если же заупрямитесь, то и эта земля от вас уйдет, и тогда пеняйте на себя.

— А вспомо́женье будет при построении?

— Будете хорошо себя вести — поможем, сколько можно.

— То-есть как же?

Ликвидатор объяснил, при каких условиях можно рассчитывать на удешевленную покупку леса и на ссуду для переселения. Объяснение было пересыпано фразами в виде — «пора сознать свои ошибки», «гоните от себя всяких посторонних советчиков» и т. п.

— Какую же вы ахинею несли все время! — сказал я, возвращаясь вместе с ликвидатором.

— Что станешь делать? Мною получены соответствующие указания. Мы — ликвидаторы — в то же время и агитаторы правительства. Мы должны подчеркивать, что предлагаемый нами путь — единственная возможность для крестьян получить землю. Вот мы и начинаем с того, что стараемся осудить все иные попытки.

— Я уверен, что крестьяне откажутся.

— Уломаем. Ведь, им нет исхода.

— Откажутся; это видно по их настроению

— Припугнем калужанами.

Деревня заволновалась.

— Переселитесь! Поди-ка, попробовай сам переселиться! — кричал разоренный крестьянин Митрий Максимович. Высокий, худой, с невероятно длинными руками, в изодранной рубашке и широких самотканых шароварах, — он кричал и протестовал больше всех. Между тем, по положению дел, ему-то больше других следовало бы ратовать за переселение: полуразвалившаяся изба его давным-давно заложена, лошадь продана, постройки полуразобраны на топливо; даже «под землю» он успел забрать у лавочника значительный куш.

— Поди-ка, переселись, перетащись туда... Тогда уж в их руках будешь: тогда уж они в тебя не так вцепятся!..

— Не подходяще нам это!

— Я-то говорю, что разор это полный: как ни-как, а здесь я должен все забросить. Что могу я теперича здесь выручить? Ничего. Поселись там, да и гложи кулак. А ну как не осилишь уплатить какой год — тогда что? Они, ведь, не будут разбирать; они-те не так свяжут, как в городе...

— И говорить тут нечего—прямо сказать: не изъявляем желания!

— Ни Боже мой! Ни под каким видом...

— Два брата Кручинские, низенькие, лысые, чернобородые мужики, мызгали по сходу, пробираясь порой между ног, хватали мужиков за руки, что-то шептали на ухо, прищуривали глаза и прикладывали палец к носу

— Что?

— Да так и будет.

— Я тебе говорю: не без их рук это дело. Дали, чать, по сту манет—и готово. Уберите, мол, их—нам покойнее.

— Не без этого!

— Крепись, робя! Зубами натягивай, а не поддавайся!

— Возьмите и другое дело, — кричал Митрий Максимыч: — перебрались мы, переехали... Устроились.. А воды нет!.. Он говорит колодези, они там землю вертели, а какая она вода— они знают? То-то есть!..

— И то сказать — кажный для себя, а другой может ли подняться? Ведь, все, как яички, облуплены: здесь все надо заново — лошадь там, скотину... У многих ли лошади-то остались?

— Не подойдет!

— Пусть в других местах дураков поищет...

— К тому же и форсит: мы, да мы... Коли бы могога-то была, никто бы на рожон не полез.

— Знаем мы ихнего брата!

— Я вам говорю, что нечисто тут. Не без господских рук дело. Разузнать бы, старички, как и что? Може оно и по правилу должно, да этот валетот козырной повернул не в ту сторону.

— По шапке бы его...

— Ну и народ пошел!

Помимо этих отдельных реплик и криков, серьезные понимающие мужики произносили длинные речи, в которых выясняли значение общины, необходимость безвозмездной прирезки.

Четыре месяца «бился» ликвидатор с крестьянами и ничего не мог поделывать. На следующих сходках он действовал и убеждениями, и лаской, и указанием на безысходную нищету, и угрозой — ничто не помогало. Крестьяне стояли на своем.

— Купить — покупаем, а переселяться — ни-ни!

— Переселяться нам никак невозможно!

— Не подходит!..

Между тем ликвидатор то и дело получал из Петербурга запросы, в каком положении дело, и скоро ли будет окончена сделка. Испортив собственной бестактностью и полным незнанием условий деревенской жизни дело, ликвидатор для оправдания начал отыскивать «подстрекателей», писать доносы и жалобы и тем еще больше вооружил против себя крестьян.

— Да поймите же вы, — я ему сотни раз: — что сами вы виноваты: своим бестактным началом вы восстановили против себя крестьян и усилили их недоверчивость. Если бы вы толко-

во и с надлежащим уважением к крестьянским переживаниям приступили к делу, несомненно, крестьяне согласились бы, и уже во всяком случае не было бы той озлобленности против вас, которая есть теперь!

— Не в этом дело. Они и теперь согласились бы, да подготавливают их здесь. Учительница здесь одна есть—так вот к ней они частенько ездят... Ну, да я... не погляжу!

— Донесение?

— Что значит — донесение? Я — человек служащий. Мне поручено определенное дело, и я обязан указывать на все препятствия, которые стоят на моем пути.

IV

В теплый летний вечер на куче бревен около расположенного в конце деревни пожарного сарая сидело десятка три крестьян. Пожарный сарай, расположенный около «столбовой» дороги, ничем не отличается от обыкновенного крестьянского сарая: плетневый, покрытый соломой, он представляет из себя великолепный материал для огня и неоднократно сгорал вместе с «сикушей» и бочками для воды. Роль пожарного исполняет престарелый дед Афанасий, который, обычно, сидит на бревнах и плетет лапти. Если сидя на бревнах, посмотреть направо, то видно могучее чернолесье, раскинутое на несколько сот десятин, великолепное чернолесье, имеющее единственный недостаток — «оно помещичье», налево — бесконечные, тоже помещичьи, поля, засеянные яровым, а вдали, за полями, виднеются трубы винокуренных заводов и суконной фабрики.

В тот день, когда крестьяне собрались около «пожарной», — в городе была ярмарка, и по дороге тянулись непрерывные

вереницы телег... Проезжая мимо «пожарной», крестьяне здоровались, а некоторые спрыгивали с телеги и делились с Афанасием «гостинцами»—кусками калача, баранками, воблой...

— Напрасно это... Ну, спасет Христос... Спасибо.

— Ну, будет уж. Чего там! Чай, не за худое что даю. Так, по душе. Возьми, возьми...

— Ну, как ярмонка?

— У-у... куда тут! Народищу тыщи! казаков этих нагнали— тьма-тьмущая! «Забастовки» все ждали...

— Ничего все-таки?

— Упаси Господи... Тихим и смирным порядком.

— Слава Богу, слава Богу... Ну, а хлеба как — много 'было?

— Не так чтобы, и цена высока.

— Кусается?

— Кусается!

Телеги тянулись без конца... С дороги неся оживленный говор, изредка песни и крики.

«Спрятался месяц за ту-у-у-чку, «Не хочет он больше гул-л-лять,— распевал, следуя за своей телегой, молодой крестьянин. Жена теребила его за рукав: «Будет уж, Ваня, довольно, люди, вон, смеются»; но крестьянин, не слыша ее, жалобно тянул свою песню и махал руками. На другом возу вверх лицом лежал бородатый мужик и ругался с женой. В стороне от подвод человек десять крестьян сошлись вместе и оживленно беседовали.

Подвыпившие крестьяне сбросили на минуту саван обычной угрюмости, смеялись и шутили. Женщины в пестрых

обновках щелкали тыквенные семечки. Глядя на запыленные лица этих людей, на минуту забывших будничную тоску и безвыходность, я отдышал душой... Хотелось думать, что все то, что терзает этих людей ежедневно в течение многих месяцев, что все эти картины разочарованного уныния, угрюмой злобы, картины полной потери всякой надежды тысячами людей, — что все это минуло безвозвратно, ушло и не вернется никогда; хотелось думать, что и завтра и всегда эти люди будут веселы, довольны и счастливы... Я закрыл глаза, и казалось мне, что кто-то могучим голосом произнес вещее слово. Встрепенувшиеся люди выбежали из избы, какая-то легкость... Сразу решены были все вопросы, счастливая улыбка заменила злобную угрюмость. Наступил вечный праздник...

— С нетом-то на ярмонку не поедешь! — говорил между тем один из сидевших на бревнах. — Богачами мы стали: «в одном кармане вошь на аркане, а в другом — блоха на цепи».

— Зашел вчера ко мне Игнат—что, говорит, делать будем? Начальство, говорят, за податями едет, а я ему: по мне, говорю, хоть Бог приезжай—у меня нет ничего.

— Найдут!

— Нечего. Сам бы скорее других нашел, да не нахожу что-то. Пусть секут.

— И какое, братцы вы мои, время пришло: бывало высекут—и недоимкам скостка, теперь и секут, и деньги подай.

— Начальства много — денег много требуется.

— И сколько теперь развелось этого начальства, Господи Твоя воля! Вот уж на моих глазах невесть что появилось: земских раньше не было, затем урядников поставили; теперь

стражники, вот эти вот ликвидаторы разные, казенные объездчики... Прямо не пересчитаешь!

— И все деньгу берет не малую!

— Слышь, наш-от козырь берет трешну в день.

— А то и поболее... Чужих денег им не жалко...

— Вот я вам скажу какое слово: покупает, например, теперь банк землю. Чего бы проще отдать ее мужику? Нет — строят хутор: приезжает заведующий участком, у него писаря, помощники; затем объездчики, лесники... И все от казны...

— А по-моему все лишнее.

— Вот и я тоже говорю.

— Теперь, тот, в соседнем участке сдают землю, вроде как и помещики... к примеру, куплена банком для нас, хошь по-довольствоваться — сымай, как и раньше...

— С лесами то же самое!

— Та же история... Вы, говорит, лес уничтожаете... Да вы сами-то скорее хворостины не оставите... Вон в лесном овраге все уж — тю-тю!..

— На шпалы пошел лесок...

— И на другое тоже... Да не в этом сила — нет уж леса, вот что!

— Приезжал ко мне недавно свояк из Сердобы. Рассказывал, такая у них теперь заварилась каша. Земский, вишь, соблазнял их выйти из мира, они упрямылись. Затем которые побогаче-то подговорили человек 400, чтобы, значить, выделиться. Присмотрели землю недалеко от Турковки. Богатеям-то хотелось стать в виде как бы помещиками, а которые послабее-то тоже, как и у нас, по причине голода. Совсем было уж

решили дело, да нашлось там несколько людей поумнее. «Мы говорят, выделимся и на хутора переселимся, но чтобы жить нам по другому: все чтобы общее—земля, хлеб, скотина, сохи, бороны. Одним словом, как одна семья!» Народ к ним и пристал. А кулакам-то это не на руку—завыли, загомонили... Ну, дело пока что и расстроилось.

— Слыхал я, что у них, как и у нас, идет передряга.

— Идет. А начальство-то, вестимо, держит сторону тех, кто побогаче. Вот свояк же рассказывал. Есть у них там кулак Кузьма Ащеулов; арендовал он мельницу, водяную то есть. А в этом году мир ему отказал, потому сами хотят пользоваться. Вот он—Ащеулов-то — променял свою землю с другим мужичком, у которого земля по речке Саполге против кирпичных сараев, и строит теперь там паровую мельницу. Известно, водяной тогда какой мол?

— Ну, а что же сердобинцы-то?

— Что поделаешь? Начальство держит руку Ащеулова. Мужики решили на сходке объявить забастовку ему, то есть не то, чтобы там силой, а просто не молоть у него хлеб, а кто смелет—10 руб. штрафа.

— А что же — выделяют все-таки у них в Сердобе-то?

— Пока, говорят, нет никого; главное, как и мы же, боязно, да и удобства нет: ну будет скажем, на хуторе 5—10 дворов: не станешь для такого малого числа строить училищу. А церкви и подавно не выстроишь! Выделись, да и ходи за 15 верст.

— Ко мне, вот, тоже приезжал брат из Куриловки — вот где, говорит, горе-то, — никак хуже нашего еще! Всю зиму, говорит, одними тыквами питались. Барыня у них там, так прямо со света сживает! Подумайте только: за прогон скотины

на Терешку заставляет 100 десятин земли обрабатывать! Кабы зимой земство работы не дало, все перемерли бы, как тараканы!

— Нам, небось, никто не даст!

На минуту все замолчали.

— А что, братцы, — начал вдруг старший Кручевский: — правду ли болтают, что Назарова жена от холеры померла?

— Болтают!

— Известно, доктора...

— А может и правда — ты почему знаешь?

— Коли говорю, значит, знаю! В той же Сердобе, свояк говорил, начали умирать мужики. Умирают, известно — с голоду, ну, а тем тоже совестно, до других земель может дойти, что народ с голоду мрет. Вот и придумали — холера! Приехали доктора, сестры — барышни такие, обученные. Начались распоряжения, чтобы рубахи в речке не мыть, коноплей не мочить. От конопли, вишь, воздух портится и холера заводится. Видите, говорит доктор, кто погрязнее живет, тот и мрет! А известное дело — кто победнее, тот и погрязнее. Ну, мужики и заартачились — дайте, говорят, хлеба, и холеры не будет! Затем начали доктора холеру прививать на руку, в виде воспы, тут пошло еще пуще. Старики кричали: «антихристова печать!» Бабы против сестер взъелись: это, говорят, не бабы, а переодетые солдаты пришли народ морочить, чтобы, то есть, людей меньше было...

— Пустое все. Я не верю.

— Известно, бабы чего не выдумают!

— Бабы, говорят, хотели поймать этих сестер и поглядеть — кто они, мужики или бабы.

— Дурье!

— Затем, захворала, говорят, одна баба —дали ей лекарство. Она возьми его, да сунь кошке — не яд ли, мол. Кошка понюхала — не ест. Тогда баба размешала его в молоке и опять кошке. Кошка выпила, повертелась и сдохла, а в больницу ходить перестали.

— И еще раз — скажу: дурачье и — больше ничего!

— А кто ё знает? Может и того...

— Бабья болтовня...

— Наше вот, к слову сказать, дело: умри мы все, и хлопот им нет. Тоже всяк о себе норовит.

— А не едет что-то наш хлюст-то?

— Пора бы уж!

— Так, мужички, как сказали, так и будет—не идем!

— Землю берем, а переселяться не желаем!

— А верно ли, что Марью Егоровну будто бы того... заарестовали?

— Слышно было, а толком не знаю.

— Точит он тепереча на нее зубы!

— Как пить даст, съест, а человека жалко!

— Эх!

На велосипеде подъехал господин ликвидатор.

— Ну, как, братцы?

— Все по-старому!

— До свиданья, господа!

— Счастливой дороги.

Марья Егоровна, судьба которой, как видно, была уже решена, очень интересовала меня. Мне хотелось поговорить с этой, столь влиятельной в деревнях, девушкой. Я ни на минуту не верил, что она «мешает сделке»; уж слишком очевидно было, что просто господину ликвидатору нужно было на кого-либо «свалить» собственные ошибки, и в ней он нашел козла отпущения. Но постоянный ласковый тон крестьян при разговорах о ней, поездки к ней за советами — показывали, что среди крестьян она пользуется завидным уважением и доверием.

С письмом знакомого учителя я отправился в село С., где Марья Егоровна учительствовала в церковно-приходской школе.

В большом, но бедном и грязном селе С. две школы: земская и церковно-приходская. В последней учится более 150-ти мальчиков и девочек; учат их две девушки-учительницы — Марья Егоровна и ее подруга.

Марья Егоровна получает 10 руб. в месяц и на них содержит себя и сестренку. Несколько лет уже обещают выстроить для учительниц квартиру; даже начали постройку, но она двигается вперед как-то плохо: ни общество, ни церковь не хотели раскошелиться.

Вообще отношение крестьян к церковно-приходским школам довольно своеобразное: детей они туда посылают, но решительно отказываются взять на себя часть материальных издержек.

— Что, аль уж у них там денег в церкви-то нет? Полно грешить-то! Коли на то пошло, мы лучше свою школу выстроим, чем на поповскую-то платить!

Представители церкви в свою очередь рассуждают так: «раз посылаете, то расход пополам надо». В результате этих переговоров и переписка квартиры учительницам нет, здание школы не отапливается. Бедные девушки влачат полуголодное существование, преподавая в холодном здании мерзнущим детишкам.

Марья Егоровна живет бедненько. Квартирует она у крестьянина, который за 5 рублей в месяц отдает ей угол в избе, «черного хлеба на обед и ужин ей и сестренке» и право готовить пищу в общей печи. Кроме того, за 50 коп. в месяц жена квартирохозяина полощет Марье Егоровне белье; стирает она сама, но «полоскать неудобно перед ребятишками — все-таки, ведь, учительница». Неудобство это признают и квартирохозяева; «здесь в избе-то она выстирает — никто не увидит. А на людях-то неловко. У нас здесь какой народ-то? Еще и на смех поднимут».

Дом, в котором квартируют сестры, снаружи кажется довольно большим, но внутри половину его занимает печка и отгороженная тесовой перегородкой «кухня». Около этой перегородки стоит кровать Марьи Егоровны; над кроватью висит платье, а на стене под зеркалом портрет Маркса, снимок с картины «Какой простор» и несколько фотографий. Отдельного стола хозяева не имеют, и заниматься Марье Егоровне приходится за большим обеденным столом.

Я сидел на лавке и рассматривал обстановку угла. Становилось немного грустно. Нюрка не спускала глаз с Марьи Егоровны, читавшей только что полученное от высланного в Архангельскую губернию брата письмо.

— Ну, Нюрка, тебе радость: Витя обещает прислать денег на определение тебя в гимназию,

— А какой я сон, Маня, видела, — улыбаясь, заговорила худенькая, но живая и веселая девочка — сижу, будто, я около нашей избы в деревне, маманька корову доит, а рядом со мной лежит Грозный. Вдруг, будто, по дороге человек идет, худой, запыленный; Грозный, будто, к нему, да и начал хвостом вилять. Я, будто, кричу: маманя! почему это! Грозный-то не лает на чужого. А маманька-то, будто, мне говорит: дура, ведь, это Витя...

— Каждому событию у тебя обязательно предшествует сон!

— Разве нельзя найти отдельную комнату? — спросил я.

— Рублей за 5—6 можно, конечно. Но нам это не по силам. Здесь за 5 руб. мы помимо квартиры имеем еще черный хлеб, иначе, ведь, не прокормишься.

— Частных уроков нет здесь?

— Летом бывают, но предпочитают студентов. Искали мы с Нюркой и переписку, и шитье — ничего не вышло.

На печке завозился кто-то, захрипел; через край свесилась лысая голова и начался долгий, удушливый кашель. Голова качалась, плечи вздрагивали, в груди шипело и бурлило.

Марья Егоровна! Зачерпни-ка, родимая, кваску! Ох, чуть отдышался!..

С печки свесились ноги.

— Гость никак? Здорово, батюшка! Вот, мешаю я им тут. Всем мешаю, а не прибирает Господь... за грехи, видно. Спасибо, золотая душа... Как напьешься, то и полегче.

Старик исчез в куче тряпья.

— Трудно вам здесь заниматься-то?

— Конечно, трудно. Днем-то, положим, все на работу уходят, но днем и мы в школе. А вечером ложатся рано, спят на полу, — душно становится; свет мешает им спать. Сами-то они ничего, положим, не говорят, но как-то неудобно — весь день, ведь, работают — измаются...

Видимо, разговор тяготил Марью Егоровну. Я начал раскрашивать о сельской интеллигенции, об отношении крестьян. Марья Егоровна разговорилась.

Жизнь учительницы, по ее словам — нечто ужасное. Не говоря уже о том, что ежеминутно приходится «дрожать за место», самая жизнь то и дело находится в опасности. В селе имеется группа союзников-добровольцев, в распоряжении которой состоит десяток сельских хулиганов. Вождем и теоретиком местных «союзников» является аптекарь. Он имеет сношения с губернской организацией и хвалится, что в «с—ком отделении» более двух тысяч членов. В действительности «членов» в С—кой организации нет ни одного; аптекарь и окружающие его пропойцы — вот и весь состав. Вся деятельность этой «организации» сводится к доносам, подаче телеграмм в «Русское Знамя» и поездкам аптекаря в город. Но главным образом «организация» выслеживает, травит учительниц, перехватывает письма. Среди крестьян «союзникам» развернуться нельзя. Крестьянин поставлен в несколько иные условия: он менее зависит от добровольцев, его не могут уволить, как учителя или вообще человека служащего; в свой дом он добровольца не обязан пускать, когда тому захочется; разговаривать с ним крестьянин станет только тогда, когда сам

захочет. Кроме того, в распоряжении крестьянина «на всякий случай» имеются «свои средства». Самое большее союзнику удастся подвести того или другого крестьянина под арест, но потом самому придется дрожать в постоянном ожидании «своих средств».

Другое дело—служащий интеллигент и особенно служащий в правительственных учреждениях. Он находится в полной власти «союзников». Кто бы ни был «союзник»— священник ли, псаломщик, приказчик, хлебный ссыпщик, или торговец, — он в деревне прежде всего чрезвычайно самоуверен и самолюбив. Ему хочется «действовать», выслуживаться, а для этого одно средство — «открывать», доносить... Чем больше действует он, чем больше получает наград и поощрений, тем сильнее разгорается аппетит. Где же проявить эту деятельность? Как удовлетворить ненасытную жажду доносов и клеветы? Как сказано, с крестьянами «шутить трудно и опасно»; изредка, конечно, союзник делает набег и на мужика, но главное поле его деятельности — служащая интеллигенция. В этой сфере он мечет громы и молнии. В мыслях он открывает злодейские заговоры, спасает отечество, а действительность подсовывает ему забитую, до невероятности сжавшуюся, учительницу, или многосемейного фельдшера, людей, редко читающих, молчаливых и никуда не ходящих из дома. Что взять с этих людей? Годны ли они в заговорщики? Конечно, нет. И вот союзник начинает подкапываться, создавать несуществующие преступления.

— Эх, ты, какие они там! Только четырех подлецов за вчерашний день повесили — говорит он фельдшеру, укоризненно поглядывая на газету. Фельдшер молчит.

— Что? По-вашему много? Может быть, вы совсем против смертной казни.

— Да я ничего... Конечно... Как же...

Если же фельдшер что-либо «возразит» — донос готов, союзник строчит, придумывает вдвое... Не останавливается «союзник» и «перед созданием преступлений», в его распоряжении имеется два—три человека, всегда готовых кому угодно, что угодно «подбросить» и опять когда угодно и что угодно «показать под присягой».

Часто союзники конкурируют друг с другом: один старается перещеголять другого. Как волки, рвут они беззащитных жертв: добычи мало, а аппетиты ненасытны, и безнаказанность полная... Если бы «союзники» имели хоть какие-нибудь шансы свить гнезда среди крестьян, может быть часть их энергии направилась бы в сторону пропаганды своих идей, организации. Но ничего этого нет. Вся энергия, вся корыстная злоба направилась на травлю и без того придавленных жизнью людей.

Представьте себе теперь учителя, пережившего дни свободы, бывшего на всероссийском учительском съезде, сочувствующего той или иной партии: или только что приехавшую девушку-учительницу с широко задуманными планами учить детей и беседовать с крестьянами: — представьте, что в селе таких лиц меньше десятка, а деревне 1-2, что средства к жизни они получают исключительно от должности, что делу своему они преданы, — и вы поймете их положение. Союзники-добровольцы насаждают на эти жертвы и, если не удастся спроводить их подалеже, контролируют каждый их шаг, переиначивают каждое слово, сплетничают, грязнят... Учительница

сжимается до крайности, боясь рассердить добровольца, соглашается с болью в душе со всем, что сболтнет союзнический язык — но всего этого мало! Союзник ненасытен! Поработив жертву, он делает ее предметом своего издевательства. И вот девушка боится раскрыть при союзнике рот, улыбается тогда, когда слезы подступают к горлу, и хочется злобно рыдать; делает то, против чего протестуют все силы души. Если девушка не вытерпит и сбежит, на ее место тотчас приезжает новая, — кандидаток много; добыча освежается, с большей силой доброволец налегает на новую жертву.

Аптекарь, — по словам Марьи Егоровны, — союзник беспоконный и самолюбивый. Он «любит», чтобы перед ним унижались, трепетали. Чувствуя свою силу, он не довольствуется одним сознанием этого: ему необходимо проявлять свою силу. И он проявляет ее: «съел» почтового чиновника, 17-ти летнего юношу, заподозрив что он пишет корреспонденции о союзе; чиновник именем стариков-родителей умолял редакцию опровергнуть «слух»; «слух» был опровергнут, но уверенность аптекаря не поколебалась; травля продолжалась около года, и чиновника уволили. Затем была «съедена» учительница, а теперь всем заявляет, что «очередь за ними».

Товарищ аптекаря — торговец, «участвует» главным образом «сбором пожертвований». «Пожертвования» приходится вносить и учительницам; всякий отказ равносителен политическому преступлению. Вообще, отношение к «союзу», вернее к аптекарю — мерило благонадежности. На все аптекарь наложил свою лапу — частная жизнь, сношения друг с другом, беседы с учениками, — все известно ему, подо все он подкапывается, во всем «старается найти заметку». С—кая интеллигенция забита до невозможности. Прибавьте к этой беспрестан-

ной травле полуголодную жизнь, и вы поймете положение этих тружеников...

Но это только одна сторона дела. Больнее горе еще не в этих двух причинах. В дни свободы учителя и учительницы были учителями и советниками крестьян. Крестьяне оценили это, полюбили их, начали считать их «своими», в отличие от властей и духовенства. Это отношение сохранилось и теперь; по традиции крестьяне во всякую тревожную минуту, с каждым сложным вопросом идут за советом к учителю и учительнице. Искренняя уверенность, что «учитель свой человек», что «барышня не обманет», — требуют и искренних ответов... Более того — часто крестьяне заходят по вечерам, плотно затворив дверь и заглянув, нет ли кого в соседней комнате, начинают шептать: «А я к вам, барышня, за листками пришел; мужики просят. Либо книжечек нет ли каких?» Все это создает страшную душевную ломку. Учительница знает, что союзник не спускает с нее зоркого глаза, что каждый визит к ней крестьянина союзнику известен; в то же время обмануть мужика, сказать ему не то, что думаешь, — свыше сил; сказать ему, чтобы не ходил, не поворачивается язык. Девушка начинает отговариваться, крестьянин смотрит подозрительнее. «Ну, так, пока что, прощайте. Извините, что побеспокоил. А я больше потому, что до вас здесь была Софья Ивановна, так она»... и т. д.

Эта сторона дела особенно ужасна для девушек, вышедших из этой же крестьянской среды, как, напр., Марья Егоровна.

Доброволец-союзник шпионит везде и видит все. Он спрашивает детей, чему учит учительница, не говорила ли, что нет Бога, что для образования каменного угля нужны были

миллионы лет и т. п. Всякую мелочь учитывает доброволец и всегда сумеет «съесть» свою жертву.

Жизнь превращается в пытку.

— Я нахожусь в особо печальных условиях, — говорила мне Марья Егоровна: — во-первых, у меня брат «политик», одного этого достаточно, чтобы смотреть на меня «хмуро»; затем были два — три столкновения из-за непосещения мною лекций аптекаря о холере. Может быть, это были и очень интересные лекции, но я серьезно была больна, а затем работы всегда много: то школьной, то своих мелочей пошить, постирать. Ну, а раз пробежала между нами черная кошка, то едва ли я сумею сдобровать. До брата бы как-нибудь дотянуть!..

— Мир прокормит, — заметил старик.

— Не утешай, дедушка! Свои-то сироты у вас с голоду мрут. Да и не останусь я здесь в случае чего.

— Ну, а как дела с ликвидатором?

— Говорят, донес он на меня, а правда или нет — не знаю. Е—ские крестьяне были несколько раз, так вот он думает, что я сделку расстраиваю. Обыск был у меня, да вот дедушка, спасибо, спас: я в город ездила, без меня здесь обыскивали, так он все мои книжки забрал к себе на печь под тряпки... Особенно-го-то ничего не было, а все-таки...

— Я от урядника узнал, — кидал с печи старик: — думаю, надо поглядеть. Собрал все, да на печь. А то вот в Славкине, сказывали, был случай — нагрянули к учительнице; ее тоже, как тебя вот, — не было, так полмешка, говорят, увезли. А впоследствии времени и ее забрали. После время бабы говорили: и знали, мол, что придут, а что запрещено, что нет — не пойдем. Повертелись, повертелись, да и бросили все. А по-

моему — прячь все, что под руку попало. Лезь ко мне на печь, коли есть охота, ищи; а найдешь — мне одно помирать-то, что в тюрьме, что где... Одно слово — бабы!..

— Вы говорите — у вас, собственно, лишь два «союзника» — спросил я Марью Егоровну.

— Два, но лучше, пожалуй, любых петербургских: на все рычат, везде им дело... Съедят они меня несомненно!..

Я указал, что работы здесь много, жалование маленькое, условия необыкновенные, так что должностью едва ли следует дорожить.

— Не знаю, что и ответить вам на это. Если меня уволят, я не найду должности — это несомненно; но, кроме того, я как-то привыкла к школе, к ребятишкам, к крестьянам. Все это стало таким дорогим, что больно будет расстаться.

Мы замолчали.

— Вы говорите о крестьянах; — по-моему это не самое тяжелое. Ведь в конце концов крестьяне многое понимают, видят шаткость моего положения, знают участь учительницы и научились беречь нас. По-моему, главная беда для нас — ребятишки. Вот где настоящая мука!

— В чем же дело?

— Ребятишки — народ любознательный, все им надо знать, все они слышат и всасывают в себя. Дома-то за последние годы чего-чего они не наслышались! Со всем этим и лезут теперь к нам. Поверите-ли: иногда озадачивают такими вопросами, что не знаешь, что и сказать. Подходит как-то ко мне девятилетний мальчик Смирнов Вася, сын зажиточного крестьянина.

— Вы, Марья Егоровна, забастовщица?

— Откуда ты это выдумал? Кто тебя научил?

— Сам я... — И ушел.

Затем дня через два подходит снова.

— Нешто забастовщиком быть плохо?

— Наверное за эти дни думал по этому вопросу... А то другой мальчик, лет 12-ти, батюшке отпалил: «коли разум дает Господь, то и мужиков не за что сечь, ума им все равно уж не прибавишь!» Мальчик сказал глупость, может быть, сказал ее со слов старших, но батюшка вышел из себя, накричал на меня, послал за отцом мальчугана. Конечно, отец выпорол мальчонку, но порками достигают лишь того, что с нами мальчишки менее откровенны.

— Дни три назад в перемену слышу такой разговор:

— Ты — нищий, рот голенищей!

— Не всем быть богачами! Хорошо, твоя мать три барских пуховых перины-то припрятала. Теперь богатей!

— А ты видал?

— Все видали! Я, мол, пушком от своих кур торгую. А какой у кур пух? Воры вы и есть!

— Здесь вступается третий мальчик и начинает доказывать, что «если что взято всеми, то это не воровство. Все брали!» На этом дети помирились. Есть у нас на школьном дворе громадная куча песку. На днях как-то 8-ми-летний карапуз забрался на ее вершину. «Братцы мои! — закричал он: — работы нет, земли нет, бедность одолела, начальство притесняет, — выпью сороковочку и утоплюсь!» затем щелкнул ладонью правой руки о кулак левой, пососал из кулака и скатился по куче вниз.

Вообще движение крестьян, разгром экономий, приезд казаков, деревенские нужды, земельные сделки, — все это дает ребятишкам неистощимые темы для вопросов, разговоров и игр.

Старик жаловался, что с ребятишками действительно одна беда и рассказал, как в соседней деревне два подпaska подожгли барский хлеб.

— Иногда гляжу я в глазенки малышу, и кажется мне, что он понимает меня прекрасно. А иногда они прямо заявляют, что «боитесь, мол, аптекаря-то, Марья Егоровна!» В такие минуты начинаешь понимать, что испуг настолько ввелся в нас, что его нельзя скрыть даже от детей... Не мы возбуждаем детскую любознательность, а каждый неуместный вопрос ребенка ставится в вину нам, учительницам!..

Нюрка внимательно слушала наш разговор: все это, видимо, ее интересовало, и заметно было, что сестры часто на эту тему беседуют. Долго Марья Егоровна рассказывала мне о жизни ее товарищей — учителей и учительниц соседних сел и деревень. Все ее рассказы можно было выразить одним словом — травля! Серая, полная лишения жизнь: труд, который надо исполнять не так, как хотелось бы; вечные уступки напору добровольцев; постоянная тревога за завтрашний день — вот в чем проходит жизнь! Приходится обманывать себя, сжиматься, лгать ребятишкам, «увиливать» от доверчивых вопросов крестьян, и все — во имя куска хлеба, во имя 10-15 рублей в месяц. Тяжело и грустно!

Пользуясь привилегированностью положения, «союзники» постепенно захватывают в свои руки все, посредством чего так или иначе можно воздействовать на крестьян: в с. К. пять

лет учителя ходатайствовали о разрешении народных чтений с туманными картинами: наконец, разрешение было получено, но инициаторы не долго пользовались этим правом. Скоро в дело вмешался священник, затем крупный хлебный торговец Кулаков; сначала влияли на выбор тем, а теперь захватили дело в свои руки, и, когда в К. формально открылось «отделение союза», каким-то чудом к нему перешла организация чтений, разрешение и технические приспособления. Учителя сначала были отодвинуты, а потом их попросили «уйти от греха» и «не мешаться». Чтениями начал руководить выгнанный из какого-то военного учебного заведения сын помещика. Парень этот состоит и в комитете «отделения». Он уже несколько раз был бит крестьянами за «приставание к девкам».

Любительские спектакли в с. Е. тоже стали монополией «союзников». Идут, конечно, «патриотические» или скабрёзно-скандальные пьесы, большею частью из «домашнего театра» «Родины». А, между тем, сколько в свое время было переписки из-за этих спектаклей! Сколько потрачено сил, чтобы приучить крестьян посещать спектакли! Теперь все делается без хлопот: «союзникам» все дозволено. Но, конечно, и в народные чтения и в любительские спектакли они влили специфический элемент, превративши то и другое в пошлый фарс.

Во многих местах захватили библиотеки и выдают крестьянам книги лишь по своему выбору. Во многих захватывают школы, ставя взамен уволенных учителей «своих людей», всегда невежественных и развращенных верзил, отпугивающих детей от школы.

Со всей этой хулиганской разнузданностью приходится считаться учителям и учительницам. Ребятишки же — это новое поколение — отчасти понимают причину лжи и изво-

ротливости учителей; знают, почему нужно лгать, почему опасна правда, а отчасти принимают ложь за правду и, как правду, эту ложь усваивают. По-моему, это самая больная сторона дела: в страхе и лжи воспитываются тысячи людей, и это кладет на них неизгладимый отпечаток. Марья Егоровна больше всего скорбит именно из-за того, что из-за 10 руб. в месяц «приходится портить детей, скрывая от них истину», а с другой стороны, — кто может поручиться, что на ее место не попадет отставной военный писарь-союзник, который за эти же 10 руб. в месяц будет уже прямо развращать детские души...

— Я вам говорю, что с ребятами теперь беда, нужна особая осторожность, иначе того и гляди подведут: то игры, то книгу какую-нибудь притащат. Недавно со мной был такой случай. Задаю я старшим мальчикам сочинение на тему: «Памятный случай моей жизни». Конечно, предварительно долго разъясняю план, привожу примеры из учебника и, наконец, совместно обсуждаем, как нужно писать. Тема эта вовсе не выдумана мною: в числе других тем она рекомендуется методикой; я не сообразила одного: памятные дни этого поколения в большинстве экстраординарны. Ну и получила... Не хотите ли посмотреть тетради?

Случай.

Со мной произошел этот случай, когда, после забастовки, приехали казаки и старший начальник. То маманька побегла за тятенькой, а мне сказала «на улицу не смей носа высунуть». Но Василий Модин прибег и сказал, что мужиков порют около гусяного пруда. Я изнутри наложил крючок на дверь, чтобы кто не вошел, и вылез в окошко. Я побежал к гусяному пруду. Там казаки были на лошадях, а солдаты с ружьями, но народу было мало;

все разбежались. С горяча я подбежал прямо к казакам, но они меня не тронули. Тогда я поглядел и вижу — стоят мужики десятка три, с ними и лавочник Данилов и тятянька, а руки у него связаны. Тогда старший начальник, толстый, слез с лошади и начал читать бумагу. Староста вышел вперед, его положили на скамейку и начали пороть. Но он не кричал. Я весь трясся от страха, но не бежал. Я подошел и стал рядом с лошадью старшего начальника. Лошадь вороная, а седло с красными полосками. Тогда старший начальник увидел меня и схватил за руку. Я кричал, но он тащил меня к скамейке. Я думал, что меня будут пороть, но тятянька сказал — не троньте, ваше благородие, не смыслит еще, но начальник сказал — это твой сын? тятянька сказал — мой! Тогда старший начальник сказал — ну, ложись! Но тятянька стоял. Тогда солдаты взяли его и потащили на скамейку, но тятянька закричал — я солдат! Тогда они стали его пороть. Я хотел бежать, но старший, начальник держал меня за руку. Тятянька тоже не кричал, но его пороли больше. А старший начальник схватил меня за волосы и сказал: будешь помнить, как за бунты учут? — Но я бросился бежать и больше ничего не видал. Около колодезя я увидел Василия Модина. Я закричал ему—Васька! Моего тятюку выпороли! И побежал. Василий Модин побежал за мной. Так прибегли мы на гумно. Василий трясся от страха и плакал. Тогда мы зарылись в солому. Мы хотели есть, но боялись итти. Так мы и ночевали на гумне!..

Автору, сыну крестьянина средней зажиточности, 12 лет.

12-ти летняя дочь вдовы подробно описывает разгром экономии, причем внимание ее больше всего привлек сторевший «черненький теленчик». «Что мы должны лучше всего

помнить» — так озаглавил свое произведение 9-ти летний сын работника волостного старшины. Мальчик перечисляет заповеди и с ужасом думает о карах, положенных за их нарушение. В конце, в скобках, добавлено: «продолжения следуют». 14-тилетняя девочка описывает, как у них ночевали казаки и «все пожрали», а она «сидела в присаднике и не спала всю ночь».

Случай моей жизни.

Когда взяли Витю, то мне было 7 лет. Отец наш пришел сердитый и сказал: «Ну, дождались! Арестовали Витюто!» Мать наша начала плакать, а он сказал: «Надо было думать раньше!» Я тоже плакала, а он сказал — перестать реветь! Затем нам сказали, что Витю повезут в город, то мы пошли на вокзал. Как его провели мы не видали. Затем мы все плакали, а мать наша сказала — не доживу я теперь до него. Затем весной пришло письмо, а отец наш читал письмо и плакал, а мать наша сказала — без Вити и весна не красна! Затем мы написали ему письмо, а я написала ему на отдельном листе: «Здравствуй, дорогой брат Витя! Я очень об тебе соскучилась; приезжай скорее». Теперь он скоро приедет».

Это пишет Нюрка, сестренка Марьи Егоровны.

Большинство произведений посвящены темам крестьянской жизни. Порой довольно трудно понять, почему тот или иной факт заинтересовал мальчишку. Вот — буквально на 12 строках описывает, как у них «ночевал студент». Мальчик боялся, но «он ушел, когда я еще спал. Я проснулся, а его уж нет». Вот и все! Дома, наверное, говорили об этом; потому посещение студента и приняло такой таинственный характер. Кое-кто пишет на старые темы: памятный день — это елка, или переход в другой класс с наградой. 16-ти летний парень пишет,

что памятный день для него тот, когда он научился читать. Но больше рассказов о казаках, о «забастовке на ярмарке» и т. п.

Очевидно, события последних лет неотразимо запечатлелись в душах крестьянских ребятишек и не из одного «озорства» они задают учительницам «коварные» вопросы ...

— Что вы обедаете? — спросил я Нюрку, когда Марья Егоровна вышла.

— Когда как. Утром Маня воблу покупает — нам на два дня хватает. Едим с хлебом. А обед варим... Когда мясо, когда рыбу, когда постное...

— А постное-то чаще всего, — раздалось с печки: — морят себя из-за Бог весть чего. Ведь, я говорю — слазайте в погреб, наложите огурцов и валяйте с хлебом; все сытнее... И гостя-то угостили бы! Сам бы я, да силы-то нет...

— Хорошо тебе здесь, Нюта?

— Ничего. Только вот зимой корову они в избу пускают.

— Как же иначе-то? — пояснял старик: — известно, какие у нас хлева-то? Корове тоже холодно. А здесь она наберется тепла, ночь-то и терпит...

— Ну, а вы как живете, дедушка? На хутора не думаете переходить?

— Каки там хутора! А выделиться бы надо ему... И то говорю — выделись пока что! Три души, ведь, теперь — все-таки кусок! Не ныне завтра помру, мальчишка тоже на ладан дышит. Останется без всего. Мне-то теперь три аршина только надо... Да и то сказать — своя голова на плечах — пусть делают как знают...

— Ну, как мои «писатели»? — спросила Марья Егоровна.

— Вот бы среди кого произвести анкету о крестьянском движении.

— Они с этим достаточно знакомы. К любой теме сумеют пристегнуть свои воспоминания. А нам влетает... Мы должны внушать... Но как я докажу ребенку, что лучше всего он должен запомнить первое причастие или первую исповедь, а не порку отца? Мальчуган вполне резонно отвечает, что исповедь он забыл, а порку помнит великолепно. Я понимаю, что тема воспоминаний вообще для нашего времени рискованная, но, ведь, ребятишки не могут писать отвлеченных рассуждений, то, что их занимает, они сумеют ввернуть всюду. Теперь, вот, ограничиваемся одними переложениями.

Прощаясь со мной, Марья Егоровна сказала.

— Вы знакомы с ликвидатором — попросите его не травить меня. Даю вам слово, что я не виновата в неприятностях, которые чинят ему мужики... Что я буду делать, если уволят до возвращения брата? Ждем его, часы и минуты считаем. Только это ожидание и силы дает. Аптекарь узнал откуда-то, что я брата жду, так еще пуще ест: встретит на улице меня и начнет ругать брата: вор — ваш брат, грабитель и еще Бог знает что. А вчера в аптеке спросил меня, согласна ли я с тем, что брат и его компания — негодяи! И я должна молчать... Если бы не Нюрка, бросила бы все, кажется, да убежала, куда глаза глядят, а, ведь, ее надо учить... Ей 9 лет!... Пусть господин ликвидатор оставит меня в покое—и без него тошно!..

V

Месяца через два мне снова пришлось поехать «по уездам». В числе прочих мест, мы заехали в Е—нь. Странная

картина представилась нашим глазам: улицы пусты, у 3—4 изб заколочены окна и двери. Голодные собаки с злобным лаем бегают по улицам, бросаясь на каждого встречного.

Мы подъехали к лавочке.

— Куда у вас народ-то девался?

— Разбежались кто куда. Больше-то в Баку, да в Астрахань уехали на работу.

— Да, ведь, поздно уж?

— Что делать? С землей тут у них ничего не вышло. С голоду помирать тоже не охота, ну и тронулись.

— Что же вызвали, что-ль, их туда?

— Нет, солдатик один приехал оттуда. Наговорил им с три короба—все и загомонились. Да я так думаю, что не иначе, как вернуться. Придется им не миновать, как перейти на хутора.

— Не миновать?

— Не миновать. Не выдержать! Подобрались они больно, а слухи есть, что не находят там никакой работы...

— Много народу осталось в деревне?

— Мало. Семей тридцать всего; поменьше, пожалуй. Говорят, вот, мужик, мужик, а все-таки был здесь народ — была небольшая торговлишка. А теперь хоть закрывай лавочку; ждем только, может вернется скоро.

— А где теперь ликвидатор?

— Здесь где-то поблизости, в своем же участке. Когда не пошло у него дело-то, так еще к нему приезжали тут на подмогу два человека. Совсем молодые еще мужчинки, но и они ничего не поделали: заупрямились наши-то! По-моему, если говорить по правде, то и их винить нельзя: землю им дают

самую завалиющую. Пыль да пески — никчемная землишка: опасно на нее перебраться.

— Вы сами-то вышли из общины-то?

— Вышел, но только землей не занимаюсь: продал свою... Хлебом хочу торговать.

Чтобы покончить с выяснением несчастной эпопеи злополучных е—цев, я задал еще один вопрос, уже не относящийся прямо к ним.

— Где теперь Марья Егоровна?

— Уволили ее; вскоре тогда, как вы уехали, ее и отставили. Приезжали они сюда с Анюткой, дня два никак прожили. Где теперь — сказать не могу. Говорят, будто в городе где-то, а прямо не знаю.

Мы поехали дальше.

Пустая деревня, забитые окна — терзали нервы. Хотелось бежать скорее отсюда и отдохнуть за чем-либо менее тоскливым и тяжелым. Но мысль сама собой работала в определенном направлении и подводила итоги первых шагов деятельности господ землеустроителей. Два результата были очевидны — разоренная деревня и затравленная, не сделавшая никакого вреда, скромная сельская работница. Эти два итога были ясны и бесспорны. Не одни, конечно, гг. землеустроители в этом виноваты — есть основные, общеизвестные причины. Но, являясь выразителями в корне ошибочных постановлений, рельефно подчеркивая их и проводя в жизнь старыми «начальническими» способами и приемами, гг. землеустроители каждым шагом своей деятельности обостряют деревенские затруднения.

1909 г.

Новый помещик. Из записной книжки современного деревенского наблюдателя

I

«Новыми помещиками» в наших местах называют крестьян, выделившихся из общины и приобретших землю в собственность. Большинство таких крестьян, помимо наделной земли, прикупают и земли окрестных помещиков, а потому некоторые из них округляют участки до 50 и 100 десятин. В настоящее время вокруг этих людей как-то сконцентрировалась вся деревенская жизнь. Хорошие, а большей частью дурные стороны деревенского быта связаны с ними, и история какого-либо из них является как бы историей всей деревни или села за последние годы.

В Кожниковке типичным представителем этой вновь народившейся группы является Карп Федорович Вавилов. Недавно он вышел из общины и приобрел 75 десятин у ликвидировавшего свою землю помещика.

Карп Федорович — мужик умный и сметливый. Инстинктивно он угадывает веяния времени, действует сообразно с ними, а потому почти всегда без промаха. Глубоко сидящие косые глазки его обычно глядят спокойно, но, когда он начинает волноваться или «почует добычу», они нервно и беспокорно бегают. В деревне с недавних пор глаза его начали называть «рысьими», а сильно выдающийся лоб — «бычачьим». Говорит Карп Федорович охотно и много. Когда он что-либо излагает на сходе, речь его льется плавно, то и дело встречаются в ней старые, привычные крестьянскому уху, обороты. Но как только Карп Федорович начинает волновать-

ся—плавность речи заменяется отрывочным криком, старые обороты исчезают...

Лет десять назад Карп Федорович овдовел. Собирался жениться вторично, но пришлось женить сына, Григория, а затем «как-то все не подошло дело», и Карп Федорович вдовееет до сих пор.

Издавна семья Вавиловых считалась зажиточной. Ежегодно они снимали 10 — 15 десятин, имели 4 лошадей, 3 коров и десятка три овец. Круглый год содержали работника и работницу; посильную помощь оказывал и довольно крепкий еще старик Федор.

В деревне мне не раз приходилось слышать, что богатыми Вавиловы стали с того времени, как старик Федор «обокрал» мир. Послали его в слободу Елань приторговать землю, а если земля окажется подходящей — дать задаток. Федор купил землю по 25 руб. за десятину, дал задаток, а через неделю перепродал ее по 40 руб. Вернувшись, он заявил, что «земля не подходяща» и «покупать ее не след». Верно ли это, и какую сумму дала эта операция, до самого последнего времени было неизвестно. Дело происходило давно, очевидцев осталось мало; Карпу же Федоровичу тогда было лет 10, «понятия настоящего он не имел». Следовательно, и упрекать его не в чем.

Сам старик Федор говорить об этом не любит. И когда какой-либо пьяный начинает кричать об этом, он плюет и уходит в избу.

Между тем, Карп Федорович за интересы мира всегда стоял горой; несколько раз сидел в кутузке за грубые ответы представу и за схватки с земским; никогда не кулачил, не «закаба-

лял народ», сам работал за двоих и отличался от других крестьян лишь более обширными посевами и зажиточностью.

Карп Федорович умеет читать и писать. Часто читает книги и газеты. Особенно любит он популярную астрономию и книги исторические. Лет шесть назад по вечерам у него собирались степенные мужики, и он читал им «Историю одного крестьянина». Наверное известно, что бывали у него и «запрещенные книжки», но читал он их лишь самым близким людям, к которым питал безусловное доверие.

При обсуждении того или иного вопроса, Карп Федорович высказывал резкие и определенные взгляды.

— Прижат мужик! Шутка ли дело платить 19 руб. за десятину в год?! Хорошо еще уродит Бог, а как нет?! А ведь они не рассуждают: им вынь, да положь...

В планах решения земельного вопроса Карп Федорович был краток: «вся земля должна отойти мужику, а уж потом мы сами разберем, кому что»... Взгляды эти разделяло большинство, а потому Карп Федорович пользовался уважением и в делах общества имел большой авторитет.

Начались крестьянские волнения. То и дело в Кожниковку приезжали крестьяне соседних деревень и советовали «приступить». Народ волновался. На улицах собирались толпы возбужденных людей, кричали, спорили... Молодежь трепетала и рвалась что-то совершить... Редко, редко в ком радость омрачалась неосознанной тоской и скрытым опасением...

В эти дни в Кожниковке не было ни одного пьяного. Лица всех были серьезны, словно накануне чего-то большого и важного. Ждали какого-то сигнала.

Карп Федорович, к удивлению всех, редко показывался на улицах. От него ждали совета, указаний, но он то куда-то уезжал, то сидел дома. Наконец, послали к нему стариков, чтобы шел на собрание. Он пришел, но и здесь молчал и гладил бороду.

— Как же, дядя Карп, ведь начинать надо?

— Думайте, мужички, дело серьезное!

— Да твое-то слово какое будет? Корневцы вон говорят, коли к воскресенью не начнете, мы всем селом приедем.

Карп Федорович немного подумал.

— Вот как я думаю: говорить тут много нечего, а как сход постановит, так, значит, тому и быть!..

Сход постановил вечером идти к «генеральше», а в субботу на винокуренный завод. «Землю отобрать в пользу козниковцев навечно, а имение и завод уничтожить». «Чтобы не курилось на нашей земле это зелье». Староста приложил печать, и дело было решено.

Вечером вся деревня двинулась к имению «генеральши». Запрягли лошадей, захватили топоры, вилы, косы и потянулись. Парни рвались вперед, но старики решили, что вперед идти нужно им и «спервоначала поговорить добром». Женщины и ребятишки, несмотря на сердитые окрики старших, двигались за ними. У всех было веселое настроение. Шли, как на праздник. Карпа Федоровича не было, но Григорий с женой и старик Федор были здесь.

Вначале шествие было довольно шумное, но по мере приближения к экономии становилось тише и, наконец, дойдя до горы, под которой была раскинута экономия, — все умолкли. Сажень за сто от хутора остановились; старики пошли «перего-

ворить». Возвращения их ждали с нервным нетерпением; говорили шепотом.

— А что, как казаки?

— Ну, и казаки... Постоять надо. На это шли.

— Ребятишки-то напрасно прибежали...

— Чего вам надо, чертенята? Пошли домой!

Ребятишки попятились, но остановились. Тишина и глухой шепот. Фыркают лошади...

Вернулись старики.

— У старосты ключей нет. Делайте, говорит, что хотите...

А окромя его на хуторе нет никого...

— Начинать, значит, надо?...

— Как же, мужички? А?'

— Чего же думать-то... Приступим...

— Ну, Господи благослови!..

Десяток парней бросилось к громадному омету соломы.

— Урраа!!...

Засветилась спичка. Огонь, перебегая с одной соломенки на другую, в минуту добрался до вершины, охватив весь омет. Громадные языки пламени, свиваясь, поднялись к небу... Тысячи искр гигантской ракетой взлетали и гасли в воздухе. Сразу стало светло, как днем... Парни хватали пуки горячей соломы и совали их в скирды хлеба и стога сена. Огненное море забушевало на пространстве десятков сажен.

— Пошла!.. Ха, ха, ха...

— Вали, робя...

— Жарь!..

В страшном возбуждении народ разбрасывал головни, на помещицьем добре срывая вековую злобу.

- Не дурить... Честь-честью...
- Ах, Господи Боже мой! Ну и народец!..
- Старики к амбарам!..
- Старики!!..
- Хлеб делить!..

Десятки рук схватились за громадные дубовые бревна... Удар, другой и — двери амбаров вылетели. Народ хлынул в амбары. Началась беспорядочная свалка. Люди хватили мешки с зерном, с мукой; насыпали хлеб в бочонки, в кадки, в полога. Кричали, смеялись... В хаосе звуков нельзя было ничего понять...

Некоторые отвезли несколько мешков домой и нагужали телеги снова. Другие беспомощно хватились за различные вещи, тащили их несколько шагов, а потом бросали в огонь.

- Эх, фуру я не догадался запретить... А... Вот ведь голова-то...
- Чего?...
- Фуру мол, надо бы... Постелил полы и валяй...
- Фуру, ФУРУ— А как же мне-то вот... Без лошади-то... В карман, что ли, сыпать... Положи, дедушка Егор, мешочек. Завезешь.
- Эх, дурак, дурак!.. Пошел в конюшню, да и выбрал любую, пока всех не разобрали...
- И то ведь!..
- Беги скорей... А то—«мешочек»... Чудаки!..

Григорий несколько раз отвез телеги с хлебом. В разгар работы приехал и Карп Федорович. Телеги нагружали деятельно и поспешно.

Ребятишки бегали вокруг горящих стогов, визжали и разбрасывали горящее сено.

Бабы осадили курятник, хватали гусей, уток, кур.. Совали в мешки; в эти же мешки на кричащую птицу клали различные вещи... Кричали и ссорились. Одна вырывала у другой громадного индейского петуха, та защищалась. Петух кричал и бил крыльями. Но вот ребятишки подожгли птичник. В раскрытую дверь с криком бросилась сотня птиц, метались из стороны в сторону и гибли в огне.

— Дяденька, а дяденька, дома-то поджигать, что ль?!

— Спросите дедушку Егора...

— Чего спрашивать? Вали, жги... Теперь—мы господа...

— Как вали? А, может, там люди...

Снова десятки рук ухватились за толстый дубовый пень. Раскачали и ударили в дверь Старостина дома. Дверь с треском вылетела.

— Никого!

— Пусто, значит?

— Пусто!

— Вали!..

Горящие поленья полетели в выбитые окна. Дома запылали. Сторож помещицкой церкви ударил в набат. Тревожный звон смешался с криком народа и ревом пламени.

— Кабы на церковь не перекинуло?!.

— Сохрани Бог... Поосторожней надо!..

— То-то и я говорю. Ребятишек прогнать надо. Долго ли до греха!..

Покончив с хутором, народ бросился к раскинутому в саду старинному помещичьему дворцу.

Карп Федорович — по словам крестьян — одним из первых забрался в роскошные дворянские хоромы. Начался разгром дома.

— Вот что, ребята, — визгливо кричал дедушка Егор, — вещей-то брать не надо бы. Взяли хлебушка, скотину и — ладно! А это все пусть горит, не надо нам... Пропади оно пропадом...

Но в шуме слова старика пропадали даром. Люди уже тащили различные предметы роскошной барской обстановки.

— Вещей-то, мол, не надо бы брать!.. Эх, народ! — старик махнул рукой.

Дворец загорелся с нижнего этажа. Наверху еще шумели люди, выбрасывая в окна зеркала, мебель, посуду. Внизу подхватывали эти вещи, ломали, бросали в огонь и тащили на воза.

К утру нагруженный обоз потянулся к Кожниковке. За ним следовали нагруженные люди. Шутили, делились впечатлениями. Рассматривали захваченный скот.

— Микифор Андреяныч! Дал бы мне одного сосунка-то. Куда те трех-то?

— Хе, хе... Небось не пропадут...

— Эх, хороши жеребята-то! И хотел было я поймать одного, да погнался за этим чортом, — показал он на привязанного к телеге громадного быка, — а ты уж и подхватил всех трех...

— А по-моему бы так, ребята: придем вот домой и разделить кому что... А то ведь и то надо сказать: у кого пять подвод, а у кого нет ни одной. Грешно!

— То же и я говорю. Раз уж такой день, то по Божьи надо!

— А у тебя что в мешке-то, Константин Иваныч?

— Самовар.

— Ну-ка, покажи...

Старик вынул блестящий самовар и поднял за ручку.

— Никак серебряный?

— А кто его знает. Будем теперь со старухой чай попивать.

— Ха, ха, ха...

Ребятишки тащили обломки посуды, серебряные ложки. Один повесил на себя шпагу с надписью «за отличие» и гордо шел впереди всех.

Шествие замыкала старая Акулина, которая тянула за веревку породистую телку. Та упиралась, мотала головой, бросалась из стороны в сторону. Ребятишки помирали со смеху, глядя на отчаянные усилия старухи.

— Гринька! А Гринька! Чего ржешь? Подгони ее сзади-то!

— Сама, бабушка, дотянешь...

— У, у... Змияты!..

В субботу был сожжен винокурный завод; затем рубили лес, делили землю. Не было свободной минуты: то и дело собирали сход, обсуждали, как и что... А через неделю в Кожниковку прибыли войска, окружили ее со всех сторон, начались обыски, бесчинства казаков, расстрелы и порка. Ко всеобщему удивлению у Карпа Федоровича не нашли ничего. Все видели, как он возил лес: все знали, что он больше всех наво-

зил хлеба и вещей: на глазах у всех Григорий увез с завода две бочки со спиртом, и все «словно сквозь землю провалилось». Конечно и другие крестьяне успели кое-что припрятать. Даже старуха Акулина каким-то чудом сумела припрятать похищенную телку. Тем не менее, у большинства нашли и хлеб, и скот, и вещи... Большинство перепороли; многих отправили в тюрьму. Вместе с помещичьими вещами отобрали и собственный хлеб, и скот. Карп Федорович уцелел. В доме его остановился пристав и все время хвалил его, как благоразумного и рассудительного мужика.

Уважение и доверие крестьян к нему после этого случая стало падать. Крестьяне заподозрили какой-то «подвох», какой-то «обман» и заметно начали сторониться Карпа Федоровича.

Через год пронесся слух, что где-то на стороне Григорий сбывает «генеральшины» вещи. Григорий, действительно, уезжал куда-то месяца на полтора, но никто не знал, куда именно. Карп Федорович и виду не показывает, что замечает охлаждение крестьян. По-прежнему он разговаривал с мужиками о делах, о думе, хотя почему-то стал держаться «как будто свысока». «Прежде в нем сердечности много было, а теперь так финтит... Тоже знаем мы ихнего брата», — говорили мужики. Но «придраться» пока было не к чему. Правда, Карп Федорович «вышел сухим из воды», но ведь это говорит только о том, что «он—мужик с головой» и «может понимать дело». Поэтому недовольство открыто не выражалось, — тем более, что помимо Карпа Федоровича в деревне было еще с десяток крестьян, которые тоже «чисто обделали дело». Наверное, мирское недовольство, в котором была не малая толика зависти и самоукоризны, постепенно бы стерлось, если бы сам Карп

Федорович «остался прежним». Но он заметно изменился, все меньше и меньше интересовался общественными делами и, наконец, открыто выступил против общества.

II

В первый раз открыто против «мира» Карп Федорович выступил года через два после разгрома «генеральшина имения». Вскоре после разгрома и ухода войск крестьяне постановили «закрыть казенку и не пить вина». Постановление было опротестовано, приехало «начальство». К счастью, казенка неожиданно, сгорела, и вопрос на время был решен. Года два никто из кожниковцев не решался сдать помещение под квартиру. Это в некоторой степени удовлетворяло поруганное крестьянское самолюбие.

— Пусть свой дом делают.

— Кабы этак-то да 'во всех местах, они скоро бы поиначе заговорили...

Как вдруг в один прекрасный день крестьяне увидели на одной половине дома Карпа Федоровича знакомую вывеску: «казенная винная лавка». С недоумением смотрели мужики и не верили своим глазам.

— Н-ну и дела!..

— Ай да Карп Федорович.

Через час около казенки стояла толпа озлобленных людей.

— Как же так, старики? А?!

— Ведь это что же такое будет?!

— Нет, по-моему за это дело...

Крестьяне шумели больше и больше. Два стражника тщательно уговаривали «разойтись».

— Выходи, Карп! Чего прячешься?!..

— Карпушка; первейший ты негодяй!..

— Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц...

— Господи, Господи! Народ-от какой пошел... А? За грош отца с матерью продадут... Первейший, можно сказать, человек и пошел на такое дело!

Вышел Григорий и заявил, что отец уехал в город и придет через неделю.

Долго шумели крестьяне; ночью в доме Вавиловых выбили окна. А на утро кое-кто приходил спрашивать, начала ли торговать казенка? А кое-кто и выпил, пользуясь тем, что «благо ходить недалеко».

Карп Федорович приехал дня через четыре и первым делом собрал крестьян.

— Слышал я, мужички, что вы на меня сердце имеете за казенку. И окошки тоже у меня выбили. Так вот я хочу сказать: напрасно это! Не я — Липатов сдал бы избу, а вам все равно...

— Ну, на меня-то ты не тычь!

— Знаю я, Григорий Петрович, зачем ты в город ездил. Уж лучше помолчи немного. А я так порешил, коли уж этому делу быть, отдам свою избу. А чтобы миру обидно не было, буду из этих денег 25 руб. в год отдавать на училищу.

— Ишь ты, куда загнул!..

— Будет тебе, Карпушка, хвостом-то вертеть!..

— Нет, брат, нас-то ты не подкупишь!

— Да я бы не токмо что, а все сорок отдал бы; ведь 20 руб. в месяц — деньги! — кричал возмущенный и одураченный Липатов.

— Не братъ, робя, не братъ!..

— Не в этом сила! А раз сказал мир закрыть, значит, так тому и быть! А ты против пошел. Не закон это. Вот что. Ты вон открыл его, кабак-от, и сразу уж народ пить начал, — волновался дедушка Егор, почти около самого лица Карпа Федоровича размахивая бодагом.

— Верно, дедушка!

— Справедливо, что и говорить!

— Знамо, коли уж раз решили, чего тут. Этак, пожалуй, всяк будет по-своему, — подступал, желая перекричать других, Липатов.

— Ну и ты, брат, хорош: орешь, а сам под шумок тоже...

— Да порази меня Бог, если я... Что вы?.. Да вот дедушка Егор тоже скажет... Могу ли я на такое дело пойти?

— Народ! Ах. Господи... Сядет тебе на шею. а потом выкинет 25 руб... Как собаке кость...

— Не братъ!

— Не желаем принять! Подавись ты. антихрист, своими деньгами...

— Иуда Хриstopродавец...

— Пойдите, мужички, пойдите, — визжал Карп Федорович, — вы вот говорите: мир решил. Ведь мир тогда решил, чтобы и вино перестать пить навсегда. Все ведь согласились. А разве не пьете теперь? Пьете ведь, да в шинке деньги переплачиваете. Какое же это, к примеру, правило, казенку нельзя, а

чтобы в шинке, сколько угодно... Ведь оттуда же вино-то идет... Коли уж на то пошло — надо на чистоту! «Давши слово, держись!..» А то сами же решение порешили, а теперь на меня...

— Он вам напоеет, его только послушайте, — волновался Липатов.

— Не дело ты, Карп, затеял. Припомни ты мое слово: не будет из этого добра. Не такое теперь время, чтобы идти против всех. И без того трудно мужику, а коли друг другу на шею будем лезть, тяжело всем придется... Ах, как тяжело! ...

— Верно дедушка...

— То же их брат ой, ой!.. Им палец в рот не клади...

— Всю руку отъедят...

— Всего проглотят...

Но Карп Федорович уже вошел в роль обличителя... Называя мужиков по именам, он высчитывал, сколько каждый из них пропил со времени постановления.

— И это не стыдно! Открыта казенка, ну и пусть! Вам то что? Не пейте — ее и закроют... Дело не в том, что казенка, а в том, чтобы вино не пить. А мы постановлять постановляем, а сами, как свиньи, его хлыщем!..

— Чего тут разговаривать — не брать и все!..

— А ты, Карп, помни!..

— Да, уж отольются кошке мышкены слезки!..

Народ разошелся, разговаривая и возмущаясь. Но на другой день стало ясно, что Карп Федорович победил. Отказавшись принять деньги, крестьяне, тем не менее, опять собрались у избы Вавиловых.

Ругани было меньше. Все стали уступчивее. Кто-то потребовал, чтобы Карп Федорович дал расписку, что не обманет и будет аккуратно платить. Умные и понимающие мужики махнули рукой: «никакого толку не выйдет!»—и ушли. Нужно сказать, что Карп Федорович «уловил момент». В деревне месяца два уже обсуждался вопрос об отоплении школы и не знали, откуда взять денег. Предложение Карпа Федоровича решало задачу. С другой стороны, дело было сделано, казенка открыта. Взять ли деньги, или нет — она все равно останется. «С паршивой овцы, хоть шерсти клок»!

Одним словом, деньги были взяты. Кроме того, Карп Федорович дал миру 15 руб. на угощение. От этих денег сначала тоже отказались. Но когда кто-то нерешительно протянул руку и взял посмотреть новые трехрублевки, деньги пошли по рукам. Кто-то спросил: «сколько купить»? Отделилась группа обсуждать этот вопрос. Присутствуя при этой сцене, я видел, что все чего-то стыдятся, чувствуют себя неловко.

— Зачем вы взяли деньги? — спрашиваю крестьянина, у которого я жил.

— Да нетто я? Нашим горлопанам только посули, они за бутылку отца с матерью продадут. Мы кричим: «не брать», а Миколка Лязгай уж за вином побежал.

Несколько лет назад щедрость Карпа Федоровича была бы оценена иначе. Теперь времена изменились: часть крестьян вовсе отказалась от угощения: другие пили, по их словам, «с болью в сердце», а напившись, ругали Карпа Федоровича, грозили ему: «ну, Карпушка, помни, да не забудь» ...

В это же время перед крестьянами Кожниковки с особенной остротой встал земельный вопрос. «Генеральша», напу-

ганная разгромом, значительную часть земли продала, а оставшуюся ни за что не хотела сдать «разбойникам». Тщетно крестьяне ездили к ней, предлагая чудовищную цену — 35 руб. за десятину в год, — барыня была непреклонна. Осталась единственная возможность существовать на земле второй экономии, принадлежащей местному земскому деятелю. Эту землю пока что Кожниковцы и снимали, но земля эта была предназначена к продаже и не сдавалась на долгие сроки. Неопределенность беспокоила крестьян, и жили они, главным образом, надеждой, что «терпеть еще не много».

В июне 1907 года хозяин этой земли приехал в Кожниковку и предложил купить землю по довольно сходной цене — 110 руб. за десятину. Предложение это вызвало много разговоров и споров. Мысль о безвозмездном получении всей земли крепко сидела в крестьянских головах. Кроме того, помещик требовал ко дню заключения условия по 20 руб. с десятины наличными, что многим было совершенно не под силу. В то же время крестьяне видели, что без этой земли у них останутся одни ничтожные наделы (3/4 десятины на душу); понимали, что «раз эта земля уйдет, останется одно — петля!» После долгих обсуждений решили, что «купить не по силам», а что надо просить помещика «сдать землю в вечную аренду». Неизвестно, согласился ли бы помещик исполнить просьбу крестьян, или нет. Совершенно неожиданно дело приняло другой оборот. Карп Федорович под шумок крестьянских рассуждений организовал «товарищество трех деревень»; в товарищество вошло 38 зажиточных крестьян, и оно приобрело всю землю «на наличный капитал». Либеральный помещик немного поморщился, когда ему была предложена эта сделка. Однако, когда ему доказали, что Кожниковцы «все равно землю не купят»—

«пришлось согласиться». Дело было окончено довольно скоро. Явились землемеры, сняли планы; члены товарищества поделили земли, а помещик на руки получил значительный куш.

«— Ей Богу, мне стыдно и жаль мужиков, но войдите вы в мое положение», — говорил мне помещик после сделки, — мужики испорчены листками и глупыми книжонками, которые, как видите, ничего, кроме вреда, им не приносят. Я просил купить, две недели ухаживал за ними... Не могу же я в самом деле. Они люди, но и я — человек» !..

Когда Кожниковцы узнали, что земля продана, они в буквальном смысле разинули рты от изумления. Карпу Федоровичу достался клин в 75 десятин, верстах в трех от Кожниковки. Клин этот примыкал к надельным землям крестьян; с двух сторон его окаймляла речка, и земля эта считалась одной из лучших.

— Вот те на! — говорили крестьяне, — начисто обыграли!..

— Как же мы то теперь, Карп Федорович, будем? Ведь, как есть не при чем... А?

— Да я-то что же? Вижу: вы не соглашаетесь, а те мужики уж сговорились... Надо, думаю, и мне. Что же упускать то? Да и то сказать: не купи мы, — хохлы бы взяли. Теперь ведь я ее не буду, землю то. Как снимали, так и будете снимать... Тоже и другие. А у хохлов уже не сымешь...

— Ну и дела!..

Мнение мира по отношению к Карпу Федоровичу определилось. В деревне было несколько довольно развитых мужиков; кое-кто из них года-два просидели в тюрьме вместе с интеллигенцией, многому научились и многое понимали. Довольно хорошо понимали они и Карпа Федоровича с компа-

нией. Обо всем они беседовали со своими односельцами, но поделаться, конечно, ничего не могли. Ненависть к Карпу Федоровичу росла, и он это видел. Казалось бы, ничего преступного Карп Федорович не сделал: на собственные деньги купил кусок земли — вот и все. «В былое время люди мир обкрадывали, людей убивали и то их уважали за богатство»? «Что же такое я сделал?» Однако общество считало его в чем-то виновным, да и в душе Карп Федорович чувствовал за собой какую-то вину. По крайней мере, за эти дни он несколько раз заходил ко мне и доказывал, что «притесняют его совершенно напрасно», что «кроме хорошего, ничего для мира он не делал», что он «не какой-нибудь кулак» и т. д.

— Да что же вы особенно беспокоитесь-то?

— Как же не беспокоиться: теперь какой народ-то? Они ведь на все пойдут... Не только лошадь, а корову — самого убьют и виновного не будет.. Нет уж лучше помириться с ними как-нибудь... Покойнее.

Я видел, что Карп Федорович собирается бросить миру подачку и предложил ему понизить арендную плату. Однако, это оказалось «не подходящим». Карп Федорович придумал нечто иное.

— Вот что, мужички, — заявил он на одном из частых в это время сходов, — такое теперь время, что нельзя скоро и жить будет! Не вор я, не грабитель, а взъелись на меня все пуще псов — ругают, грозят. А за что — никак не придумаю: никого я не обидел, никому зла не желал, а всегда всей душой стоял за мир. Вот и теперь: две с половиной десятины выгона отошли ко мне по причине моей покупки. Как известно вам, снимали мы их у барина вместе с землей. Теперь я так думаю: выгон у вас

небольшой, и если отрешу я свою землю, вовсе мало останется. Потому хочу я, мужички, так сделать: вы мне полторы десятины от речки прирежьте, а выгон весь останется миру. Десятина моя пропадает, ну, да не обеднею.

Крестьяне не согласились на сделку. «Умирать, так умирать». Тогда Карп Федорович заявил, что «выгон жертвует миру без обмена». Подачка эта кое-кого подкупила. «Мог бы и не дать, и все равно поделать с ним ничего нельзя». «Раз дает, значит, все-таки имеет в себе совесть». «Другие, вон, не больно дают. Значит, как-никак, а он лучше других». Большинство, однако, над этими рассуждениями только злобно подсмеивалось.

— Рады, дураки! Погодите, он еще вас проучит... Он вам покажет Кузькину мать! Знаем мы хорошо, почему он расщедрился: чует, видно, кошка, чье мясо съела!

Вскоре Карп Федорович в числе других 12-ти односельчан вышел из общины. Крестьяне протестовали, грозили; земский начальник разъяснил закон, посоветовал еще кое-кому выделиться. Пришлось временно смириться.

Купленную землю Карп Федорович, действительно, сдал односельчанам, но только на один год.

— Ох, Карп, накажет тебя Господь, запомни ты мое слово! — говорил деревенский патриарх, дедушка Егор, — все дела я твои понимаю. Хитришь ты, хитришь, а не здобровать тебе!..

— Не каркай, дядя Егор, Бог не выдаст—свинья не съест...

— Вот Господь—от тебя и накажет... Увидишь!..

— Не за что: никому никакого зла от меня не было.. А тоже всякому свое ближе...

III

Слова дедушки Егора как бы оправдались: одно за другим на Карпа Федоровича обрушились два несчастья. Осенью 1907 года у многих Кожниковцев начал ощущаться недостаток в хлебе. В январе начали голодать. Толкнулись к Карпу Федоровичу. В числе других отправился крестьянин Рыбалкин, забитый многосемейный мужик, вечно голодающий, вечно состоящий в долгу. Вот как он рассказывал о своем разговоре с Карпом Федоровичем.

Прихожу я к нему, сидит, книжка в руках; Григорий с женой слушают; старик на печке возится.

— Здравствуй, Карп Федорович.

— Здорово. Ты что?

— Да к твоей милости, говорю: хлеб, вишь, вышел. Сам-от туда-суда, а ребята жевать хотят. Не дашь ли пудиков пяток до нови?

— Тэк...—Молчит, по столу пальцами барабанит. Подумал, подумал... «Садись — говорит — чего стоишь. Подвинься — кричит Григорию, — чего развалился, как тюлень!..» Сел я. Он ко мне пододвинулся.

— У тебя три души-то?

— Три, говорю, да две девчонки. — Он опять замолчал. Встал, согнал с лавки кошку, а потом опять ко мне.

— От брата давно письмо получил?

— Это от Петра, что-ль?

— От него.

— Да никак недель с пять уж.

— Ну, как он там устроился?

— Живет, — говорю. — Пишет, рублей сорок иной месяц выгонит, — а сам думаю: и к чему это он речь ведет?

— Чего бы тебе к нему не ехать?

— Куды уж? Обуза-то у меня, сам понимаешь. Будь я один! нешто стал бы я тут колотиться? Да пропади все пропадом. Заколотил избу и марш!

— Самое дело. Ребята что-ж? И их можно увезти. Там брат, чай, устроит. В городе вот тоже видал я солдата, тоже из Астрахани, ой, говорит, хорошо там. Больно хвалил.

— Куды экую обузу потащишь? Кабы деньги, еще так-сяк... Так как же скажешь на счет мучки-то?

— Дай, Карп! — кричит старик с печки.—Ну, думаю, не откажет. Тоже он побаивается старика-то. Вдруг он меня и огорошил:

— Вот что, говорит, Вася, — это он-то мне, а сам по плечу меня похлопал, — вот что: муки я тебе не дам, потому у самих едва-едва, да и роздал уж много, а коли хочешь ехать к брату, катый: денег я тебе выдам.

— Смеешься, что-ль, говорю, Карп Федорыч?

— Нет, говорит, не смеюсь. Выдать тебе могу рублей, пожалуй, сотни три.

— Это за какую же, говорю, милость? — А сам думаю: уж не работу ли какую дать хочет? — А он вдруг мени и ошпарил.

— Земля у тебя в трех полях?

— Да.

— Изба твоя около лавочки?

— Да, по левую сторону.

— Так вот, — говорит: продай ты мне избу, продай землю, получай денежки и — с Богом, в Астрахань.

— Здесь я словно остолбенел. Гляжу и ничего не понимаю. Хочу сказать, а язык не ворочается.

— Да при чем же, говорю, я-то останусь?

— Друг любезный! Брат твой без гроша уехал, да живет баринком. А ты поедешь, можно сказать, с капиталом. — Тут Григорий вино подал, солонину нарублену, Карп поднес мне.

— Нет, говорю, Карп Федорыч, такие дела сразу не делают, подумать надо, с женой поговорить, брату написать... А то вдруг не дай Бог... Да как же я тогда... Нет, ой как подумать надо!..

— Ну, думай, думай... я разя тороплю... Коли надумаешь, приходи... Что ты теперь? А с деньгами ты сам себе господин: лавочку откроешь, либо что...

— Пока что, говорю, дай мучицы-то...

— Нет, говорит. Нешто я бы отказал! — А старик-то опять ему: Дай, Карп, видишь, нужда! — Ну, я вижу, ничего не выходит, взял шапку да домой».

Долго возмущенный Рыбалкин рассказывал крестьянам о своих похождениях; долго крестьяне качали головами и дивились... Но положение не улучшалось. Голод распространялся; помощи ждать было не откуда.

— Как же это будет, братцы? Землю! Да ведь, это что же?! Ведь это, значит, полный раззор! — кричал Рыбалкин. Крестьяне утешали, советовали «крепиться» и «не лезть в хайло этим Иудам».

Но ребяташки выли от голода; слегла жена; где можно было взять — взял, многого никто не давал, да большинство и

не могло дать. А, между тем, к Карпу Федоровичу наведалься еще кое-кто. Большинству в хлебе он решительно отказывал, но намекал, что землю купить не прочь.

— Никак этот живодер всю деревню скупить хочет?!— дивились крестьяне. — Крепитесь, мужички: землю продать — последнее дело!

Пока были силы, мужички крепились. Но силы истощались. Наступило такое время, когда «не только землю, душу чорту продашь» и — стыдясь друг друга, крестьяне «полезли в хайло».

Пример показал отставной солдат Федотов. Он «смело», «по-солдатски», «не долго думая», вышел из общины, продал землю, двор и уехал с женой «в город искать места». Затем решились еще два — три человека. В конце концов отправился к Карпу Федоровичу и Рыбалкин. К этому времени у него умерли мальчик и девочка, семья стала менее громоздкой.

— И то сказать, — храбрился Рыбалкин, — нешто не одно с голоду-то помирать, что там, что тут... А там, гляди, Господь и оглянется на нашу бедность! Вон Петр-от...

— Чего уж тут! На погибель идем; чует мое сердце! Да все равно уж! — всхлипывала жена. Безвыходность заставила согласиться: и ее. Рыбалкин получил задаток.

К началу весны из общины вышло девять семей, продали землю, а некоторые и избы, чтобы «ништо уж не тянуло домой». Карп Федорович и его товарищи по покупке земли «работали». Некоторые бежали из деревни «кто куда», другие ждали весны, чтобы «уйти на заработки за Волгу и на Кавказ». Ждал весны и Рыбалкин. Ему сильно не хотелось уезжать из деревни. Слабохарактерный и забитый, он дрожал и приходил

в ужас перед неизвестным будущим. Из города приходили неутешительные вести: даже солдат Федотов места не находит — «нигде нет вакансии» — и скоро пойдет по миру.

С первой оттепелью начали разъезжаться. Крестьяне ревмя ревели, расставаясь с деревней. Они пили водку, но она не заглушала их страданий. «Не берет! Никакой веселости нет. Ничем залить не могу!..» У меня в эти дни было особенно много посетителей. Расспрашивали про то, как проехать, долго ли придется быть в дороге? Шепотом спрашивали: не слышно ли чего? Нет ли каких распоряжений о земле? Что будет, если пожаловаться в Думу? Прощались, плакали... Возвращались с новыми вопросами. Первых отъезжающих провожали почти все крестьяне Кожниковки. Какая-то безнадежная грусть лежала на лицах людей. Уезжающих каждый утешал по-своему, но видно было, что редко кто верит своим словам, что каждый почти думает, что и ему не избежать этой участи.

— Ну, как-нибудь! Чего уж тут... Бог, чай, не без милости... И мы тоже не в раю остаемся... Сами знаете.

— А может и с капиталом еще вернетесь, всяко бывает... — пробует кто-то шутить...

— Ох, чего уж тут... Презрел нас Господь... На смерть идем! — визжала баба, билась на телеге с рухлядью, срывалась с нее, бросалась на шею соседкам и выла, причитая...

— Будет уж, будет!.. Эх!.. — урезонивал ее муж, украдкой смахивая слезу.

Отъехав полверсты, они снова вернулись под предлогом забытой вещи, еще раз обошли всю деревню, снова прощались и плакали. Плач детей, причитания баб, крики: «Господи, что с нами будет? Умрем мы, не доживи веку!» — все это действова-

ло невыразимо тяжело. Особенно влияло это на Рыбалкина. День за днем он откладывал свой отъезд, поджидая «ответа от брата». Несколько раз в это время он заходил ко мне, в десятый раз рассказывая свою историю, и спрашивал, можно ли ему теперь отказаться, «чтобы снова войти в мир, а деньги сделать в виде долга. То есть, будто Карп-от в долг мне их дал. Пусть разложит года на три, либо на пять... Нешто я не заплачу?!. Слава Богу, за мной не пропало!..»

— Может быть, устройтесь с братом?

— Уехать-то трудно мне! Вот теперь весна, пахать надо, в лес там пойдешь, речка вон... Тоска меня ест... Как подумаю об этом, то и руки опускаются. Поверите ли: ночью сплю, а вдруг как будто шепнет кто-то об этом, так весь и затрясусь... Проснусь и уж до утра не засыпаю. Боязно, главное дело... И свои места тоже жалко... Ведь вырос здесь!..

— Да ведь уезжали же вы на работу. Каждый год, если не ошибаюсь?

— То на работу. Там я поехал, а знаю, что в свое время опять здесь буду. А здесь навсегда... И из мира тоже вышел. Как есть не при чем. Словно отрезанный ломоть.

Однажды Рыбалкин прибежал ко мне веселый и взволнованный.

— Письмо от Петра. Ну-ка, читайте скорее, что он пишет...

Представьте же себе величайший ужас Рыбалкина, когда я прочитал ему следующее: «Дорогие сродственнички! Письмо ваше мы получили и благодарим вас, что вы нас не забываете... Затем спешим уведомить Вас, что единоутробный брат ваш Петр скончался. Осталась я сиротой с двумя малыми детьми. Ради Христа помогите нам приехать к вам в деревню, иначе

умрем мы голодной смертью. Заставьте за себя вечно Бога молить! А я и ребятам говорю, что на дядю вся их надежда: с голоду умереть не даст. А мы будем ноги ваши мыть, да воду ту пить»... и т.д.

С письмом в руках, без шапки, Рыбалкин побежал к Карпу Федоровичу. Однако, к известию, приведшему Рыбалкина в такой ужас, Карп Федорович отнесся довольно спокойно.

— Как же будет то, дядя Карп? Смерть ведь! Ох Господи! Силушки моей не стало! Дядя Карп! Пощади ты нас, помилуй! Вечными будем твоими работниками! Ведь что-то теперь будет? А?!

Карп Федорович подумал, побарабанил пальцами по столу. Несколько раз прошелся по комнате. Рыбалкин бормотал и тряс письмом.

— Будет Василий, замолчи-ка на минуточку. Вижу, что уезжать тебе не рука. Я и раньше о тебе думал. Устроимся с Божьей помощью. Оставайся у меня работником. Жалованья большого я тебе не положу, а кусок хлеба все будет. Мужик ты смирный, я тебя не обижу... Так-то!

— Карп Федорович! Да я... Господи! Век не забуду!..

— А бабе этой ты напиши, что самому есть нечего, ехать сюды ей незачем.

— Так и отпишу.

— Ну, пошли ей рубля три на первый случай. А там в кухарки пойдет, в няньки... Баба молодая, устроится...

Дрожа от радости, Рыбалкин бросился к Карпу Федоровичу в ноги и залился слезами.

Радостный прибежал он к жене. Путаясь, рассказал, как их благодетельствовал Карп Федорович, хвалил его и клялся, что

«теперь собственными руками перервет глотку каждому, кто скажет, что Карп Федорович живодеер».

Жена выслушала это известие спокойнее.

— В работники, значит, из хозяев-то?

— Да ведь это пока что... А там соберемся с силами, откупим землю, а избу новую выстроим. Лишь бы малость подняться...

— А об жалованьи не говорил?

— Сказал, что не обижу, говорит... Ты, говорит, смиренный мужик, и я, говорит, понимаю.

Жене брата Рыбалкин послал целых 10 рублей, но просил ее не приезжать: «сами сидим без куска».

Письмо это писал Рыбалкину я и со всей убедительностью, с какой только мог, доказывал ей безрассудность ее решения ехать в деревню, когда сам Рыбалкин не ныне завтра может отсюда уехать. Но доказательства мои, очевидно, были недостаточны; эта женщина осталась «при своем». Почему-то она была уверена, что «в деревне как никак она прокормится», а из опыта она видела, что «в Астрахани ей с ребятишками смерть неминуемая» и, как снег на голову, она нагрянула к Рыбалкину.

К этому времени Рыбалкин уже успел убедиться, что работой у Карпа Федоровича еле-еле прокормишься, и думы о своем хозяйстве надо оставить навсегда. Новая семья была не под силу. Приезд ее обрекал всех на полуголодное существование. Увидел Рыбалкин, что выхода для него нет никакого; теперь Карп Федорович держит его крепко. Об этом всегда твердил и другой работник Карпа Федоровича, Макар.

— Ну, подумай ты, — говорил он, — что ты теперь есть за человек? Две семьи у тебя на руках, земли нет, избы нет...

Можешь ли ты продовольствовать их? Он из тебя теперь все соки выпьет: мягко он стелет, да жестко спать! Обо мне что говорить — я один! А ты — эх!..

Рыбалкин затосковал и начал пить. Деньги заметно таяли. Карп Федорович хмурился и грозил «прогнать».

— Ты у меня, Василий, не дури. Я ведь не погляжу, что там то и другое... Нанялся работать — работай. Ишь богач нашелся — и день, и ночь у казенки трется.

Рыбалкин хмурился и молчал.

В воскресенье на Фоминой неделе Рыбалкин напился сверх обыкновения. Дома скандалил с женой, избил сынишку, обозвал «дармоедами» племянников... Затем лег было на лавку, но вскочил и с криком: «пропадай Василий Рыбалкин!» бросился к дому Карпа Федоровича. Подбежав, он схватил половину кирпича и с силой бросил в окно.

— Эй, Карпушка Косой, выходи, антихристов сын. Я те научу кое-чему! Выходи-ка!..

Карп Федорович вышел на крыльцо.

— Ну чего ты, дурья голова, шарлатанишь? Как тебе не стыдно?

— А-а-а... Господин хозяин! Ваше живодерское сиятельство! Как здоровьице? Почем хрестьянскую кровь продаете? Что, Иуда, не лопнула утроба-то? Хороша кровь-то человечья?!

— Проспись поди, тогда поговорим.

На крики начал собираться народ. С Рыбалкиным сделалось что-то невероятное. Он тряс обоими кулаками, наступал на Карпа Федоровича и кричал отчаянно.

— Я-то проспамшись! Вот тебе не мешало бы проспать! «Продай землю!» Землю тебе продать? Вот я тебе продам землю! Что ты со мной сделал, сукин ты сын? А? Ведь я хозяин был! Какой ни на есть, а хозяин... А теперь что я есть? Работник Карпушки душегуба... Вор ты, вор, вор! Да как я могу продать тебе землю? Скажи, где такой закон? Вынь мне его!.. Ведь у меня две семьи... Душегуб ты!..

— Чорт вам велит родить-то, прости Господи. Выгоню вот завтра из избы и будешь знать, как лаяться! Тебе, дураку, кусок хлеба дали, а ты не можешь чувствовать... Свинья ты безчувственная, свинья и есть...

— Кто свинья? Я — свинья?!.. Ага, кусок хлеба. Ну, хорошо, я тебя сейчас поблагодарю! Эх, чем бы? Он осмотрелся кругом, выхватил из опрокинутой телеги сердешник и бросился на Карпа Федоровича.

Тот отскочил внутрь крыльца. Из дома выбежал Григорий. Народу сбегалось больше и больше.

— Уйди, Васька! — закричал Григорий.

Но Рыбалкин был в каком-то неистовом состоянии. Злоба и горечь душили его. Выкрикивая ругательства, он начал бить окно. Григорий схватил топор и, бросившись на Рыбалкина, ударил его в висок. Рыбалкин свалился мертвым.

Свершилось бессмысленное, дикое убийство, взволновавшее крестьян.

Жена убитого, дети его и брата, жена брата голосили.

— Ох, моченьки моей нет! — выкрикивала жена, — куда мы теперь денемся? Остались мы горькими сиротинушками. Обобрали нас, ограбили, а теперь убили остального кормильца.

Детушки мои милые, сиротинушки горькие! Убили нашего родного.

С трудом оттащили ее от трупа. В толпе начались всхлипывания баб, рев ребятишек. Мужики шумели.

— Неужто же на таких разбойников и закона нет? Что хотят, то и делают! Ведь этак мы, пожалуй, и сами глядим, глядим, да и...

— Ну, и времячко пришло! Ограбили, убили и — баста. В законном, можно сказать, порядке!

— Чего тут глядеть-то долго, вытащить Гришку, да в круг.

— Знамо дело!..

— Вали, робя!..

— Баба-то, баба-то, сердешная, убивается!

— Надо бы еще! При чем она теперь?

Несколько парней бросились к окнам, но их удержали. Ожидали приезда станового.

Убитого хотели перенести в избу, но Карп Федорович запротестовал.

— Сами посудите православные: дело уголовное, как можно? Пусть тут лежит до начальства. И сердешник, мужички, не трогайте. Пусть все, как есть. Сами понятие имеете — дело не шуточное. Пусть видно будет, что сам он имел покушение...

— Закашляла жаба!..

— Благодарю Бога, Карп, время такое, а то бы...

— Время, милый друг, самое пригожее...

— Подожди, прищемят тебе хвост-то! Больно широко шагать начал. помещик, вишь, теперь, форсит, как губернаторова горничная.

— Говорил я тебе, Карп, накажет тебя Господь. Радуйся теперь: оставил сирот и сына сгубил, — заметил прибежавший с пчельника дедушка Егор. Отец Карпа Федоровича, старик Федор, уговаривал жену убитаго: Господь все Батюшка! Его святая воля! Он казнит, он и милует. Утешься, родная, Карп не оставит вас. Пособит.

Дедушка Егор покрыл убитого зипуном, перекрестился и бросил на зипун пятак. Один за другим начали подходить крестьяне: истово крестились и клали пятаки.

Вечером приехал пристав и судебный следователь. Толпа шумела и не расходилась.

— Пусть возьмут Гришку! Острожник проклятый!

— Не расходись, братцы, нечисто дело не вышло бы.

— Подкупит кривой пес-от. Пусть даст подписку о вечном прокорме семьи.

Пристав ругался, кричал. Все было напрасно. Утром из волости приехали стражники, толпу разогнали, троих крестьян арестовали «за подстрекательство», неизвестно к чему.

Понятно, крестьяне заволновались еще больше. Послали дедушку Егора к приставу освободить задержанных.

Дедушка Егор — типичный деревенский патриарх. В дни крестьянских волнений этот высокий, сгорбленный старик, на основании библии и деяний апостолов, доказывал, что «вся земля должна отойти мужику». Худой, иссохший, он ходил из одной избы в другую с проповедью своих убеждений. Я великолепно помню его старческий голос: «пришла пора, ребята;

постоять надо! Лучше немного потерпеть, чтобы потом хорошо было. Мне немного нужно, я о вас же». В дни заседаний первой Думы из Кожниковки посылали его к депутатам с приговором. И в Петербурге этот старик ходил из одной фракции в другую, убеждая депутатов «попомнить Кожниковку», потому что «дошли мы до края, а дальше идти некуда. В стену уперлись».

В разгар волнений дедушка Егор был отодвинут на задний план более яркой и решительной молодежью; но когда нагрянули «усмирители», опять крестьяне ухватились за дедушку; он ходил, кланялся и просил.

Я помню приезд в Кожниковку губернатора. Все крестьяне попрятались в лесу. По улицам бегали плачущие дети. Казаки и солдаты хозяйничали в избах. С открытой головой, с куском сотового меда на блюде, дедушка Егор пошел к губернатору.

— Пощади уж, — просил он, кланяясь в пояс, — грешны, так прости. Напуган больно народ-от... Смени гнев на милость...

Губернатор посмотрел на дедушку и, видимо, этот 85-летний старик, с блюдом в дрожащих, костлявых руках подействовал и на его бронированную душу.

— На-кось, откушай медку-то... Свежий. Возьми уж, возьми.

Мед был принять. Гроза над Кожниковкой на этот раз не разразилась...

Когда лет десять назад через Кожниковку проезжал покойный Иоанн Кронштадтский, дедушка Егор и его угостил медом, был обласкан и удостоился разговора.

Дедушка Егор хорошо помнит крепостное право, охотно рассказывает о нем и добрым словом вспоминает «хорошего барина Огарева», у которого он в молодости был кучером.

Теперь этот старик отправился к приставу, который с прочим начальством остановился в школьной квартире.

— Вон, старый чорт, — заревел пристав, юнец, только что выдвинувшийся из какой-то мелкой полицейской должности за особое усердие в дни усмирения крестьян.

— Послушай-ка, батюшка...

— Воон... Разбойники!! Бунтовать?!. Я вам покажу!..

— Послушай-ка на минутку...

— Воон!!!—С пеной у рта пристав подбежал к старику и ударил его по щеке. Слезы в первый раз, после многих лет, закапали из слеповатых глаз дедушки Егора. Еще больше согнулась его спина. Задрожали руки. Он хотел что-то сказать, но не находил слов. Махнув рукой, он спустился со ступенек крыльца и с шапкой в руках пошел к ожидающим его крестьянам.

— Ну, как дела, дедушка?

Старик шапкой отер глаза.

— Вот что я вам скажу, ребята... Ведь Бога-то нет! Нет видно его... Нет, нет...

Удивленная толпа смотрела на него, не понимая, в чем дело.

— Не отпускает, значит? — проговорил кто-то нерешительно.

— Он... Он меня... по щеке, — опять по лицу старика ска-
тилось несколько слезинок, — чего уж! Умирать давно пора...
— Так с шапкой в руках и побрел он на пчельник.

Какая-то искра пробежала по толпе: пальцы на минуту
сжались в кулаки. Послышались злобные, негодующие крики.
Полные ненависти глаза были устремлены на школьную квар-
тиру.

Кое-кого вызвали допросить в качестве свидетеля по делу
Григория. К вечеру Григория увезли в город, в тюрьму.

Целый месяц Карп Федорович ездил в город, хлопотал,
просил, пока Григория освободили под залог.

IV

Не успел Карп Федорович немного оправиться после этой
«возни», как на него обрушилась другая неприятность: умер
его отец, старик Федор. Самый факт смерти мало огорчил
Карпа Федоровича. Старик пожил довольно; родные и сам
Карп Федорович частенько поговаривали, что «пора бы костям
на место». Правда, многого старику было не нужно; куска хлеба
Карп Федорович не жалел. Но старик был «блажной», «вмешивался
в дела», мешал Карпу Федоровичу быть «полным хозяином». При
выделе из общины, например, старика с трудом «уломали»... таким
образом, самая смерть вызвала бы лишь искусственную печаль,
«для виду».

Но дело осложнилось тем, что после убийства Григорием
Рыбалкина старик «начал дурить». Тяжело подействовало на
него убийство, но по какой-то причудливости старческого
характера еще тяжелее — пощечина пристава дедушке Егору.
Федор видел на своем веку и не такие формы насилия. Видел

порку, расстрелы и давно уже в нем сложилась уверенность, что с крестьянином всякий может делать, «что угодно». Но, узнав об оскорблении Егора, Федор весь затрясся, долго рассеянно бродил по двору, почти всю ночь стоял около иконы и молился. Рано утром пошел на пчельник дедушки Егора и пробыл там весь день. Собравшиеся воровать черемуху ребяташки видели, как оба старика долго ходили по пчельнику и беседовали. «Федор все больше говорил, а дедушка Егор молчит, да головой махает». Вообще, последние события сблизили стариков. Со дня убийства Рыбалкина Федор «зачастил на пчельник» и проводил там целые дни. Неизвестно, о чем беседовали старики, но Карпа Федоровича эти визиты сильно беспокоили.

В начале июня Федор начал «прихварывать», а на Петров день почувствовал себя так плохо, что послал Григория за священником. После «соборования маслом» старик попросил сходить за дедушкой Егором и позвать еще кое-кого из деревенских стариков. Как раз в это время я был на пчельнике, и мы беседовали с дедушкой на религиозные темы. Услышав, что Федору «совсем плохо», он поспешно прибрал инструменты, которыми вытачивал ложки, и скорой походкой отправился в Кожниковку. Я пошел вместе с ним.

Старик Федор лежал на лавке в переднем углу. Вокруг него стояло человек шесть-семь деревенских стариков. Молодой, высокий священник рассказывал о необычайно удачной рыбной ловле в прошлую ночь.

Помолившись на образ, дедушка Егор подошел к больному.

— Что, Федор, плохо?

— Умираю... Чувствую, что не встану...—Старик сделал попытку подняться, но не мог.

Дедушка Егор осторожно поддержал его, поправил свесившуюся руку.

Нахмурившийся Карп Федорович стоял около печки и тербил бороду.

Несколько минут прошло в томительном, тяжелом молчании.

— Степан не придет, видно? — с усилием спросил, больной.

— Нет, батюшка, он в город уехал, на базар... Бычка продавать повели...

— А... хороший бычок... Хороший,..

Снова несколько минут молчания.

— Приподыми-ка меня, Карп.

Карп Федорович осторожно обхватил старика за спину, приподнял и подложил подушку.

— Да... Сказал ты тогда, Егор, Бога нет... Ан он и есть... Есть он Господь-от... Какие сны я вижу за это время... Кровь холодеет... Чую, что не будут мне прощены...

— Не искушай Господа... Велика его милость... Он простил разбойника, висевшего на кресте. О своих мучителях он просил: «Отче, отпусти им!» Всякую раскаявшуюся душу с радостью встречают ангелы на небесах, — утешал старика священник.

— Ох, тяжело мне, батюшка... Тяжко... Вот и теперь все сомневаюсь... А ну, как Бога-то и впрямь нет?.. Народ-от больно страдает... Нешто уж все так грешны? — Старик задыхался и

говорил с расстановкой. Священник утешал его, приводя примеры Божьего долготерпения.

— Все видит Господь! И нужду народную, и страдания — все видит и все знает. Сказано: «претерпевый до конца спасен будет». Оглянется Господь и на крестьянина, оглянется и поможет ему.

Ровный, тихий голос священника действовал на больного успокоительно. Старик закрыл глаза и несколько минут пробыл в полузабытьи. Присутствующие шепотом разговаривали.

Вдруг, вздрогнув, Федор открыл глаза и подозвал всех к своей постели.

— Каждую минуту боюсь, что умер... Не дожить мне до утра... Ох!.. Вот что, батюшка, и вы, православные... Лежит на моей душе тяжкий грех. Говорили здесь, что мирские деньги я притаил... Так вот — правильно это... Егор вот знает... И Гришка за мои грехи наказан... Покорывствовался я, окаянный... Может, теперь и мужики наши не страдали бы так... Вольные там были земли... Добрые земли... Обманул я всех...

— Ну чего уж тут... Будет...

— Прошое дело... Господь тебя простит, а мы сердца на тебя не имели...

— Давнее дело...

— Худого от тебя, Федор, не видали... Лихим словом не помянем...

— Я вот про что, православные... Простите меня Христа ради... — Старик закашлялся и замолк.

Отдышавшись, он сделал попытку подняться. Карп Федорович поддержал его.

— А ты, Карп, слушай... Чтобы тыщу рублей на церковь... Слышали? При всех вот говорю. За грехи мои молитесь... И чтобы Васькиных детей... — уж хрипя проговорил он, — кормить... до возраста лет... Мир не обижай, Карп... Мир...

Старик умер. Дедушка Егор закрыл ему глаза. Все начали креститься... Священник читал молитву. Жена Григория голосила.

— Ну, будет! — заметил ей Карп Федорович.— Успеешь еще, наплачешься...

Похороны старику Карп Федорович устроил торжественные «с выносом». На поминках была вся деревня.

— Ошельмовал меня старик, — говорил Карп Федорович, — какие у меня капиталы? Он мне тыщи-то и не передал... Да уж деньги, куда ни шло, можно бы и выбросить... Главное-то дело не в них. И так мне проходу нет, а теперь всякий щенок будет кричать, что я на воровские деньги разжился. А что я 35 лет куска не доедал — этого никто не видит...

Встретившись как-то со мною недели через три после смерти старика, Карп Федорович мельком спросил, будет ли действительно завещание, сделанное на словах? «Могут ли с меня вытребовать судом, или это моя добрая воля?» Я не знал законов на этот счет, но посоветовал деньги отдать во избежание скандала.

— Я не к тому, чтобы не платить... Деньги я выкину... Просто интересно знать.

До сих пор я не знаю — уплатил или нет Карп Федорович деньги церкви. Но мне от многих приходилось слышать, что «денег старик Карпу ничего не давал, а сам спустил, потому

что в свое время любил выпить и погулять», и «что тысячу Карпу придется платить из своих».

Смерть старика развязала руки Карпу Федоровичу. Теперь его ничто не связывало, и он мог «развернуться во всю». С положением «нового помещика» он быстро свыкся. Хотя отношения к крестьянам у него по-прежнему были двойственные, но более определенные. Решительнее прежнего он «пользовался случаем», и хотя сознание какой-то виновности не совсем в нем умерло, но беспокоило оно его значительно меньше. Нерешительность постепенно пропадала. Широкий размах дела увлекал. Видно было, что «с прошлым все покончено», и не нынче-завтра от нравственной «конфузливости» при особенно решительных «оборотах» — не останется и следа.

Одно пугало его и не давало возможности чувствовать себя совершенно спокойным и счастливым — все растущее озлобление крестьян. Это, главным образом, и понуждало его от времени до времени бросать крестьянам подачки: кое-кому он «почти даром» смолотил на своей молотилке рожь; другому он тоже «почти даром» уступал на время веялку, давал небольшие суммы «почти без процентов» и т. д. Вообще всеми способами искал приверженцев и сторонников. Удавалось это ему не так, как бы он хотел, но все же, помимо десятка «компаньонов» по покупке участка, с Карпом Федоровичем «дружило» некоторое количество «облагодетельствованных» им крестьян. Дружба эта, правда, была довольно своеобразна и поддерживалась, главным образом, «подачками», но все же она давала некоторую опору в борьбе с «гольтяпой», которая «точила» на Карпа Федоровича «зубы», как точила она их и на его «компаньонов».

Положение Карпа Федоровича укрепилось. Политическое настроение высших сфер убеждало Карпа Федоровича, что «отнять землю у него не разрешат», «деньги, значит, не брошены кошке под хвост»; вместе с этим в нем появлялась некоторая развязность, желание «поломаться» и «показать свою силу».

Но Карп Федорович — человек умный и сметливый. Он понимает, что теперь «не такое время, чтобы можно было гнуть во всю», что теперь «надо действовать осторожно и с оттяжкой». Уезжать из деревни Карп Федорович не думал. Следовательно, жить нужно было среди крестьян. А возбуждение их, вызванное событиями последних лет, далеко еще не улеглось. Да и не может оно скоро улечься, потому что создались такие жизненные условия, которые постоянно вопиют о необходимости «что-то предприняв, что-то довести до конца», или каким-либо иным способом—чтобы получилось без промаха—начать снова. Правда, народ в достаточной степени напуган и изверился в свои силы, но есть пределы для самых терпеливых и невзыскательных. Есть пределы, когда самые робкие и трепещущие начинают озлобленно протестовать, «очертя голову» идут на все; правда, обычно они так или иначе гибнут, но успевают кое-кому нанести значительный вред.

Карп Федорович видел, что «мужик начал глядеть чортом», и Карп Федорович понимал, что понуждает мужика к этому полная безвыходность и понимание причин этой безвыходности. Эта полная безвыходность крестьян страшила Карпа Федоровича по двум причинам. Он прекрасно понимал, что «всегда» такое положение продолжаться не может: это повело бы к голодной смерти 5/6 всей Кожниковки. Очевидно, крестьяне добровольно умереть не согласятся. Правда, лет 10 назад

вымерла от голоду половина Кожниковки и ничего; все было тихо. Но тогда главной причиной голода был неурожай, и народ, кроме того, «мало имел понятия». Теперь дело иное. Положение такое, что земли нельзя снять ни за какие деньги, хотя земля эта здесь, рядом. Значит, какой-нибудь должен быть выход. Лучшим выходом Карп Федорович считал тот, если бы «этак побольше половины разъехалось, кто куда, а остальные здесь устроились. Работа нашлась бы!» Но из деревни бежала «самая беспардонная гольтьба», да часть молодежи, а остальные «пока что кормились» и довольно откровенно заявляли, что «без новой забастовки не обойтись» и «что не может того дела быть, чтобы вся земля не отошла крестьянству». Вот это-то особенно и беспокоило Карпа Федоровича. «А что, как вдруг?... Случалось же в других землях... Копил, копил... Куска, можно сказать, не доедал и — вдруг отберут» ... «Да нет, у нас этого не может быть», успокаивал он себя. Но достаточно было вспомнить о крестьянах, о том, что «исхода им нет никакого», и что «так они не помирятся», — беспокойная мысль снова лезла в голову. Часто в это время заходил ко мне Карп Федорович. Расспрашивал, «как и что там слышно»; брал «почитать» газеты; несколько раз ездил в город поговорить «кое с кем» и возвращался обычно успокоенным. Но деревенская жизнь, разговоры крестьян скоро разбивали спокойную уверенность, и Карп Федорович снова начинал «не шутя побаиваться».

С другой стороны, безвыходность односельцев беспокоила Карпа Федоровича еще и потому, что «если даже земли и не отберут, все равно, народ будет блажить, и всегда можно ожидать от него всякой пакости». Уж и теперь «чуть что, так и осыпят тебя, как волки», а «как еще пуще животы-то подведет

— то ли может быть». От целого «мира» не уберешься, на всех жаловаться не пойдешь. Карп Федорович «в свое время» сам частенько «пошаливал» в помещичьем лесу и на помещичьих полях, а потому знает, что «ловкий мужик всяко дело может обделать за милу душу». Теперь ему самому предстояло опасаться за собственные поля и гумна. Помещик поставлен в этом отношении в несравненно лучшее положение: у него казаки, объездчики; хлеб он прямо из-под жнейки везет на молотилку, а потом тут же на месте запродает. Тем не менее, «мужики находят все-таки возможность напакостить». Карпу же Федоровичу казаков нанимать «не под силу», а «одному или с каким-нибудь сторожем за всем не углядишь». Пока еще земля сдана, но Карп Федорович считал это дело не выгодным и с будущего года думал все обрабатывать «от себя».

Много думал обо всем этом Карп Федорович и много эти думы доставили ему неприятностей. Но «взялся за гуж — не говори, что не дюж», отступать поздно, да и не хотелось отступать, и, пока что, Карп Федорович все силы приложил к тому, чтобы, «действуя с оттяжкой», поокруглить участок насчет наделной земли.

Умный человек Карп Федорович, но кое-чего он не понимал, или не умел понять. Не понимал он, почему крестьяне, несмотря на все его заигрыванья с ними, несмотря на значительные подачки, как 2/2 десятины выгона, «не перестают точить на него зубы». А происходит это потому, что среди крестьян уменье разбираться в обстоятельствах за последние годы повысилось очень и очень значительно. Крестьяне точно переродились. Народ вырос умственно. стал сознательнее и с большим уважением относится к себе. Многое, незаметное ранее и обычное, теперь тяготит, как незаконное и бесчело-

вечное. Разбиты и ниспровергнуты кумиры, святость которых чтилась сотни лет.

Во имя свободы и земли, во имя коренного переустройства жизненных условий отдано было неисчислимое количество жертв. И вдруг — в силу какого-то чудовищного сальтомортале — все, что казалось добытым, завоеванным, все, что было уже в руках — все это улетучилось, а результатами нечеловеческих усилий народа воспользовалась горсть ловких Карпов Федоровичей. Условия же жизни крестьянских масс стали во всех отношениях значительно хуже. Все это потрясло деревню; на время перепутало понятия крестьян, но незыблемым и прочным осталось убеждение, что «всегда такое положение продолжаться не может», что это лишь временный, недолгий кошмар, после которого уж окончательно утвердится то положение, которое продолжалось лишь несколько дней и, ярко промелькнув, навсегда запечатлелось в крестьянских душах.

Понятно, что каждый шаг Карпа Федоровича крестьянам был ясен. «Я тебя, сукина сына, насквозь вижу, — кричал Карпу Федоровичу какой-либо обездоленный им мужик. — Погоди, милый друг, — не то теперь время! Ты у меня припомнишь!»

В силу необходимости мужик «лезет в хайло» Карпа Федоровича, но, закабалаясь, понимает, что Карп Федорович пользуется именно его безвыходностью и кроме того, уверен, что «в случае чего этому Карпушке будет мат!..» С другой стороны, когда тот же мужик пил выставленное Карпом Федоровичем по тому или иному случаю вино, или когда «почти даром» веял хлеб на веялке Карпа Федоровича, то опять-таки понимал, что «Карпушка поит теперь потому, что трусит. Видит, мир против

него, и заигрывает». Поэтому и «дружба» его с «облагодетельствованными» была крайне непрочна.

Карп Федорович вышел из общества, но косвенно все же старался влиять на то или иное решение «мира». Для этого он имел небольшую, но сплоченную «компанию». Однако, сделать почти ничего не удавалось. Влияние перешло к людям, умевшим смело и определенно выражать то, что смутно бродило в голове каждого.

Много, например, попыток делал Карп Федорович, чтобы склонить «мир» послать приговор в третью Думу с изложением целого ряда нужд. По все попытки разбились об уверенность, «что третья Дума барская, обращаться к ней не стоит: все равно ничего не выйдет». Вместо общественного приговора с изложением общих нужд, пришлось ограничиться частным письмом с десятком подписей и с указанием на специфические нужды «новых помещиков». Факт посылки этого письма Карп Федорович долго скрывал. Крестьяне узнали об этом месяца через два после отправки письма, и, конечно, Карпу Федоровичу пришлось выслушать не мало укоров и язвительных замечаний.

Карп Федорович не раз говорил, что «все его поблажки мужикам — ошибка, надо действовать смелее. Ведь я не разбоем занимаюсь». Но в решительных случаях неуверенность побеждала, смелость пропадала и, «захватив добычу», Карп Федорович начинал как бы оправдываться, старался так или иначе задобрить крестьян.

Помимо изложенных забот, так сказать, общего характера, тяготил Карпа Федоровича и предстоящий суд над Григо-

рием. Защитник уверял его, что «дело кончится пустяками», но все-таки «камень над головой висел»...

V

В конце августа прошлого года, проходя через Кожниковку, я решил зайти к Карпу Федоровичу. Мне говорили, что за короткий, сравнительно, срок со времени моей последней с ним встречи, он значительно изменился: «боязливость» пропала, «стыдливость» заменилась изрядной долей нахальства, с крестьянами ведет борьбу на жизнь и смерть, — вообще «стал настоящим кулаком и жидомором». Поэтому мне очень хотелось поговорить с ним и напомнить ему некоторые из наших старых разговоров. Однако, скоро я убедился, что Карп Федорович каким был, таким и остался и, если изменился, то очень незначительно.

Двухстенная изба Карпа Федоровича заново обита тесом; тесовая крыша заменена железной, выкрашенной в ярко-зеленый цвет. Перед избой стоят две веялки, жнейка и пары три плугов. Ребятишки и несколько крестьян рассматривают жнейку. Под широким навесом крыльца, за маленьким столиком сидят Карп Федорович и знакомый мне крестьянин, Обыденыш... На столе бутылка водки и чашка с малосольными огурцами.

— Доброго здоровья, Карп Федорович!

Карп Федорович смотрит, прищуривает глаза и подходит к двери.

— Не признаю что-то... Вы откуда будете?

Такая встреча настолько меня озадачила, что несколько секунд я раздумывал, что мне предпринять — уйти ли немедленно, или объяснить, кто я.

— Скоро же вы забыли, — заметил я, наконец, — а ведь мы частенько встречались...

— Вот поди ты — как есть ничего не помню. Ей Богу. Да и то сказать: сколько народу-то перевидишь, всех нешто упомнишь? Да и память-то плоха стала.

Увидев меня, из избы выбежал Григорий. Поздоровались.

— А я вот никак не могу признать.

— Будет тебе, отец, ломаться-то, ей Богу. Не люблю я тебя за это. Человек, может, двадцать раз у нас ночевал, а ты... Эх!

— Ну, замолола мельница... Коли знакомы, заходите. Гостем будете.

Приглашение меня немного покорило, но в этот день я прошел больше двадцати верст. День был жаркий. Густая пыль облепила меня со всех сторон, набилась в волосы, в нос и в уши. Хотелось умыться, посидеть в холодке и вздохнуть. А малосольные огурцы глядели так заманчиво.

Собеседник Карпа Федоровича узнал меня сразу, хотя с ним я виделся всего раза три. Григорий вынес стул.

— Не помешаю?

— Нет, нет... Да мы, пожалуй, уж и кончили. Ну, Ваня, выпьем.

Он налил два стакана и подал один Обыденышу.

— Выпить-то я, Карп Федорович, выпью, да дело-то не то-го...

— Чего еще? Опять об старом? Плюнь! Все будет по-хорошему.

— Чего уж тут хорошего...

— Да куда же ты денешься?

— Того ты, дядя Карп, не хочешь принять в расчет, что сам я был хозяином 22 года; ведь мы с тобой почти ровесники. Тяжеленько прямо в хомут-от...

— Ну, и народ вы, прости Господи. Считай ты, Христа ради: десятина земли тебе — раз, огород раскинешь — два, скотина будет на моем корме — три...

— Ну, какой там корм! Не знаю я, что-ль, места-то? Слава Богу — не первый год живу...

— И семь рублей в месяц... Прямо барином заживешь!

— Како тут! Прямо надо говорить — голод гонит. А то — что уж...

Одетый в грязную кумачевую рубаху, в заплатанных пливсовых шароварах и стоптанных, валенках, худой и лохматый, Обыденый был жалок до крайности. Брови нахмурены, глаза беспокойно бегают. То и дело он выбывал из бороды по волосу, разгрызал его и выплевывал. Говорил как-то вяло, голосом ни на что не надеющегося человека. Ясная, мол, петля твое предложение, Карп Федорович, как ты там его ни расписывай. Но нужда гонит в эту петлю и волей-неволей придется в нее лезть. Удивительно все это было особенно потому, что Обыденый несколько лет назад был шустрым, «ядовитым» мужиком, коноводом всяких протестов и оппозиций.

— Так по рукам, Ваня? езжай, брат, и будешь у меня вроде, как управляющим. Ха, ха, ха... Весь надзор в твоих руках!..

— 10 рублей, Карп Федорович, и чтобы держать две коровы...

— Опять за свое! Что ты думаешь, кроме тебя и людей нет на свете? Сказал не могу — значит, не могу. Две коровы?! Где ты их возьмешь, две коровы-то?

— А уж это не твое беспокойство.

— И с одной проживешь. То корму нет, то две коровы... Говорю — хорошо будешь жить... Вон у генеральши лесники 6 рублей в месяц получают, да живут ведь...

— Лесники... То — лесники. У лесников месячина полагаются. Ты, небось, не будешь мне месячину-то выдавать?..

— Я тебе землю даю.

— А когда на ней работать-то?

— Ну, так как же?

Обыденыш нервно задвигался. Видно было, что он подходит к самому острому вопросу.

— А из избы гонишь, значит? — спросил он, понизив голос.

— К осени караулка будет готова, а пока что у Рыбалкиной поживете.

— Да ведь там две семьи, — закипятился Обыденыш. — Друг на дружку, что-ли, лезть? И так набито, как спичек в коробе, — глаза его сверкнули злобным огоньком, и он чаще начал теребить реденькую боро денку.

— Теперь лето, друг Ванюша: тепло. А сварить что понадобится — устройтесь; не больно, чай, много горшков-то будет?.. Ха, ха, ха...

Карп Федорович встал, оперся руками в косяки двери и потянулся.

— Эх, духота-то какая! Дождей бы надо теперь... Так, значит, Ваня.

Видя, что Карп Федорович считает беседу оконченной, Обыденыш молча надел картуз и вышел.

Карп Федорович затворил дверь и подсел ко мне.

— А я, признаться, сразу вас узнал, да... мужичонки этого побоялся... Совсем пустой мужик. Сами понимаете, какое теперь время, а на меня они что угодно рады взвалить. Ну, как вы?

— Да что я — все по-старому...

— По деревням все ходите?

— Как видите... Вы вот как?

— Я... Хе, хе, хе... С мужиками все воюю. Такое время, что только ай, да ну-ну... Знаете ведь, сами видали...

— Да, не хвалят вас...

— Известно. Поперек дороги я им стал.

— Полегче бы вам надо как-нибудь...

— Да что? В чем дело-то? Что я, деньги, что-ль, подделываю?

— Не без основания же на вас обижена без малого вся деревня?

— Да я и сам не знаю, чего они против меня взъелись? Ума не приложу! Вишь, ограбил я их: землю барскую купил, да у наших человек у пяти тоже взял за себя. Так ведь я деньги плачу за землю-то, а не щепки. Не продавай! Нетто я насильно? Сами лезут, а потом... Ведь я каждому говорю: подумай!

Ведь голова-то на плечах у них есть? Вот и этот, Обыденыш... Ододел, прямо ододел: то денег, то хлеба, то лошадь у него пала; избу продал, дети наги-босы. Ну, куды он денется? Подумал, подумал — надо пожалеть человека... Даю место, даю кусок хлеба... Нет тебе — гордыбачит! Не хорошо, вишь: хозяин он. Да какой ты, с позволения сказать, хозяин, коли у тебя ни избы, ни земли... Много таких хозяев у церкви с рукой стоит... Хозяин...

Карп Федорович начал волноваться. Налил два стакана водки, один выпил, другой пододвинул ко мне.

— А землю у Обыденыш вы купили?

— Я купил. Так что же это, по-вашему, преступленье? — Не преступление, а это объясняет его злобу к вам. — Ведь я ему заплатил 145 рублей за десятину. Не мне — другому продал бы.

— Задолжал, видно, много?

— Просто завертелся... Плохое время, нетто я не понимаю. Приперты они теперь к стене вплотную и некуда им податься. Что верно — то верно. Так ты с тех и требовай, кто на тебе сидит, их и беспокой. Вон у герцога в нашем уезде 25.000 десятин. Наседай на него, коли думаешь чего добиться. А здесь человек тридцать лет по копейке собирал, купил каких-нибудь 80 десятин, — все и загалдели. Все мы дурим. Поучили нас, наставили на разум, пора бы, кажется, и понимать. А то, что это такое: ругают, грозят. Какой-нибудь пащенок, его от земли не видать, а он тоже орет: «живодер!» А те рады, что научили детей хорошему. Живодер, живодер... Но позвольте спросить: какой я живодер?

— Вы землю сдадите им на новый срок?

— Не думаю. Едва ли сдам. Да в одной ли земле дело? Здесь к каждому, простите, дерьму прицепляются. Возьмите такой случай. Приехал как-то к нам жидок из города, делал предлог насчет машин. Поехал я в город, поглядел, спросил людей, вижу — вещи подходящие. Приезжаю. Вот что, говорю, мужички, хотя теперь из общества я и вышел, но хочу сделать маленький предлог: глядел, говорю, я в городе машины, жнейки больно хороши и цена не дорога, купить бы миру одну на попыток. Загалдели, зашумели — Господи, Твоя воля! «Нам жать-то нечего!» «Надо прежде купить на чем сеять!» Ну, ладно. Дело ваше. Поехал, взял жнею в рассрочку: пойдет, думаю, в дело — уплачу; нет — назад отвезу. Пошла! С этих пор дня нет, чтобы кто не пришел: «дай жнейки», да «дай жнейки». Да что вы — ребята, что-ль? — говорю. Что я миллиенщик, что-ль? У тебя, говорю, Петра, овес? — Овес.— Две десятины? — Да. Так по 2 рубля, говорю, за десятину скошу. Помялся, помялся, видит — цена не большая, согласился. Воскресенье я до обеда скосил, получил 4 целковых и— готово! Теперь и за это — «грабитель!» Да ведь я говорил вам! Что же это такое? Обязан я, что-ль, перед вами? Ведь в городе оне есть, жнейки-то. Купите, кто вам мешает. Ведь по полтине с души обойдется и того нет. А то ты дай ему! Изломать, изуродовать, а что потом с него взять? Горсть волос... Дам я тебе машину! Поди купи, да и давай, кому хочешь.

— Жили же вы раньше в дружбе со всеми; значит, можно было ладить?

— Это все потому, что я был такой же голоштаный. А вот теперь купил землю, оказал капитал — их и берет завидка...

— Раньше вы сами часто говорили, как тяжела крестьянская жизнь: понимали, что мужик не с жиру бесится, а, голодая, ищет выхода. Помните...

— Подождите, подождите... Нешто я отказываюсь от своих слов? Я и теперь тоже скажу. Порядку никакого нет — разве это не верно... Распущено все, ни в чем нет толку, и это верно... Говорили вот — Дума, Дума... Вот собрали ее, сидят там, болтают, деньги берут, а все без толку. Жида тоже пустили в Думу, зачем? Какое у него понятие хоть бы об земле? Да и о другом чем тоже нет настоящего понятия. Ну и болтают ерунду. А мужик, знамо дело, стиснут; туда сунется — ничего: в другое место — тоже... И нападает на того, кто поближе, да послабее... Я уж говорил: не в ту цель попадают...

Несколько минут мы молчали. Я сравнивал прошлого Карпа Федоровича с тем, что из него стало теперь, а он пил водку.

— Нигде никакого порядка. Каждый делает, что хочет, ну и, известно, ничего не выходит. Знаете, вот плачу я теперь 25 рублей в год на училище. А что училища наши? Чему там учат? Ведь иной раз думаешь, думаешь — голова кругом пойдет. Отдает мужик мальчишку в городское училище; шесть лет платит за ученье, за хлеба. Выучился. Думаете, будет отцу помощник? Никогда. Сдал экзамент, приехал: «Я, тятенька, хочу в телеграфисты!» Словно их из деревни-то кто колом выпихивает. Благо бы дети нищих, так нет ведь — больше дети мужиков с капиталом. В телеграфисты! В чиновники! На легкие хлеба! Я бы взял его, выдрал возжами разов пяток — он и забыл бы про телеграфистов. А они: «поезжай, сынок! Дай тебе Господь! Не забывай отца с матерью». Он те не забудет! Уехал, женился и — мается век на 25 рублей в месяц. А не дай Бог

уволят — опять к отцу: корми! Жену привезет, детей. Заставь ее работать: я, говорит, из духовного звания и к черной работе непривычна. Сам тоже — ни сохи, ни бороны. И садятся старикам на шею.

Карп Федорович выпил три стакана водки.

— Так что же, по-вашему, учить, что ли, не надо?

— Нет, но моему, учить учи, да только делу, а не ерунде.

— Какому же делу?

— Как учить не надо? — продолжал Карп Федорович, — всегда я говорил и теперь скажу — надо учить. Чем больше училищ, тем лучше: умнее мужик становится, смышленнее. Но чему учить? Мы — крестьяне, и крестьянству нас нужно учить. Лавочников сын, вон, в гимназии. 20 лет парню, а он все учится. Подозвал я его как-то, показываю жнейку — понимаете, говорю, в этих машинах? Нет, говорит, нас этому не учат. — Чему же, говорю, вас учат, позвольте узнать? — Наукам разным. — А зачем они вам, мужицкому сыну? — Служить буду. Служить! Так там и без вашего брата много. От работы отвыкнет, да и не приучен он к ней; дела скоро не найдет, куда деваться? Валяй к отцу на шею! Неужели же это порядки? Коли уж учить его до женитьбы, тратиться на него, так пусть учат его тому, что в деревне требуется. Чтобы все эти сеялки, веялки он знал; чтобы о земле имел понятие и нас бы, дураков, на разум наставлял.

— Есть и такие училища.

— Есть, да не про нашу честь. Знаю, что есть, да отдать-то нам туда нет никакой возможности: там три Кати в год надо платить. Да и всего-то их раз-два, да и обчелся... А такие училища нам теперь ой, как нужны. Да что тут говорить. Вы

вот как-то со мной разговор имели, что за границей земля лучше родит—пусть и этому учат. Все, одним словом, что касательно хозяйства. Года четыре назад был я по делам на Дону. Гляжу — засеяны поля, а чем — не понимаю. Что — говорю — такое? — Чечевица, говорит, называется. — А зачем она? — За границу идет, там, говорит, ее жрут»... А в наших, говорю, местах этого нет. — Попробуйте, — говорит. — Сем-ка, думаю, и впрямь попробую. Купил мешок, засеял клин с десятину — немного поменьше. Чуть не вся деревня сбежалась глядеть, как взошла. Смеются. Обмолотил, повез в город, а она там 2 рублика за пуд. Вот вам и смешки! Теперь вот не смеются, а чуть лишний клин — сейчас: «чивичкой надо закидать». Почти все сеяли, как земля-то была. Кабы учили всему этому в училищах, мы давно могли бы знать, что есть такая чечевица, которая идет за границу. Может, и другое что на нашей земле родится? Мы не знаем, и некому нас научить. Вот я и говорю: училища нам нужны для этого. Знай я хорошо грамоте—день и ночь читал бы такие книги. А им там, в Думе, об этом говорить некогда: у них все речи. Речь такого-то, речь такого-то... Читать тошно.

— Но, однако, Карп Федорович, без земли и чечевицу сеять не на чем?

— Земли точно мало, ну да и с этой мы не получаем всего, что можно. Вот Дума и должна бы постараться: в Сибири отмежевать участки, что ли, либо что. Кому здесь невогону, на казенный счет бы переселяли. И им хорошо было бы и здесь повольтоней, да попросторней...

— А не знаете вы правда, или нет, — спросил он, немного помолчав, — читал я в «Сельском Вестнике», что с одного зерна вырастает двести?

Я объяснил, что знал по этому вопросу.

— Вот то-то и есть. Может и можно! Вот об этом бы писать, да учить нас. А то что пишут в газетах? Телеграммы там, известия — пустое все. К чему мне это? Писали бы в газетах, что к хозяйству относится. Как землю удобрять? Какие есть дешевые машины? Где какой хлеб родится? Какие урожаи? — Тогда бы вот и в газете толк был.

— Есть и такие газеты.

— Что там—«есть!» Где они? Кто их видит? Мужичу нужна своя, мужицкая газета, чтоб из нее он обо всем имел понятие. Тогда и мужик умнее будет, и склоки этой меньше. Ведь вот, если это правда, что от одного зерна— двести, ведь это что же? Ведь, если это узнать, так и горе все забудут. Тогда и земли много не потребуется. А где узнаешь? У кого спросишь?

— Тогда бы всем лучше и спокойнее было, — добавил он, помолчав.

Долго развивал мне Карп Федорович свои взгляды на положение вещей. Рассуждения его были для меня очень интересны, но — увы! — как мало осталось в нем от его прежних, красноречивых разговоров об идеальном общинном устройстве.

— Пора бы вам уж перестать бунтовать мужиков-то, — пошутил он, прощаясь со мной.

— Слава Богу, я этим не занимаюсь.

— Так это я, к слову... Не нынче — завтра опять будет у меня с ними баталия.

— С кем?

— С мужиками нашими.

— Из-за его же?

— Так уж... Знаю. Штука одна есть. Помяните мое слово.

VI

На несколько дней я остановился в маленькой деревушке Боброньке, верстах в пяти от Кожниковки. Дня через два знакомый сотский сообщил мне, что в Кожниковке происходит «небольшая забастовочка», что «на Карпушку Вавилова мужики насели». Я отправился в Кожниковку и увидел, что «баталия», о которой говорил Карп Федорович, началась и приняла размеры гораздо более серьезные, чем он предполагал.

Дело было вот в чем.

Около Кожниковки расположен громадный сад, принадлежащий городскому лавочнику. Много лет назад один крестьянин Кожниковки предложил «миру» взамен надельной земли дать ему овраги и полугорья в версте от Кожниковки. «Мир» согласился, и крестьянин развел на этом месте сад. Постепенно сад улучшался, разрастался и теперь — это один из лучших садов уезда. Теперешний владелец сада живет в городе и лет 15 подряд сдает сад кожниковцам по крайне низкой цене — 150 рублей в год. Целое лето ребяташки днюют и ночуют в этом саду, сад этот для них — полное раздолье: там шныряют они между кустами крыжовника и малины, наедаются до отвала яблоков и, вообще, чувствуют себя превосходно. Особенно важен этот сад в рабочее время, когда старшие в поле, а опасность пожара большая.

Часть плодов, снятых с деревьев, продавалась на покрытие аренды; кроме того, обычно оставалось по пуду — по два на семью яблоков. И вот этот сад Карп Федорович приобрел в

собственность. В 1908 г. им пользовались еще крестьяне, а с января 1909 г. он переходил к Карпу Федоровичу.

Карп Федорович предполагал, что срок — 1-е января — так сказать «официальный срок», а хозяин он уже теперь и решил заранее сделать некоторые улучшения. Поэтому, когда плоды были выбраны, он решил снять свалившийся, полурастасканный плетень и обнести сад высоким тесовым забором, с гвоздями наверху. По обыкновению, Карп Федорович действовал «исподтишка»: кожниковцы не знали о переходе сада в новые руки до тех пор, пока забор на половину не был выведен, и когда ребятишки, собиравшие остатки плодов, увидели, что постройкой распоряжается Карп Федорович.

Несмотря на то, что на этот раз Карп Федорович менее, чем когда-либо, обидел «мир»; что ничего преступного он не сделал; что хозяин сада волен был продать его, а Карп Федорович, как и всякий другой, волен купить, несмотря на все это, — все село восстало против него, как один человек. Даже «компаньоны» его по покупке земли на этот раз были решительно против него.

Шумная толпа окружила дом Карпа Федоровича. Не успел он разъяснить «как и что», не успел даже «открыть рот», как в окна полетели кирпичи и поленья. Что до такой степени возбудило крестьян? Непрекращающиеся ли «подвохи» Карпа Федоровича, или то, что он посягнул на «земной рай ребятишек», или то и другое вместе — трудно сказать. Но озлобленность была невероятная. Ругались мужики, ругались бабы; ребятишки, мстя за свои владения, осыпали дом градом камней.

Впереди толпы стоял Обыденъш, тряс кулаками и ругался отборнейшей руганью. Рядом с ним крестьянин в суконной поддевке что-то кричал и бил себя руками в грудь. Говорили и кричали, как всегда в таких случаях, все вместе; одновременно с говором одних, десятки других просто выкрикивали слова брани, — так что в общем получался невероятный шум, из которого временами вырывались особенно пронзительные и резкие голоса.

— Шабаш, робя, отошла ваша лафа...

— Жарь его, сукина сына... Вваливай ему, ребятишки.

— Когда же этому наступит окончание?..

— Ах, негодяй, негодяй!.. Видана ли в свете такая паску-да?!

— Чего тут глядеть-то—бери его, братцы!..

— Не давать ему сада! Разметать забор к чертям!..

— Ну, уж теперь, брат, зубами не вытянешь...

В стороне стояли несколько стариков и беседовали.

— Вот говорят: закон, закон, где же он закон-от? Нет его...

— Знал я про это, — говорит дедушка Егор, — еще в ту пору мне покойный Федор говорил, что закидывает он удочку насчет сада. Да не думал я, что пойдет он на это.

— Где тут о совести толковать? Им бы только сграбастать...

— Батюшки! И ребятишек ограбил! — визжала женщина с ребенком на одной руке, с камнем в другой.

Крики взвинчивали толпу. Возбуждение нарастало. Пять-шесть парней схватили слуги и били дверь дома. Другие выломали окно и ворвались в избу. За ними бросилась часть толпы.

Начался разгром. В избе все было уничтожено: поломали столы, лавки, разбили посуду, часы, зеркало; порвали попавшее под руку платье.

— Самого-то, самого-то, подлеца прищучьте!..

— Спрятался, собака...

— Надобно же положить конец этому делу!

— Дом-от не поджечь ли, робя?

— Вали, братцы!..

Видя, какой характер приняло дело, часть крестьян разошлась по домам. Другие продолжали шуметь и наседать на дом. Искали Карпа Федоровича.

Вдруг верхом на неоседланной лошади, без фуражки, в красной рубахе и жилете Карп Федорович выскочил из ворот. Град камней полетел в него и в лошадь.

— Ага, Ирод!.. Собака!

— Бери его, робя... На уру его, негодника...

Карп Федорович метался, стараясь прорвать живую стену. Камни и палки летели в него. Обыденныш схватил лошадь под узцы и висел на поводках, сияясь сдержать перепуганное животное.

— А-а-а!.. Вон вы как! Среди бела дня... Ну, да не на такого напали! В город поскачу, за казаками! Так и знайте! Мошенники!.. — Глаза Карпа Федоровича лихорадочно бегали, лицо подергивалось; слова с трудом вылетали изо рта.

— Прямой ты мошенник!..

— На что посягнул... Не стыдно косым зенкам-то?

— За казаками хочет скакать... Не пускай его, робя!..

— Держи!!

На помощь Обыденышу бросилось несколько человек. Лошадь шарахнулась в противоположную сторону, сбила Обыденыша и в два прыжка вынесла Карпа Федоровича на дорогу. Карп Федорович потряс кулаками и поскакал.

— Ваше благородие! — нервно взвизгивал он, — на казенку... среди бела дня... Ограбили! — Так и скажу... Погодите вы у меня!.. Ваше благородие, на казенку...

Вслед ему полетело еще несколько камней. Но слова его о казенке и угроза казаками озадачили толпу и охладили ее пыл. Один за другим стали расходиться.

— Говорил я: полегче... Эх, народ!

— Ну, пойдет теперь опять порка.

— Да, наделали дело в!..

— Убить бы его, подлеца, надо, и концы в воду...

— Ведь за него, как за человека, отвечать то придется...

— «Мир» виновен и—все дело.

— Тоже: «мир»! много здесь осталось; чуть что и разбежались все.

— Вот что, ребята, — советовал дедушка Егор, — кто был впереди, аль раньше замешан — этим спрятаться бы надо. И бабам тоже. Идите хоть в лес все, переночуете. Теперь тепло. Вы тоже, ребятишки, туда бежите... Дожили до времячка — нечего сказать!

— И как это мы не сообразили насчет казенки-то?!

— Что казенка? Не у казенки окошки били, а у Карпушки-душегуба.

— Да вишь у казенки-то тоже выбиты!

— Теперь разговаривать нечего. В случае чего — все виноваты.

— Это как есть!

Часа через два улица опустела. Женщины и несколько наиболее замеченных крестьян ушли в лес. Остальные попрятались по домам. Значительно остыли и парни, так что Григорий без боязни подошел к ним и показывал, рассеченный камнем висок.

— Сам виноват!

— Я-то при чем? Я и не знал про сад. Накликали вот беду: приедут казаки, начнется порка.

— Ну, и чорт с ними.

— А Карп от нас не уйдет, так и передай ему.

— Мне что? Мне тоже не сладко.

Затянули песню.

«Последний радостный денечек «Гуляю с вами я, друзья...

Пели с отчаянным разгулом и какой-то дикой страстью... Наверное, каждый думал, что именно он и гуляет «последний радостный денечек».

— Бросьте, робяты, бросьте, — унимал дедушка Егор.

— Все равно уж, дедушка...

— Бросьте, лучше будет!..

Еще раз две-три сильных звуковых волны всколыхнули мертвящую тишину, и парни начали расходиться.

Прошел еще час. Тревога достигла высшей степени. Крестьяне бегали друг к другу и советовались.

— Може и не приедут ноне-то...

— Кто их знает... Пождем... Кабы ночью не нагрянули?

По улице во весь дух проскакал Григорий.

— И этот туда же!..

— Змей нетто родит голубя? Всегда змееныша.

Дедушка Егор с тележкой ездил от одной избы к другой и собирал ужин бабам и ребятишкам, которые остались ночевать в лесу.

У каждого ныло сердце. Каждый на себе испытал казацкое усмирение; каждый боялся за себя.

Вернулся, наконец, Карп Федорович; почти следом за ним Григорий.

Подъехав к избе Обыденыша, Карп Федорович кликнул его на улицу.

— Что, все попрятались?

— Сам видишь... Есть глаза-то!

— Ну вот что, Ваня: я не серчаю. Беги из избы в избу и зови мужиков на лужок против училища. Всем скажи, что в городе я не был и сидельца просил не возбуждать. Тоже сам понимаю этих баши-бузуков и имею в себе сердце. Скажи, что казаков не будет, а с мужиками я хочу поговорить.

Один за другим удивленные крестьяне тянулись к назначенному месту. Никто не понимал, что еще задумал Карп Федорович.

— Вот поди-ж ты: пес, пес, а имеет душу...

— Не иначе, как придумал какую новую петлю. Не жду я от него ничего хорошего.

— Послушаем, что скажет.

Собралась значительная кучка крестьян. Явился и Карп Федорович. Работник Назар и Григорий несли пять четвертей вина.

— Вот что, мужички! Как вы выбили мои окошки, разгромили вещи, то очень мне неприятно и большой убыток. Поскакал было я в город к исправнику, но дорогой раздумал: хоть я в обществе теперь и не состою, но ссориться с миром не хочу, а чтобы жить в вечной дружбе. Потому вернулся я назад и решил: простить всем моим обидчикам, а по причине моей покупки сада — поставить, как у нас всегда водилось, миру угощение.

Карп Федорович говорил менее красноречиво, чем обычно; говорил обиженным голосом, растягивая слова. Но слушали его с большим вниманием.

— Ну и человек же ты. Карп Федорыч! — раздалось из толпы.

— По совести поступил, что и говорить.

— Дда! — неопределенно заметил кто-то.

Вообще же крестьяне обменивались незначительными фразами и качали головами.

Кое-кто отделился от толпы и направился к избам.

— Примите, мужички, угощеньице! — Григорий вынул из мешка стакан, огурцы, хлеб и начал разливать водку.

— Значит, мужички, мир?

— Чего уж тут!..

Руки потянулись за стаканами.

— Не надо бы, робя, вино-то брать от него... Зла-то, зла-то сколько он наделал, — протестовал дедушка Егор. Но, видя, что

остались лишь те, кого никакими увещаниями не убедишь, — он потянул меня за руку.

— Пойдем... Пусть лакают... Эх, народ, народ...

Возвращаясь часа в два ночи с пчельника, я на несколько минут остановился на лужайке около училища. Вокруг догорающего костра сидело и лежало десятка два пьяных крестьян. Некоторые спали по близости. Полупьяный и возбужденный Карп Федорович сидел около Обыденыша.

— Кулак, кулак... Какой я кулак? Кулаки вас обирают, а я вам работу даю, я людей кормлю, землю вам даю! Пощадил ли бы вас в таком случае кулак? Никогда! Он бы не. токмо что, а шукуру спустил бы, да и убытки вернул...

— Я ведь ничего... Известное дело — досадно: ребятишек теперь выпустить некуда.

— Да я-то что же — зверь, что ль? Собак, что ли, на них будду спускать? Да пусть их — лишь бы не пакостили, дерев бы не ломали...

— Карпуша... Друг ты милый! — лепетал какой то пьяный. — Первый ты есть человек в деревне... Мне что? Сад — сад... Все равно!..

— Ммолчи... Сволочь, в рожу дам, — пробасил кто-то из-за костра, приподнялся на руках и снова упал на траву.

— Карпуша... А яблоки там — все пустое... Я этих яблоков в рот не беру... Пустое!..

— Нет, братцы—не кулак я. Как в старину у нас было, так и теперь: в дружбе с миром...

— Верно, ей Богу... Мы тебе—ты нам... Так по-Божьи, по-хорошему...

— Верно!..

— Карпушка! — закричал вдруг Обыденыш и, покачиваясь, направился к Карпу Федоровичу.

Жена Обыденыша схватила его за руку и тащила домой.

— Пойдем же... Ваня, пойдем!..

— Карпушка! Косой чорт! Убью! Сукин ты сын...

— Пойдем ради Христа... Моченьки нет моей...

Обыденыш силился вырваться, но качался и падал на колени.

— Карпушка! Живодер! Я те...

Какой-то разговорчивый мужичонка держал Обыденыша за плечо.

— Ваня... Ну что же! Ну пусть его... Он нам, мы — ему... Так по-Божьи... Оставь...

— Ваня, пойдем, — умоляла жена.

Обыденыш рвался, кричал и грозил кулаками.

Какой-то другой крестьянин без шапки, с взлохмаченной головой отделился от костра и подошел к Карпу Федоровичу...

— Какой ты есть человек!.. Погоди ты у меня...

— Да будет вам, черти, оголтелые...

— Ты — вор, Карпушка... Слышишь ты? Вор ты, вор...

— Ну и народ...

Жена тащила Обыденыша. Время от времени он останавливался. Грозил кулаками и ругался.

Я отправился домой.

Долго в ночной тишине меня догоняли пьяные крики и ругань.

— Карпушка... Вор ты, вор...

— Будет вам, будет...

— Карпушка!..

— Ох, Господи...

Около леса мне встретилась группа запоздалых, возвращавшихся из леса, ребятишек и женщин.

— Дяденька, казаки уехали?

— Нет, их вовсе не было... Идите спокойно.

— Ну, слава Тебе, Господи!..

1909 г.

Деревенский интеллигент

I

— Но рассудите-же, наконец, вы сами, рассудите, пожалуйста, а потом и говорите, потом оказывайте ваш протест, сколько угодно; потом я буду молчать, слова не скажу... Рассудите: начинается эта земельная история, — я еду к ним. Так и так, мол, товарищи, деревня наша хорошо вам известна, народ, можно сказать, хороший, стойкий народ, а главное дело, мол, придерживается к партии; скажете, мол, вы словечко и по вашему словечку и будет исполнено. Слушает, папироску покуривает...

— Все, говорит, пойдут за партией?

— Все, говорю; а коли останется два-три человека, они не могут иметь никакой силы.

Походил, походил по комнате, сел около меня и начал... Говорил, говорил про крестьян, про землю — все хорошо, понятно говорил, а вижу я, что насчет дела ничего он не высказал. — Да как-же, говорю, о нашем-то деле, покупать, то есть нам землю, или нет?

Опять начал ходить, а потом подходит ко мне: этот вопрос, — говорит, — у нас еще не обсуждался, но так как мне известны взгляды товарищей, то могу сказать тебе, что земли покупать не надо.

— Не надо?

— Ни в каком случае! Заявите прямо, что покупать не желаете и другим купить не позволите...

— Так, — говорю, — на этом и стоять?

— Стойте, — говорит, — и не поддавайтесь... С места, — говорит, — не трогайтесь... Потому что, если никто этой земли покупать не будет, то должна отойти она вам даром в самом скором времени.

— Спасибо, говорю. — Поблагодарил его; еду к нашим. Так и так, — говорю, — ребята, земли этой покупать ни в каком случае нам не следует, потому что, — говорю — если все мы забастуем, то останется земля эта никчемной и перейдет нам в самом скором времени.

— А как, говорят, сказали тебе там?

— А там, говорю, сказали тоже самое. И по всей России, говорю, никакой покупки произведено не будет.

— Ну, а как, говорят, переводки земли не произойдет, что мы будем делать тогда?

— А тогда, говорю, будет видно. Но только не может того дела быть, чтобы земля осталась ни при ком; и если, говорю, никто покупать ее не будет, то должен будет этот банк раздать вам землю в самом скором времени.

Подумали, подумали мужики, «хотя, говорят, дело это' нам и не совсем подходяще, но раз вся Россия пойдет, как один человек, то обособляться нам нет никакого смысла». Приезжает этот чиновник. «Покупаете, говорит, братцы?» — «Нет, говорим, ваше благородие, пообождем. Как будут люди, так и мы. А пока вперед других не сунемся». Начал он нас усовещевать; стоим мы, как один человек, и никто не изъявляет желаний. Поговорил он, пострашал, под конец дела, видя нашу крепость, махнул рукой и уехал. Хорошо. Начали ждать мы, что выйдем.

Недельки, эдак, через полторы приезжает ко мне барышня. Так и так, говорит, приехала к вам от такого-то, на словах, говорит, никакой передачи не будет, а есть вот вам письмо, из него увидите вы, что надо вам делать. «Это, спрашиваю, в земельном деле?»

«Ничего, говорит, не знаю». Ладно. Читаю письмо. Прочел и вижу, что находит на меня столбняк; понимать — понимаю все, а верить не хочется. Пишет он мне, что, рассудив земельное дело, партия решила, что в тех местах, где земли нет вовсе, — вроде хоть бы нашего места, — покупать землю надо, но денег, вишь, можно не платить.

— Как-же это так? — говорю этой барышне, — ведь мы, говорю, дали полный отказ, а теперь произошло изменение. Подумайте вы, говорю, какое теперь наше положение? Возьмите хоть меня, — говорил я народу одно, а теперь поверну • в другую сторону, — кто же мне даст доверие и могу ли я свое уважение поддержать? — «Мне, говорит, не известно, должно быть, так решил комитет». Комитет-то, говорю, комитет, но каково может быть мое положение? Смутил я крестьян не покупать земли, а теперь должен повернуть оглобли... «Ничего, говорит, на это сказать не могу». С тем и уехала. Остался я один, начал обдумывать это дело, то есть, как мне теперь подойти к мужикам. Думал, думал — ничего не выходит. Вижу — дело плохое; заныло мое сердце, такая охватила злоба на городских товарищей, что и сказать вам не могу. Перечить, однако, не захотелось — раз решено для всех, то, следовательно, и мы должны этого поддерживаться. Собираю мужиков. Вот, говорю, какое дело, мужички: произошла у нас маленькая ошибочка, действительно, говорю, землю покупать не следует, но в тех местах, говорю, где земли нет вовсе, там покупать

разрешается; так что ваше дело теперь решить — должна у нас произойти покупка, или нет? Загалдели, зашумели, начали ругаться... Это, говорят, подвох какой-то: то не покупай, то покупай... По нашему-то, говорят, надо взять землю, да мы как во всех местах, желаем... — Такое, говорю, исключение дано для малоземельных, то есть, для тех, говорю, кому нет иного выхода. Толковали день, другой, третий — решили землю взять. Меня же послали к этому чиновнику в город, чтобы сказать, что берем, мол, землю. Поехал. Дня через три приезжает чиновник с земским и еще с каким-то молоденьким парнишкой, долго говорили с нами и велели послать в город выборных, чтобы сделать, что полагается, по форме. Выбрали мужики и меня. Долго мы ездили, хлопотали, писали; в конце дела сказали нам, что можем мы к осени землю запахивать. Успокоился я немного; мужики тоже поприбодрились. Все видим, что в петлю лезем, да дело такое, что нет иного выхода. Да и народ у нас, как известно вам, больше мордва, такой народ, что гору готов везти, лишь бы не беспокоили его разными вопросами. Согласный народ, крепкий, коли на что пойдет, да разжечь-то его трудно. А здесь видит, что все скоро кончится, хоть и будет он платить, да лямку тянуть, — за то думать не придется. Вот и рады, что мыслей-то никаких теперь не надо будет питать; сел снова в спокойное место и кряхти. Чудной народ! надоело мне с ним хлопотать страшно. Бог с ними, думаю, пора и мне честь знать. Начал я устраиваться: за тюрьму-то, как известно вам, все хозяйство свое я распустил, за что нихватишься — ничего нет. Продал корову, купил кое-что. Семку в училище определил... Говорил за это время и с мужиками как и что; о неуплате денег тоже все речь, также и другие разговоры были. Прошло так месяца, наверное, три.

Когда бывал в городе, заходил и к нему, да не было его все, так и не пришлось мне с ним свидеться. Вдруг, вечером как-то, подъезжает на велосипеде. Обрадовался я ему ужасно. — Здравствуйте! — Здравствуйте. Ну, как и что? — Начинаю рассказывать ему о наших делах; сидит, молчит. Правильно-ли, говорю, поступили?—Ваше, говорит, дело. Раз решили так, то так тому делу и быть... Но по партии-то верно ли будет? — Тут он мне отлил пулю. «Партия, говорит, не может устраивать крестьянские сделки. Не можем же мы взять на себя объездку деревень и толкование с крестьянами, как поступать им в том или другом случае. Наше, говорит, дело другое» ... Вот тебе раз! Что вы скажете на эти слова? То не покупай, то покупай, то делай, как знаешь, а мы в стороне... Какое же мы после этого можем иметь уважение среди мужиков? Да нас грязной метлой надо гнать за это из деревни! Подождите — и будут еще гнать... Да и стоит, стоит...

Взволнованный Илья Кузьмич, боясь, что его перебьют и не дадут высказать всего, что у него накопело на сердце, говорил часто, угрожающе постукивал по столу согнутыми пальцами, то вскакивая с лавки, то снова садился, опираясь на колени руками.

За столом сидели два крестьянина, учительница земской школы, псаломщик и я, проживавший в то время в деревне С-но у Ильи Кузьмича.

Кончив свою тираду о «партийных» передрягах, Илья Кузьмич немного успокоился, провел несколько раз рукой по волосам и — ожидая возражений — начал прихлебывать чай.

— Товарищ, о котором вы говорите, по моему совершенно прав, — нарушила минутное молчание учительница...

— Прав?!..

— Да, прав... Не может же, в самом деле, партия разослать людей по деревням и селам для устройства крестьянских сделок — вы сами, Илья Кузьмич, понимаете, что при теперешнем положении не хватит ни сил, ни опыта...

— Но позвольте, дорогой товарищ, кто у вас этих людей просит?

— Но как же иначе?

— Да зачем нам ваши люди?!.. Наладили, прости Господи, одно слово, а какой толк в этом слове — неизвестно. Вы нам скажите, как понимать дело и как его сделать, а уже мы здесь, в деревне, и без ваших людей обойдемся... О чем теперь пишут? То, другое, третье и — все пустяки, все ерунда... Привезли вот вы мне листочки о Думе, а по-моему, один это смех и никому не нужно. Ведь, знали вы, что принят, к примеру, земельный закон, вот и должны были нам его растолковать, на все вопросы ответить: выделяться из мира или нет? Покупать землю или поощрять? Если покупать, то как: через банк ли с выплатой? всем-ли миром? товариществами ли? Прямо ли у помещика, или поощрять, когда у него банк возьмет, а потом уж у банка? Кабы все это было нам разъяснено, не надо бы и людей ваших. Знали бы мы, что делать, и поняли бы, почему это хорошо... А то, что же это такое? Один мужик так говорит, другой по-своему, шум, гвалт, а мы стоим да помалкиваем — разбирайтесь, мол, мужички, а мы пока что поощрем...

— Но, ведь, все эти вопросы чрезвычайно сложны и решить их, не изучив ряда отдельных случаев, невозможно.

— А для мужика не сложные? Мужик, значит, будет решать, а вы глядеть, да учиться... Хорошо! Очень великолепно!

Мужик, пока решает, может быть, в могилу с голоду пойдет, а вам стоять, да посматривать... За то, мол, потом, когда вы решите, мы скажем вам, правильно или нет вы поступили... Хорошо! Да зачем-же вы, позвольте вас спросить, после этого нам нужны? Стоять да ушами хлопать?!..

— Правильно! — поддакнул угрюмый крестьянин Кондратъич.

— Но, ведь, вы, Илья Кузьмич, больше ругаетесь, чем доказываете. Что-же и как по-вашему надо делать?

— По-моему? В том-то и дело, что не спрашивали вы меня, а я вас спрашивал... Приносит мне недавно учитель Иван Иванович книжку. Почитай, говорит, Илья Кузьмич, здесь о крестьянских волнениях известный, говорит, писатель составил. Начинаю читать: «мужики такого-то села сожгли имение, захватили свиней барских, сели на току, развели костры, начали пить водку и жареной свиной закусывать. Напились, проспались и снова за то же дело. И так вплоть до приезда казаков». Что это такое? Скажите мне, пожалуйста, где это так бывало? Что вы мужика то за свинью, что ли, считаете, в виде той, которую он ел на току? Прочитал я эту книжку до половины и бросил. Вижу, не знают люди мужика и знать его не хотят. Что кому придет в голову, тот то и пишет. А под конец дела и выходит так, что того, что нам надо, никто сказать не может, и того, что мы есть — никто не знает... А по-моему, если уж люди, действительно, желают нам добра, то пусть узнают все по-настоящему, тогда и у них будет о нас правильное понятие и нам они хороший совет могут оказать.

— Но как же сделать-то это?

— Очень даже просто. Взять хоть бы вот эти хутора. По-ехал, вон, господин Столыпин по губернии, объехал хуторские поселки и начался крик по всей России — хорошо, великолепно, блестяще; все, одним словом, в порядке. Он на этих хуторах-то, может, час какой пробыл, да и назад, а крику-то наде-дал на целый год. Все кричат — хорошо! А что хорошего? Никто не знает. Прекрасно — и все тут. Вот вы бы вслед за Столыпиним-то и отправились туда, посмотрели бы, действи-тельно ли там такой земной рай, а потом и описали бы все это в книжечке. Если там все великолепно, то и нам, значит, надо попытаться. А не все хорошо — то опровержение этому крику вы бы дать могли.

Илья Кузьмич замолк. Молчали некоторое время и мы.

— Вот, хутора, эти — прямо заноза в глазу... Столыпин осмотрел, сам наиглавнейший министр — великолепно. Зна-чит — вали, робя, на хуторок. А вот в тринадцати верстах от нас есть хутора эти самые: хохлы осели на землю. Был я у них разов пяток — Господи твоя воля! Да у нас вон самый заваля-щий мужик, какой-нибудь Микиша Ломаный лучше их живет. Расселились они каждый на своей земле, у всех землянки; ни хлева у него, ни двора; обнес усадьбу загородкой в две жердоч-ки, да землянку вырыл — вот и хутор. На десять дворов один колодезь. Баба бедная, версты за полторы за водой-то хлыщет. Огородик бы завел — с водой не сподручно. Приехали ни с чем: топор понадобится — бегают из двора во двор. Бог, говорит, даст, укрепимся. Держи руки шире! Укрепитесь! Вот вам и хутора... А зимой занесет их — так и откопать некому. А госпо-дину-то Столыпину и здесь было бы хорошо!..

— Да! Бывал и я у них — горе! — заметил Кондратыч.

— Мы то бывали, а вы вот, барышня, только по газеткам. Скажите мне: много ли вы о деревне написали, много ли мужику растолковали и окажется в конец дела, что раз — два, да и обчелся. Во время забастовок вы приходили к нам, говорили, — мы вас слушались. А теперь, когда нам пришлось своего дело обмозговывать, — мы к вам, а вы — решайте, как хотите... Вот я и говорю: посмотрит, посмотрит мужик, что нет ему ни откуда выяснения, никто теперь, в трудную-то минуту, к нему не идет, да и отшатнется от вас на веки-вечные. Меня хоть теперь взять; верил я вам, любил лучше детей родных и оказывал всякую преданность, а теперь сомневаюсь я о вас, потому что не даете вы нам никаких решений...

Самовар был выпит, Илья Кузьмич сказал все, что у него «накопилось», учительница перешла к вопросу о травле, преследованиях и гонениях; Кондратьич полупшепотом рассказывал своему соседу о каком-то бычке. Разговор был исчерпан; всем было как-то тяжело, как-то не по себе...

— Молочка не хотите ли, господа? — предложил Илья Кузьмич.

Псаломщик выпил молока, и мы начали прощаться.

— Да, такое-то дело, господа-товарищи! Ни взад, ни вперед, что называется... Вышибся мужик из колеи, а новой еще не пробил, вот и колесит по кочкам... Надо что-то делать, а что — никому неизвестно... А вы... Ну, да что я на вас напал! Так, ведь, это! Вы не подумайте... Горько на душе-то, — вот и вертишь языком-то. Понимаю я тоже, что и вам не легко...

II

Илья Кузьмич особенно гордится тем, что все его деды и прадеды возросли и умерли в деревне, несмотря на то, что «хорошие были случаи в городе»; если бы, хоть при отце, вот, взять, в город-то мы перешли, то купцами теперь «могли бы быть». Илья Кузьмич любит деревню и особенно любит С—но; любит его «неизвестно почему», любит, несмотря на то, что с—цы «народ самый нестоящий», способный на разные «подвохи», и что с Ильей Кузьмичом они часто «шутили самые неосновательные шутки». «Ненадежный народ с—цы, — часто говорит Илья Кузьмич: если упрутся, то еще ничего себе, а сдвинет их кто-нибудь на свою сторону — пиши все пропало. Тогда они тоже упрутся — только на иной лад. Одно слово—мордва»!..

Действительно, за последние пять лет С—но дало целый ряд таких примеров. Большею частью С—но населено мордвой. Этот забитый и терпеливый народ, народ без прошлого, без всяких традиций, до такой степени сжился со своей нуждой и вечными гореваниями, что жизнь свою — грязную и полуголодную, — считал самой нормальной, положенной от Бога крестьянству — жизнью. Страшная отсталость, полная безграмотность, вечная голодная нужда до такой степени обезличили с—цев, до такого крайнего предела отупения сковали их мысль, что долгое время движения крестьян ближайших сел и деревень не производили на с—цев никакого впечатления. Крутом жизнь кипела и бурлила; ежедневно ставились и решались новые и новые вопросы, а с—цы по прежнему безропотно и терпеливо тянули свою каторжную лямку, а самые умные из них на вопрос — как же думаете вы? — обычно отвечали: «да

что ты станешь делать с нашим народом? С ним какой может быть поступок: взял стяг, загнал их всех куда-нибудь во двор, а уж оттуда и гони, куда надо. А иначе с нашим народом поступать невозможно». Помещица Бородина, «полная владелица» всех земель, окружающих С—но, «твердо верила в свой народ», по-своему умела его понять и — когда крестьяне соседних сел совершили несколько нападений на ее лес и грозили «добраться до хорм», — госпожа Бородина созвала с—цев и предложила им такую сделку: они будут защищать ее, а она за услуги их даст им по десятине земли на двор. С—цы думали не долго. Предложение было заманчиво; чувство солидарности с крестьянами других деревень отсутствовало; широких замыслов их они не понимали и не хотели понять и вот — предложение было принято. С кольями, топорами и вилами в руках с—цы появлялись у ворот усадьбы, как только проносился слух, что мужики той или иной деревни «идут». Окрестные крестьяне ненавидели с—цев до глубины души; но беспрестанные угрозы и мелкие столкновения делали с—цев лишь более деятельными и верными защитниками госпожи Бородиной. Мужики соседних деревень грозили, что соберутся вместе и разнесут все С—но вместе с их «барыней», и неизвестно, чем кончилась бы эта история, если бы в это время не вернулся с войны Илья Кузьмич.

Ознакомившись с положением дел, он положительно «вышел из себя».

— Ах, вы, мошенники! — кричал он, бегая из одной избы в другую. — Что-же это вы наделали? А?!

— Будет те, что уж ты больно-то!.. Ишь... крикун...

— Я не крикун... С вами не кричать, а бить вас надо.

Но с—цы «уперлись» и сдвинуть их было трудно. Отдельные крестьяне согласились с Ильей Кузьмичом, присоединились к его ругани, но скоро махнули рукой, решая, что «такому дубью хоть кол на голове теши и то никакого проку не выйдет». Однако Илья Кузьмич сам был человек характера твердого; война его научила многому, и он решил во что бы то ни стало «обтесать» с—цев и «прояснить им глаза». На каждом сходе, на каждом маленьком собрании, при каждой встрече с мужиками он «долбил им головы», действуя то руганью, то лаской, то рассуждением.

— Экий неугомонный человек, ей-Богу: помолчал бы хоть немного, право слово...

— Да как с вами замолчишь-то, когда вы счастья своего понять не умеете. Говоришь, говоришь вам и все от вас, как от стены горох.

— Ты бы толком говорил, коли что... А то плетет невесть что...

— Много в вас вобьешь толком-то. Барыня... Госпожа Бородина...

Пользуясь всяким случаем, Илья Кузьмич наседавал на крестьян и «не давал им житья». Всякое известие из города, из газет он использовал для своей агитации. А известий в то время приходило много, одно было неожиданней другого.

— Вот как Кондольцы-то действуют, вот это молодцы, вот это по-моему. Имеют люди настоящее понятие, один стоит за другого и всем будет хорошо... Братцы! Да одумайтесь вы, Христа ради, взгляните на себя... Что мы, в поле обсевок, что ли? Хуже других, что ли, мы? Все люди, как люди, а мы, как Бог знает что...

— Да ты-то откуда больно ума-то понабрался? Нашелся тоже учитель!

— Я-то набрался, милый мой! Съездил бы ты за десять тысяч верст-то, так тоже бы не с пустой головой вернулся... Я получил свое понятие и все очень хорошо себе представляю... Видал тоже людей поумнее нас с тобой — всю картину они доподлинно мне изобразили и во все я головой моей вник. А вы вот не больно-то вникаете, ваши головы обухом прошибать надо...

Как ни странно, но постоянный «зуд» Ильи Кузьмича возымел действие. От простого отмахивания, ругани и иронических замечаний многие начали переходить к внимательному прислушиванию, на многих стало «находить раздумье».

— Кто е знает, кабы не ошибиться, ребята...

— И то сказать, вон за сколько верст человек таскался, как не повстречать умных людей?! А мы здесь чего видим... Подума-ть бы надо...

— Мозговатая голова — что и говорить, другой раз такое слово скажет, что прямо тебя за сердце и щипнет.

— Народ-то у нас больно пришибленный... Ты ему хоть говори — хоть не говори, а он все на своем...

— Дойдут! — торжествовал, слыша такие суждения, Илья Кузьмич, — до всего дойдут! Образумятся! Мужик сер, а ум-то у него не чорт съел!

Чем более «образумливались» мужики, тем более «донимал» их Илья Кузьмич, тем более он входил в себя, развертывался, а иногда и торжествовал. Приехав как-то в это время ко мне в соседнее село, он с милой счастливой улыбкой вбежал в избу; на лице его сияло торжество; поспешно пожимая мне

руки, он лукаво подмигивал: ясно было, что он привез какую-то интересную новость...

— Ну, что?

— Да ничего...

— Говорите скорее, полно вам...

— А вы угадайте!

— Да говорите-же!

Добродушная улыбка все время не сходила с его лица...

— Ей-Богу, вы не поверите.

— Ну, полно, в чем дело?

— Наши-то, шаг вперед сделали... Сегодня на газету денег собрали... Ей-Богу — вот и деньги с собой привез — 8 руб. Вы уж, пожалуйста, выпишите нам какую получше, да попонятнее... Чтобы, о деревне побольше...

— Да как-же это они так?

— Рассказываю я им про другие места, как там дела идут. Они слушают, кто верит, а кто — вранье, мол... Я, говорю, в газетах сам читал... Начался здесь разговор. В конец того решили газету выписать, чтобы все знать и обложили по 2 коп. с человека. Теперь дело пойдет; только уж вы, пожалуйста, газетку-то получше...

Так постепенно раскачивал Илья Кузьмич с—цов. Велика была его задача и долго еще пришлось бы трудиться Илье Кузьмичу, если бы жизнь и «посторонние причины», эти лучшие агитаторы нашего отечества, не помогли ему скоро и резко «открыть глаза» с—дам.

Как только крестьянские волнения начали понемногу утихать, господа помещики немного оправились, вылезли из

своих нор и тотчас-же выпустили когти. Госпожа Бородина поблагодарила с—цев, заявив, что она верна своему слову и дает им по десятине земли на один год.

— То-есть, как-же это?

— Обещаньице ваше, барыня, было, чтобы отдать нам земельку навовсе, без платежа... Вы уж не обижайте мужичков-то, а мы за вас Бога помолим.

— Это за какую-же милость-то, позвольте узнать? За то, что вы не ограбили меня? За это вы целы остались. Посмотрите вон, как в других деревнях разбойников-то проучивают... Вам того-же, чтоль, хочется? Ну, да будет; отфорсили.

Началась брань, взаимные угрозы. Госпожа Бородина грозила «немедленно призвать казаков», а крестьяне кричали, что «за такой обман и подвох сотрут ее с лица земли вместе с хутором».

— Чего, робя, с ней долго-то разговаривать? Возьмем землю, да и все! Мы себя на все уезды опозорили, а она на-ко вот—отлила пулю! На год! Ишь ты, как свиснула! Да подавись ты своим годом-то!

Илья Кузьмич бегал от одной взволнованной группы к другой.

— Что, братцы? Не говорил я вам? Подождите теперь, не горячитесь... Обсудим все толком, что нам делать.

— В суд на нее, шлюху!

— Жди там суда! Позвать вон мужиков из Березовки—они ей и зададут суд.

— Подождите, все дело испортите. Слушайте теперь меня. Завтра привезу я из города человека, и разъяснит он нам

это дело. Малый он с головой и в таких делах дошлый. Один день — не Бог весть что, а, может, он что и посоветует.

Согласились обождать обещанного «человека». Рано утром Илья Кузьмич поехал в город, а к вечеру прибыл и «человек». Бесед было много, и самым внимательным слушателем был Илья Кузьмич. То и дело он вставлял свои реплики и похвалы.

— Верно!

— Все до единого слова правильно!

— А мы-то, мы-то- дураки... А?!

— Вот, ведь, учить-то нас некому!..

— Ах, Господи...

Приблизительно одинаковые реплики слышались и со стороны других крестьян. И если по временам, когда «человек» затрагивал слишком острые вопросы, многие морщились и неодобрительно качали головами, Илья Кузьмич обязательно посматривал на них и замечал:

— И это верно! Подождите, дойдет и до этого.

«Человечек» на год землю брать не советовал, доказывая, что скоро вся земля перейдет крестьянам.

— Вот слышите! — кричал Илья Кузьмич, — а вы-то, вы-то, как поступали!...

«Сговориться нужно, — говорил человечек, — выяснить все, а тогда мы будем знать, когда начать и как действовать».

Много разговоров наделал приезд человечка. Провожая его, все просили приехать еще, не забывать их. А какая-то старуха сунула ему на прощанье две масляные лепешки.

— Закусишь дорогой-то. Возьми!

«Человечек» взял лепешки, поблагодарил и уехал.

Довольный и веселый, Илья Кузьмич ходил по селу и разъяснял непонятные места произнесенных «человечком» речей.

— Начинают вникать! — говорил, он, потирая руки. — Некому им существо дела-то было растолковать; тоже люди, ведь, человечья душа-то... Услышали вот правильное-то слово и отмякла душа-то, а как наберутся в голову-то побольше разных мыслей, то и вовсе просветлятся... Я вот тоже болван-болваном был, а как начали мне в голову-то взвешивать разные рассуждения, то стало ясным для меня всякое число... Прежде тоже ругался, когда темь-то из меня вышибали, а теперь благодарю...

III

Ежегодно в С—не бывает ярмарка; верней, не в самом С—не, а около него, куда на громадную поляну между двумя лесами госпожи Бородиной съезжаются крестьяне окрестных деревень с хлебом, скотом и домашними изделиями из дерева. Обычно хлеба привозят довольно много, так что всевозможные скупщики и ссыпщики считают выгодным выстроить здесь временные амбары, куда и ссыпают крестьянский хлеб. Рядом с этими амбарами обычно появляется целая улица лавочек и палаток, принадлежащих тем же скупщикам, — с различными товарами, так что, в большинстве случаев, скупщики выдают вместо денег ярлыки, которые и реализуются в лавчонках.

В хорошие годы народу стекается несколько десятков тысяч; ярмарка тянется целую неделю и больше, и с—цы извле-

кают из нее кое-какую выгоду: бабы пекут оладьи, мужики запрягают лошадей и развозят по ярмарке воду или снопы травы, громко выкрикивая: «лошадей поить, вода ключевая холодная», «травы зеленой, свежей!» Грязные лачуги и землянки с—цев подмываются, чистятся и сдаются под квартиры приезжим. В результате каждый извлекает выгоду в 3—5 руб., которая является значительным подспорьем в скромном крестьянском бюджете.

В дни ярмарки С—но оживает: то и дело по улицам проходят веселые толпы подгулявших крестьян; тянутся бесконечные вереницы обозов с товарами и хлебом; ребятишки толпятся около балаганов и каруселей; настроение с—цев за эти дни поднимается; они начинают как бы гордиться; «вот, мол, мы все-таки не хуже других; у нас ярмонка; другое и богатое село, а, поди-кось, поищи там ярмонку-то». Так что к ярмарке начинают готовиться за месяц, за два, а по окончании ее о ней говорят долгое время.

Но в 1906 году произошло такое событие, которое испортило все ярмарочное настроение. Совершенно неожиданно «для охраны ярмарки» прислана была сотня казаков, которые и разместились в лачугах с—цев. Помимо нежелательного соседства грубых и нахальных гостей, с—цы лишились возможности использовать свои жилища под квартиры приезжих торговцев. За несколько дней до ярмарки начались конфликты и столкновения. Жалобы не вели ни к чему; озлобленность крестьян ежедневно росла. Когда открылась ярмарка и казаки стали хозяйничать на ней, напали на казаков.

Началось нечто невероятное. Казаки стреляли в многочисленную толпу, в казаков летели горшки, ведра, оглобли и другие предметы, которые крестьяне бросали из наваленных

торговцами груд; многих казаков стаскивали с лошадей и били, чем попало; торговцы запрягали лошадей и увозили оставшиеся товары. В результате три казака были убиты, многие избиты, а остальные ускакали в город. Ярмарка не состоялась, окрестные крестьяне поспешно разъехались, торговцы тоже, и все обрушилось на с—цев. 26 человек было арестовано и предано военному суду за убийство казаков. Избитый Илья Кузьмич спасся каким-то чудом.

Разбирая оставшиеся от грабежа пожитки, бабы выли; увезенных в тюрьму считали погибшими. Трудно представить себе более душу раздирающую картину, чем была в то время в С—не. Вой в каждой избе, вой на улице баб, собравшихся в кучки, истерические крики перепуганных ребятишек; группы оживленно толкующих крестьян; группы крестьян, растерянно посматривающих на разоренную деревню и безнадежно всплескивающих руками.

С перевязанной полотенцем израненной головой, с синяками под глазами и кровоподтеками на всем лице, — Илья Кузьмич, стараясь вызвать улыбку на своем страдающем лице, бегал от одной группы к другой и утешал крестьян.

Молчаливый мужик Кондратыч, редко с кем-либо говоривший и большую часть времени проводивший в своей кузнице, вдруг вышел вперед, взглянул на толпу нахмуренными глазами и грубо сказал:

— Верно! Правду ты говоришь Кузьмич. Грешен я, думал — подкупили тебя... А теперь вот всем ясно... Мы ее, бабу-то Бородину, защищали, но не токмо, какого удовольствия за это не получили, но избili нас смертным боем... Уцелел ты на наше счастье и должны мы теперь тебя слушать и оберегать...

Приехав вскоре после этого ко мне, Илья Кузьмич, не оправившийся от полученных побоев, долго рассказывал о всей этой истории.

Пугливая растерянность, охватившая за последнее время русское общество, тогда была лишь в зачаточном состоянии. Правда, первая Дума была уже разогнана, реакция расправляла крылья, но все же у большинства была уверенность, что «это лишь не надолго», что крупные перемены произойдут в самом скором времени. Поэтому все ожидали чего-то, думали, что не ныне — завтра кто-то что-то совершит; или, по крайней мере, что-то начнет, а остальных призовет на помощь. Уверенность эта особенно сильна была (сильна она и до сих пор) среди крестьян, которым часто говорили, что нужно ждать и готовиться.

Пытливый ум Ильи Кузьмича не мирился, однако, с этим общим решением вопроса. В каждый свой приезд ко мне он засыпал меня сотней вопросов, касающихся всевозможных подробностей.

— Вы не думайте, что я не верю... Нет! Мне просто больно — ошибки бы опять не вышло. Вот что! Дали бы вы мне книжечек, чтобы составить понятие. И мужики тоже одолевают. Говорят, Бородиха-то продать землю хочет... Все побаиваются... Вот поэтому-то я и говорю.

С теми-же вопросами он обращался и к другим знакомым, к которым «имел доверие», и у них брал книжки, читал по целым ночам, но, как видно, это его не удовлетворяло, не решало его вопросов, и с каждым днем он становился более и более озабоченным.

— Ведь, вот мы мужики-то, ей Богу... Ум то у нас тугой... Не могу никак я вникнуть. Ну, скажем так, как вы говорите — рано, или поздно, ну, а как поздно? Ведь, ждать-то нам теперь никак невозможно. Сами вы понимаете наше положение. Теперь бы нам хоть маленькое какое решеньице!..

И когда ему на подобные тирады отвечали общими рассуждениями, он становился печальным и угрюмым; торопливо прощался, брал новые книги и уходил.

— Не то что-то. Не могу доискаться настоящего смысла... Сосать меня начинает... Да и мужички тоже...

Вскоре Илья Кузьмич был арестован, шесть месяцев просидел в тюрьме и выслан на год в Вологодскую губернию.

IV

Из тюрьмы Илья Кузьмич не писал никому ничего. С—цы, «оставшиеся сиротами», начали падать духом. Все боялись, что дело его окончится «скверно»: «уж слишком видный он у нас человек». О том, как чувствовал себя Илья Кузьмич в тюрьме, я узнал лишь из письма, которое он послал мне из ссылки.

— Когда меня ввели в вагон, я ни о чем как-то не думал; нет, нет, рванет за сердце мысль, что одни теперь наши мужики остались и некому их поддержать, а потом опять как-то забудусь. И так всю дорогу. О себе начну думать — ничего не выходит, к мужикам мысли тянет, а о них подумаю — такая начинается тоска, что хоть петлю на шею. Пропадут — думаю: только одумываться начал народ, только увидал вдалеке верную-то дорогу и опять остался без поводыря. Ну, думаю чай, как-нибудь, устроиться городские помогут, да и на Кондратьича была у меня надежда большая, хоть в мыслях он и не

совсем еще разобрался, а твердость характера имеет... Так в этих думах и ехал; а в тюрьме посадили меня в большую казарму, народу было много и все хороший народ: наших мужиков 9 человек, 6 человек из мастеровых, 4 студента, а один пожилой уж господин, который служил доктором в Б-м уезде. Поздоровался я с нашими, обрадовались было, а потом еще пуще затосковали; поговорил с посторонними господами, вижу — народ все хороший, веселый; начали меня обо всем расспрашивать. Начались у меня с ними каждодневные разговоры; молодым-то я скоро надоел, потому больно много у меня накопилось мыслей, а там, пожилой-то, на все мне отвечал, все рассказал; о французской и других революциях дал понятие. Очистилась моя голова, а сердце затосковало еще больше. — Ну, думаю, сгибнут с-цы, как мыши под пустым амбаром, потому, как известно вам, положение наше такое, что не может быть большого промедления. Говорил я с пожилым и на этот счет, но он прямо сказал, что не берется что-нибудь нам посоветовать и что на воле это виднее и там, наверное, об этом рассуждение идет. Читали мы вместе с ним книжки; он прочитает какое место и с нашими делами сравнение производит. «Видишь, говорит, похуже нашего было, а под конец того дела правда вышла начистоту». — «Если бы, говорю, возможно было нам ждать, то имел бы я теперь более рассуждения, но наши места меня мучат и если разъяснить все это мужикам, то будет у них большое огорчение, потому что ждут все со дня на день и при нынешнем положении никакое дело не мило». Так и жил я все время. Только скажу вам, что каждый день я начал чего-то ждать; засыпаю вечером и жду, чтобы утро скорее, потому что кажется мне, что на завтра что ни на есть должно случиться. И так каждый день. Жду, жду — вижу,

что ничего не случается, а все жду. Газетку нам передавали; как получишь, бывало, ее, так и вопьешься глазами, читаешь и видишь, что идет дело все хуже да хуже; горько станет. А все чего-то ищешь... Об мужиках наших доходили до меня вести, что хотела Бородиха опять их опутать, но не поддались они; много мы здесь этому радовались. Теперь живу в Никольском уезде; жить здесь осталось 7 месяцев 16 дней; затем опять приеду к вам. Места здесь землистые, и хотя не все наши хлеба родятся, но мужик сыт; деревеньки маленькие: лепится 5-10 дворов, но избы большущие и для скота полное удобство». И так далее...

В С-нею письмо Ильи Кузьмича перечитывалось несколько раз и всякий раз слушалось с глубоким вниманием.

— Вишь ты, в какую даль закинули человека... Поживи-ка там, попробовай!

— А места, говорит, землистые!

— Что-же, что землистые, коли роду нет. Земли есть не станешь...

— Може, свой какой хлеб есть. В других местах, говорят, разна пища бывает.

— Он-же рассказывал, вон, про янонцев-то... Хлеба нет, а есть гяолян; его и жрут.

- Да!

После небольшого молчания:

— Сколько терзали человека, а все о нас не забывает. Тянет в свои-то места.

— Что ты думаешь? На чужой стороне и весна не красна!..

— Скорее бы приезжал уж, а то дела-то наши... Земля-то Бородихина, слышь, переходит к банке. Сядем мы тогда, братцы, по самую шею.

— Слышал, чай, 7 месяцев и 16 ден осталосьь.

— Время долгое...

— Как-нибудь дотянем.

Так как в письме были названы фамилии крестьян, с которыми сидел Илья Кузьмич, то каждое чтение письма вызывало много воплей.

— С моим-то, голубчиком, вместе жили... Бедная моя головушка!..

— Что-то с нашими-то будет...

— Защити ты их, Господи!..

— Будет вам, бабы! Экий вы, ей Богу народ! И без вас тошно.

Так жили с-цы, перебиваясь изо дня в день: каждый день ожидали чего-то; разочарованные в минувшем дне, ложились спать, рано поднимались на другой день, снова ждали, беседовали, слушали газеты, комментировали речи депутатов второй Думы и глубоко надеялись. Этой надеждой на скорое лучшее они только и жили; она помогала им переносить тяжелые жизненные условия; довольствоваться куском черного хлеба; надежда эта и связанные с ней запутанные и неясные вопросы заставляли последний грош отдавать на покупку книги и газеты, в которых думали найти слова, сразу разъяснявшие все.

Все планы улучшения жизни, исполнение общих желаний в С-не связывались с приездом Ильи Кузьмича. В своих частых из ссылки письмах он подбодрял крестьян, доказывал им

необходимость торжества их правого дела; в каждом из этих писем я находил грустные, пессимистические нотки, частые оговорки: «но если даже сила нас на время и сломает, зато погибнем мы за правое дело, как погиб Христос и его апостолы». Я понимал, что — уверенный в торжестве «крестьянского дела» — он не верит уже в скорое наступление этого торжества. Но мысль крестьян остановилась на одной уверенности; и пессимистические нотки писем оставались для них незаметными.

Кое-кто пробовал доказывать с-цам, что Илья Кузьмич умный человек, но все же возлагать на него таких надежд не следует; что дело не в нем, а в общих условиях, и так далее С-цы слушали таки слова скептически.

— Человека вы этого мало знаете.

— Тогда он сразу насквозь увидел Бородиху-то. С первого слова заявил, что обманет. Все по его словам и вышло.

— Мы, милый друг, тоже раньше сомневались, да все по его словам вышло.

— Не забудь ты то, что за сколько тыщ верст его в Японию-то таскали. Каких только людей не видал он в тех местах... Известно, что не в ем одном сила, а а только скажет он нам, как поступать; разъяснит...

— Говорят, вон, в городах забастовка собирается, а мы хоть бы что. А он в этом деле все бы нам растолковал.

И если кто-либо из проезжих пытался растолковать о «собирающейся забастовке», то это толкование никого не удовлетворяло.

— Не то!

— Подходите вы не с той стороны.

— Суть дела, милый друг, здесь захватить надо!

— Да, ведь, ничего иного не скажет и Илья Кузьмич! — начинал сердиться толкователь.

— А вот увидим!

— Не долго уж осталось, приедет.

А затем, чтобы успокоить «толкователя», кто-либо добавлял:

— Мы не к тому, что вы неправду говорите, много хорошего и в ваших словах, а только жизни вы нашей — крестьянской — не знаете, потому и упускаете самую суть. Нам надо знать, как сейчас нам быть, сегодня вот, завтра, а вы все даете отсрочку.

Приезжий уезжал, а с-цы снова ходили друг к другу, толковали о его словах и ждали Илью Кузьмича. Если бы в это время кто-либо сумел им неопровержимо доказать неосуществимость их надежд и наивность расчетов на Илью Кузьмича, они сразу опустились бы, потеряли желание жить и пьянство, которое в это время сократилось до минимума, — развилось бы со страшной силой; или же после нескольких дней полного бессилия и неопределенности крестьяне распродали бы свои земли, свой скарб и двинулись «на вольные заработки». С-цы позже других крестьян столкнулись с необходимостью борьбой решать вопросы жизни: но они не в силах были учесть опыт соседних деревень, да и нельзя еще тогда было этого сделать. Уверенность, что все должно измениться — окрепла, стала непоколебимой. С тем же упорством, с каким крестьяне защищали Бородину, — теперь они стояли на новой точке зрения, и сдвинуть с нее их могли лишь из ряду вон выходящие события.

V

Около кузницы Кондратьича собралась большая группа лиц. Опершись на громадный молот, Кондратьич выслушивал бабу, с широким, изрытым оспой, лицом. Высокая, мускулистая баба производила внушительное впечатление, и к ней не шел какой-то тоненький плаксивый голос, которым она рассказывала о своих делах.

— Посуди сам, Кондратьич, как нам теперь жить? Матери 80 лет, я — девка, помощи никакой нет. Все говорят: подождите, подождите, а землю, между прочим, все запахали, только мы сидим ни при чем. Вышла я ныне с сохой на твоей лошади, помаялась, помаялась — ничего не выходит. Что же мы зимой-то станем делать?

— Замуж выходит надо! — пошутил кто-то из толпы.

— Да жених-то, вишь, для меня не вырос...

— Вырасти-то вырос, да заплутался: пошел к тебе, а зашел в другую избу.

— Не больно мне ваши женихи-то и нужны: у меня четыре брата, было бы кому землю-то спяхать.

— Да в том-то и дело, что теперь их нет.

— Так мир помочь должен: не за воровство они пошли туда.

Два брата этой девушки служили в солдатах, а два сидели в тюрьме по делу убийства казаков.

— Что-же, мужички, пошлите завтра, у кого лошади свободны — не велик, ведь, труд.

— Где оне теперь, лошади-то? — заволновался худой, тощенький старичок. — Это ране было по пяти лошадей, а теперь и одна не в каждом дворе.

— Устает скотинка! Корм плохой—с свово-то поля чуть дожدهшься.

— Ведь ты спыхал уж, дядя Микифор? — спросила девушка.

— Спахать — спыхал, это верно. Да разве других дел мало... Вон глину надо мять, кизики... У Ивана, вон, лошадь стоит...

— Возьми, пожалуйста, мою — только на ней пахать с подпорками надо.

— Эх, народ! — махнул рукой сердито кузнец. — Говорят одно, а дойдет до дела, начинается табун. Словно гору своротить надо... Ладно, Аксинья, я завтра выведу.

— Да что ты, чудак, нешто я што... Жалко мне, что-ль... Я так, ведь! — засуетился старик Никифор, — коли не Васька, так я сам выведу... Помогу!

— Ну, вот и все!

— Поможем, поможем... Не тужите, бабы!.. — загудели мужики. — Чего тут! Пособим...

Вдруг — громадная волна пламени как-то сразу вырвалась из-под крыши крайней избы, моментально обвила ее со всех сторон и заволновалась, посылая к небу гигантские языки...

— Пожар! — одновременно крикнула вся толпа и — застыв на минуту на месте, — бросилась к избе.

Ветер рвал снопы с крыши и разбрасывал их во все стороны. На глазах беспомощной толпы загорались и сгорали избы... Люди кричали, таскали рухлядь, в бушующее пламя плескали

ведра полу-грязи, выкаченной из колодцев. Началась обычная трагедия деревенского пожара. Сгорело 15 изб, в том числе и изба Ильи Кузьмича. Молчаливая жена его и сынишка Семка сидели на вытащенном из огня сундуке с рухлядью и плакали.

К ряду старых бед прибавилась новая, которую нужно было поправлять в первую очередь.

Жена Ильи Кузьмича послала ему письмо с подробным описанием несчастья; и можно представить себе изумление с-цев, когда недели через три от Ильи Кузьмича получилось письмо, в котором он просит жену продать корову, лишние пожитки и ехать к нему. Решение это мотивировалось тем, что в С-не жить теперь нечем, а в Никольском уезде они как-нибудь устроятся. Впоследствии Илья Кузьмич говорил мне, что он просто хотел испытать с-цев, серьезно ли они стали «на новой точке». «Если выпишут они меня беспрерывно, — думаю, — то значит всякое согласие моим словам давать будут»... Так, это или нет—неизвестно, но письмо Ильи Кузьмича взволновало с-цев ужасно.

— Жену, вишь, выписал... А мы-то как-же теперь?

— Ждали, надеялись...

— Так нельзя...

— Мыслимо ли дело!

— Написать ему надо, братцы, что мир, мол, не согласен тебя отпустить. Приезжай, мол, потому миру ты требуешься.

— Написать и есть! Такое теперь дело, что не обойтись нам без знающего человека. Ждали столько время и вдруг—на тебе! Остаюсь!..

Подумав немного, Кондратьич сделал такое предложение: написать Илье Кузьмичу, что так как он нужен миру, то устро-

иться ему мир поможет, а если он останется, — то мужики останутся, как овцы без пастуха, и не будут знать, что им делит. Тем более земля Бородиной уже перешла в банк, приехал чиновник и предлагал с-цам купить ее у банка. Жену Ильи Кузьмича уговорили подождать ответа, а так как у той ехать в Вологодскую губернию не было ни малейшего желания, то она охотно согласилась.

Илья Кузьмич не заставил себя долго ждать (а ждали его с большим нетерпением) и месяца через полтора приехал в С-но.

Приезду его все были бесконечно рады; устроили настоящий пир, расспрашивали, плакали.

— Теперь пойдут наши дела!

— Сам Господь тебя послал, Ильич! Он — кормилец!

— Совсем стариком стал!..

— Там постареешь!..

— Сколько тебе теперь лет-то, Ильич?

— Сорок три, никак...

— Меньше, ты мне ровесник!..

— Ну, как-же теперь? Что-же нам делать-то?

— Подождите, братцы, дайте оглядеться, отдохнуть малость... Говорили мне о наших делах, а все-таки надо самому все посмотреть...

— Как-же, как-же... Все тебе расскажем!.. .

— Отдохни, отдохни... Приглядишь!..

Илья Кузьмич' поселился у Кондратьича. Первые дни он чувствовал себя великолепно. Ходил по полям, лугам. Остановившись перед самым обыкновенным кустом или цветком,

долго осматривал его, с нежностью трогая руками. «Господи! Цветочек-то, кустик-то, полянка-то... Вот, вот... Как сейчас, помню»... С людьми в эти дни он был бесконечно нежен и ласков: каждого утешал, подбодрял «Подождите, братцы, подождите! Возьмет и наша... Дайте немного опомниться народу, передохнуть ему дайте, а затем уж он вам покажет» ... Такое состояние, однако, продолжалось недолго. Скоро Илья Кузьмич поехал в город, отыскал знакомых и долго с ними беседовал. Судя по тому, что вернулся он хмурый и расстроенный, — видно было, что беседы не удовлетворили его. «Опять тоже! — ворчал он: — Это мы, братец мой, давно слышали. Спой что-нибудь поумнее... Обширность России, соединение сил... Все так... А теперь ты скажи мне — покупать, или не покупать землю!»

Волнение Ильи Кузьмича было вполне понятно. Пособив Ильи Кузьмичу наскоро сбить кое-какую избенку, с-цы чаще и чаще стали лезть к нему, «как с ножом к горлу», чаще и чаще ездил он в город и возвращался оттуда одинаково расстроенным...

Приехав в эти дни как-то ко мне, Илья Кузьмич тщетно старался улыбнуться. Глубокое горе лежало на его лице, и трудно было скрыть это горе.

— Придется, видно, подлецом оказаться!

— В чем же дело?

— Да как в чем? Знаю много и в тоже время ничего не знаю; к делу ничего не могу приложить... Вам-то это «частичный вопрос», а мне лучше петля, чем перед ними подлецом оказаться. Ждал меня народ, надеялся, выписал из такой дали; теперь помог деньгами, а я за все это только одно и твержу:

«подождите, братцы». Они на меня надеялись, я на городских надеялся, а в конец дела оказалось — и меня надули, и я надул.

— Вы преувеличиваете, Илья Кузьмич!

— Чего преувеличиваю! Приехал сегодня в город, захожу туда-сюда — нет никого: кто в аресте, кто разбежался. А должно было быть самое настоящее собрание по нашему делу. Я, как поехал, так и сказал: — Ну, мужички, теперь, мол, приеду с ответом, а вот, поди теперь да и думай»...

— Послушайте-ка, Илья Кузьмич, — сказал я, — ведь, вы хорошо понимаете, что с настроением одной вашей деревни никаких вопросов не решишь; в нашем одном уезде восемь волостей, и каково там настроение — мы не знаем, или знаем плохо; как они там думают, что надеются предпринять? — Все это было бы очень важно. Вот вы и скажите с-цам — давайте посмотрим, что в других деревнях? Как они покупают землю, или нет? Какие у них планы на будущее? Тогда вопрос будет яснее и можно будет что-либо сказать...

Моя мысль окрылила Илью Кузьмича. Поспешно простившись со мной, он побежал в С-но. Два дня выяснял он с-цам «необходимость посмотреть, как у людей» и с-цы, наконец, убедились, что «с этого именно и надо было начать». Явился вопрос, как это выполнить?

— Известно, Кузьмича послать!

— Пусть походит, поспрашивает... Он привыкши к этому делу; что стоить будет, мы уж как-нибудь соберем.

— Так и мне думается! — присоединился Кондратыич. — Собрать там по сколькоу с души и послать.. Посмотрит, поговорит с другими мужиками и к нам!

— Согласен ли, Илья Кузьмич?

— Согласиться не долго, да как я пойду? Посудите сами — уезд большой, дороги некудышние, ни родных, ни знакомых в деревнях нет — скоро ли я обойду пол уезда? А хоть бы и обошел, кто мне что будет говорить?

— Поезжай ты теперь на Кондаль, — заметил старик Микифор, — живет там мой свояк, затем в Федорово, туда Грунька выдана, из Бобровки Аграфенина невеста, в других, чай, местах найдется у кого кто. А пойдешь где на лошади, где как... Потрудись уж для мира-то...

После некоторого выяснения деталей плана, Илья Кузьмич согласился: дня через два с котомкой за плечами, с корзиной, в которой лежали ножи, топоры, ножницы, замки и другие мелочи крестьянского обихода, — он прощался с односельцами.

— Торговец-то, торговец-то! А?! — толкал молодой парень своего соседа и заливался звонким хохотом.

— Глядите, глядите — и пояс с крючками... Чистый купец!..

— А вы, тово, — сказал кузнец, — не больно болтайте-то. Вы, бабы, особенно; вам, ведь, лыки-то привязывать надо: стубите человека; понимать надо!...

— Уж это первое дело!

— По моему, так чуть кто пикнет, взять вожжи, да при всем народе шкуру-то спустить раза два, вот другим и не будет повадно, — предложила сестра четырех братьев, которой мир обработал-таки землю, поэтому она теперь душой и телом предана была мирским делам.

— Верно, Аксиныя!

— Говорят «у бабы волос долог, а ум короток», а вот, поди-ко ты...

— Да!

— Ну, прощайте, братцы!

— С Богом, Кузьмич! Дай тебе путь добрый...

— Поосторожней, в случае чего...

— Как-нибудь! А вы, братцы, в случае чего, жену не оставьте...

— Будь покоен! От себя оторвем кусок, а твоим отдадим.

— На этот счет уж успокойся!..

— Спасибо вам! До счастливого свиданья!

— Тебе спасибо! Трудное дело берешь на себя!

Долго в след уходившему Илье Кузьмичу крестьяне кричали — «с Богом!» — «доброго пути!» — и махали шапками.

Опираясь на суковатую дубовую палку, Илья Кузьмич отправился «знакомиться с настроением уезда».

VI

Месяца через три после этого Илья Кузьмич и Кондратьич сидели у меня. Илья Кузьмич рассказывал о своих приключениях.

— В какую деревню ни приду — везде одно и то же. «Житья, — говорят, — нет, надо что-нибудь делать!» А что делать? — никому неизвестно. Как-вы, — спрашиваю, — будете?

«Ждем, — говорят, — как другие, потому мы всегда подержать готовы, и все на усыгинцев! Усыгинцы, — говорят, всегда впереди всех шли, им теперь и надо давать команду». Иду к усыгнцам. — Такое дело, братцы! Приходит наше

терпение к концу, надо что-нибудь делать! Послали меня мужички из С-на спросить — не будет ли какого совета. — Действительно, есть у них мужички рассуждающие; понимают все очень хорошо: те прямо мне и заявили — одно, говорят, дело большое, а другое — поменьше. Большое дело только вся Россия разработать может, а земельная часть — это, — говорят, — дело наше. В этом деле надо нам столкнуться и делать всем, как одному человеку — коли покупать землю, так покупать всем, кому она требуется; а коли не брать, то держаться крепко и другим не позволять. — Как-же, говорю, — может совершиться этот уговор? — «А это, говорит. — когда городские со всей России сведения соберут, и всем по одинаковому объявят. Пока же, — говорит, — надо крепиться: не соглашаться и не отказываться, в случае приедет чиновник — говорить: «дело не шуточное, подумаем». А если, — спрашиваю, — из других мест приезжать начнут? — «Тогда, — говорит, — нужно их добром образумливать, а не послушают, немного и попугать можно». — А городские, — спрашиваю, — бывают у вас? — «Раньше, — говорит, — наезжали часто, а теперь давно уже не были». — Вижу я, что везде люди больше ищут, а чего — не знают и сами. Меня же давно уже сомнение начало брать, что ничего мы не дождемся и получится у нас одна каша. Нужно сказать вам, что захватал я с собой кое-какие книжонки и в деревнях мужикам для прочтения оставлял. Даю и усыгинцам. — «Книжки, говорят, — хорошие: у нас они тоже есть, но только самая сущность в них изложена, а теперешних наших делов не касаются». — Так, — говорю, — раздавать мне их, или нет? — «Не мешает, — говорят, только действуй с опаской».

Хорошо. Иду дальше. В какую деревню ни приду — у каждой своя история и все — ждут. Горе взяло меня! Да чего, —

говорю, — вы ждете-то? — «Как — чего? Какое ни на есть изменение должно быть! Будет известие — вот мы поступим». В Крюкове рассказывают мне такую вещь — взяли они у банка землю еще в девятьсот втором году; платили до девятьсот пятого, а потом три года не платили. Должна была земля эта от них отойти, а без нее им никакой жизни, как известно, нет. Что делать? Подумали. подумали, собрали деньги за все три года — повезли. Не берут!

— Не берут? — переспросил Кондратыич.

— Не берут! Сроки, — говорят, — упущены, если хотите теперь этой землей владеть, переходите по новому правилу на хутора; тогда и с недоимки вашей может быть скидка. Когда пришел я к ним, у них по этому делу разговор шел. Услыхали, что я пришел, бегут ко мне. — «Как, — говорят, — нам быть в нашем деле?» — Я, — говорю, — сам пришел у вас спросить. — Пробыл я у них три дня, все время они толковали, но ни к какому концу не пришли. Тоже решили пообождать.

Много интересных «историй» рассказал нам Илья Кузьмич. Обошел он добросовестно весь уезд, даже в некоторые «интересные» места соседних уездов заходил, но, по его словам, «везде находил одно и то же».

— Такая после этого на меня напала тоска, что поспешил я скорее домой. Иду, утешаю себя тем, что народ все-таки стоит дружно. Есть кое-где такие, которые стараются, как бы самим поскорее вывернуться, а большинство все-таки согласно. Мучило меня то, что никогда ответа они не дождутся и будут — спустя время — делать, как Бог кому на душу положит. Прихожу к нашим. Встретили хорошо. Рады. Начал я им передавать, народ, мол, везде согласный, но решения еще нет. Надо, мол,

пообождают и нам. — Долго-ли ждать-то?» — Нет, — говорю, — потому что дело неотложное. Вижу, особой радости в них нет... Прошло так с неделю; в это время ходили ко мне каждый день, то то спросят, то другое, — я объяснял. А потом вдруг доходит до меня слух, что земскому мое путешествие известно, и он требовал от мира послать меня в Сибирь. — Что-же, говорю, вы братцы, от меня скрываете? Ходил я по вашему приказанию, исполнял все честь-честью и вдруг такое дело? — «Не в этом, говорят, суть вопроса; жалко нам тебя, Кузьмич, Бог знает как, и не выдадим мы тебя никогда, но грозит земский, то есть, если тебя не исключим, — поставить к нам казаков, и сам ты должен это рассудить. Напуган народ — помнишь тогда, что казаки-то делали? Жалко тебя, а как вспомнят ярмонку-то, то и задумываются». — Да есть ли, — говорю, — теперь такие законы, чтобы человека исключить из мира?—«Это,—говорит,—нам неизвестно, а только земский такое требование предъявил». Вот так штука, думаю. Знаю я наших мужиков хорошо — непостоянный народ. Просить их все-таки, — думаю, — не буду. Пусть решают сами. Устроят мне такую «каверзу», дело их; уеду в Сибирь, и в Сибири люди живут...

— Не сделают этого... Что ты! — заметил кузнец.

— Пусть решают, а только зла я им не желал... Теперь вот сход у них идет. Мы нарочно ушли с Кондратьичем; пусть сами поступают, как совесть им подскажет...

— Так сейчас они о вас решают?

— Обо мне. Знаю я, что откажутся; по глазам их видел: ласковы уж больно.

А на сходе в это время никак не могли решить, что ответить земскому.

— Можно ли погубить такого человека!

— А казаки-то?

— Что казаки? Умирать, так всем умирать... Сами-же заварили кашу, а теперь, на-ко вот, возьмите человека. Скушайте!

— Не мыслимо!

— На казаков жалобу можно найти. Валяй в город, дедушка Микифор!

— Ох, робя! Силушки нет!..

— По-моему, вот что, мужички: пойти просить Кузьмича, чтобы сам он согласие дал. Мир, мол, не желает тебя наказать, но ты сам послужи еще раз миру; спаси нас. Выдь! Когда-же дела наши успокоятся, опять примем мы тебя, как дорогого гостя. — предложил Никифор.

— Ох, не хорошо!

— Получше придумай!

— Нечего придумывать-то!

— Не такой человек, Кузьмич, чтобы не понять! Сам уйдет!..

— Не забывайте, мужички, что выписали мы его сами, и все тогда говорили, что без него нам никак невозможно! Теперь-же сами человека гоним!

— Не гоним, а просим! Придет время опять выпишем...

— Попросить бы тебя падкой по шее!..

— Попробуй!

Сход разбился на две части. Говорили по-русски и по-мордовски. Толковали долго, и в конце концов, приняли-таки предложение старика Никифора.

Сам Никифор и еще два старика пошли «уведомить» Илью Кузьмича.

— Согласен, согласен, дедушка... Чего тут! Ныне-же к вечеру выеду в город... жену только уж не оставьте...

— Ты того, Кузьмич... Пойми! Не поминай! Видим, что виноваты перед тобой, да, ведь дело-то такое!.. Ах ты, Господи!

— А о семье не беспокойся! Последний кусок отдадим...

— Спасибо, спасибо...

— Ах ты, дело-то какое!.. А?!

— Ну, чего тут! Сделано дело! спасибо вам...

Илья Кузьмич не выдержал; наклонился над столом и заплакал. Заплакали и старики.

— Будет уж! Эх!

— Кузьмич! Ты... того...

— Еду, еду... Спасибо!..

— Ах ты, жизнь наша горькая!..

— Плюнуть бы надо! А? Дедушка Никифор!

— Плюнуть, братцы!..

— И то!.. Все равно уже!..

— Нет, нет! — запротестовал Кузьмич, — все будет хорошо. Выеду в город, там и заарестуюсь... Дело привычное...

Старики ушли. Кузьмич поспешно и нервно собрался и к вечеру уехал в город... Возвращавшиеся с работы бабы рассказывали, что то и дело Кузьмич оглядывался на С-но и рукавом отирал глаза. А встретив их, баб — велел сказать мужикам, что не сердится на них и прощается с ними «навечно».

Хмурые и унылые ходили крестьяне по улицам С-на. Всех грызло нехорошее чувство сделанной неправды. При встречах

старались об этом не говорить, а если разговор начинался, то скоро переходил в ссору: вину один сваливал на другого и, в конце концов, оказывалось, что никто не желал высылки Кузьмича, что человек он необходимый, что с теперешними делами без него никак не справиться.

— Я прямо сказал, что умирать, так всем умирать, — все слышали!

— Ты?! Да ты первый кричал, что согласиться!

— Я кричал?! Я?! Да как у тебя повернулся язык сказать такое слово?!..

— Оба вы хороши — сгубили человека!

— Мы, что-ль, одни?

— Горлопаны! Вам бы орать только!

— Ты хорош! При Кузьмиче хвостом юлит, а без него — соглашайтесь, ребята!..

Внимательно прислушивающийся к этим толкам, Кондратьич отозвал в сторону некоторых серьезных мужиков и долго с ними беседовал.

— Приговор-то где?

— Да здесь еще...

— Не забрали?

— Нет. У писаря никак.

Снова долгий разговор вполголоса и, наконец, к вечеру новый сход по каким-то формальным основаниям, найденным писарем, приговор отменил, и Кондратьич поскакал за Ильей Кузьмичем. С тем в это время, произошли новые приключения: ни в тюрьме, ни в полиции до получения приговора его не хотели арестовать и советовали ехать обратно в деревню.

Кондратьич отыскал его у одного из знакомых «человечков», которому он рассказывал о своих неудачах.

Встречу Илье Кузьмичу с-цы устроили триумфальную: версты за три от села все расположились по большой дороге и нетерпеливо посматривали в сторону города.

— едут!

— Оба?

— Оба!

Толпа побежала навстречу быстро катившейся телеге... Начались объятия, крики. Илья Кузьмич забыл «все»... Крестьяне забыли о земском, и о казаках: у всех как бы камень спал с души...

— Словно затмение какое на нас нашло тогда! Ей Богу! Подумать страшно.

— Ладно... Всяко бывает на свете...

— Жизнь-то, говорят, пережить—не поле перейти...

— Ну, слава Богу!..

— Все теперь по-хорошему...

Всю дорогу до села крестьяне оживленно беседовали и строили различные планы. Дедушка Микифор подпрыгивал, догоняя других, стараясь вернуть словцо. Илья Кузьмич говорил на высокие темы крестьянской солидарности; о необходимости крепко стоять одному за всех и всем за одного. На радостях крестьяне немного подвыпили, повеселели еще более; забыли на минуту о всех своих нуждах и горестях. До самого утра по деревне ходили группы оживленно разговаривающих людей. Прислушиваясь к толкам крестьян, видно было, что разговаривают они о лучшем будущем, о светлых

днях и в разговорах своих чаще всего поминают имя — Илья Кузьмич.

VII

На предложения Крестьянского банка нужно было дать тот или иной, но окончательный ответ. Чиновник заявил, что ему надоело ждать и выслушивать одно и то же: «подумаем!» О том, как этот вопрос был после долгих мытарств решен, рассказано в начале настоящих заметок. Однако, весь вопрос этим не исчерпан: большая часть с-цев должна «сесть» на хутора, ликвидировав свои хозяйства в С-не.

Илья Кузьмич твердо стоит на том, что переселяться не следует; в этом с ним согласны все; больше других думает он над вопросом, как помочь беде.

В город, однако, он ездит гораздо реже; всех знакомых ему «человечков» рассадили давным-давно по тюрьмам, а новые знакомые больше отговариваются тем, что «ничего неизвестно».

— Своим умом, видно, надо до всего доходить; эдак лучше будет дело-то.

Увлекаясь той или иной мыслью, Илья Кузьмич немедленно сообщает ее односельцам, вместе с ними разбирает и выясняет. Это он называет «шлифовкой мордвы». По вечерам часто можно встретить около кузницы группу крестьян, а среди них оживленно рассказывающего Илью Кузьмича.

Заехав как-то в С—но, я, к удивлению, нашел Илью Кузьмича слегка выпившим.

Сидя на завалинке своей избы, он пел и в такт покачивал головой: «Отпустили крестьян на свобо-о-о-ду девятнадцатого февраля...»

Протянув последнее слово, Илья Кузьмич начал всхлипывать и уже рыдающим голосом пропел:

«Только землю не дали наро-о-о-ду...»

После этого уронил голову на руки и зарыдал окончательно.

— Что с вами?

— Напился, видите; ругайте теперь...

— Отчего вы плачете-то?

— Душа болит — вот и плачу. Мужичков жалко: мучаются, страдают, ждут, а в результате — одна — кабала за другой... Горько! Надеются на помощь все, помощи-то, видно, ни откуда не будет...

— Эх, как вы ослабли!

— Не ослаб, а сил не хватает. Думаешь, думаешь, — голова идет кругом, а все никакого толку. Вот на хутора надо идти, а что я поделаю... А они все надеются.

Много в этот вечер пришлось мне выслушать от Ильи Кузьмича упреков в «измене», «подвохе» и прочем.

— Когда мы нужны были, к нам все шли, а теперь, как нам надо помочь — никого нет. Подождите! Народ поймет! Хватитесь, да поздно будет. Вам литература нужна, книги... А мужику ничего не нужно? Мужик делай, как хочешь, а вы будете смотреть? Так, ведь?! А потом скажете, в каких случаях мужик ошибался... А еще — «почему вы плачете?» — О вас плачу! Вас мне жалко! куда вы кинулись? Что вам надо? Слепые вы, что-

ль, коль не видите, что мужик из сил выбивается? Своего ума у него не хватает! Авы, куда свои ум деваете? Образованные вы люди...

Горько и мне было слушать слова Ильи Кузьмича; много в них правды. Не возражая, ему я старался успокоить его, переводя разговор на другую тему...

Так живет теперь Илья Кузьмич, полный неразрешимых вопросов, ежедневно выдвигаемых общей и местной жизнью. Громадных усилия, мучительного напряжения мысли стоит ему выяснение того, что многие с небольшими затратами труда получают на гимназической скамье. Вечно нервный, вечно суетливый, отзывчивый ко всему, он старался вобрать в себя все деревенские невзгоды, скорее решить все кровные вопросы деревенского существования и — представив крестьянам все в ясной и очищенной форме, — немедленно двинуть их по верному пути к лучшему будущему.

Решительный и энергичный, он одновременно агитатор и вождь; досадно, что настоящая жизнь не дает возможности развернуться его способностям, принуждая применять их, главным образом, в мелких делах тревожных деревенских будней. Зато смело можно сказать, что все свои способности, большую часть своих сил он отдает с-цам. Учась сам, он учит и их. Живя впроголодь, он думает об определении Семки в гимназию. Выучится — все понимать будет; ему уж и в город ездить не придется!

— Поживи ты для себя-то хоть немножко, — часто за последнее время говорит Илье Кузьмичу жена.

— Подожди немножко! Устроим вот дела и поживем!

С-цы понимают, что он живет для них; и в трудную минуту, при всякой новой надвигающейся на них туче, — обычно говорят:

— Что-же? Устроится как-нибудь у нас Ильич!..

1909 г.

На хуторах. Заметки деревенского наблюдателя

I

— Вишь ты, как испакостили землю-то! — хмуро заметил крестьянин д. Туляки, Иван Иванович, показывая кнутовищем на бесчисленное количество беленьких столбиков, разбросанных по полям.

— Это что — хутора уж пошли?

— Хуторов настоящих пока что нет, потому что два года землей они будут пользоваться на арендном основании „, пока, то есть, купчая им не выйдет, — ну, а там должны переселиться.

— Теперь же, значит, здесь пусто?

— Зачем пусто: видите постройки раскинуты — кое-кто здесь уже живет... Только, какие же это, с позволения сказать, хутора? У кого шалаш, у кого землянка... Один, видите вон, из плетня согнул какую-то конуру... Летом все почти здесь жили, а зимой в деревни перейдут, иначе, как кроты, все перемерзнут... Хуторяне тоже... Помещики!.. Но-о!.. Стала... — сердито крикнул он на лошадь п, завернувшись в чапан, замолчал.

Я знал, что после каждой сердитой реплики Иван Иванович будет молчать довольно долго, и не пытался вызвать его на разговор.

Мы едем с ним в Петровском уезде Саратовской губернии по земле, не так давно еще принадлежавшей герцогу Лейхтенбергскому, а теперь купленной банком и разбитой на отруба. До продажи этой земли в банк, ею на арендных условиях и исполу пользовались крестьяне деревень Даниловки, Старого

Славкина, Камаевки, Моревки, Синодского и др. Теперь земля эта, как и смежная с ней земля г. Усова, проданы банку и разбиты на 60 отрубов по 16-18 и по 20 десятин каждый. Раньше землями этими пользовались почти все крестьяне указанных деревень, снимая по 1—2 десятины на двор. Теперь же, очевидно, земля эта должна перейти в пользование 60-ти хуторян, а оставшаяся не при чем крестьянская масса должна ограничиться надельными землями. Наделы же в этих местах таковы, что «на них овцу не прокормишь, не токмо семью». Получилось совершенно безвыходное положение. Растерянно крестьяне бросаются за советом и помощью в различные учреждения и к различным лицам — помощи ни откуда нет никакой, и вот начинаются выделы из общины, продажа наделов и бегство «на должности» и «на заработки». Характерно, что даже при таком совершенно безвыходном положении в этих местах беднота «на хутора» идет плохо, и 60 отрубов до сих пор еще не все разобраны.

Так как условия во всех названных деревеньках совершенно одинаковы, то для более или менее подробного ознакомления с современным положением крестьян этой местности возьму волостное село — Даниловку. Здесь наделы 30 сажень на 60 длиннику в одном поле. До самого последнего времени крестьяне существовали, арендуя земли Усова, герцога Лейхтенбергского, Московского Лесопромышленного товарищества. Теперь, как сказано, земли первых двух владельцев разбиты на отруба, а экономия Московского товарищества в значительной части распродана «товариществам» огаревских и тугускинских кулаков, прижимающих крестьян «не хуже любого помещика». Даниловцы, таким образом, остались при

одних наделах. Перед ними стал роковой вопрос «что делать, чтобы не умереть с голоду?»

— Переходите на хутора! — твердили им землеустроители.

— Да чего отрубов-то? 60 — на десять деревень! Ведь это смешно сказать!..

— Затем часть переселится на казенные земли, а другие здесь устроятся!..

Начали разбирать «отруба», но вскоре стало ясно, что «беднота этого дела не осилит»: необходимо было около ста рублей заплатить сразу, затем в течение двух лет платить арендную плату; за особую плату снимать луга и т. п.

Часть взявших отруба вскоре отказались, в том числе отказались и бывшие служащие имения Усова, тоже местные крестьяне.

— Не по силам!

— Соков не хватает, братцы мои! Надо искать другое место пропитания!..

Так что в силу естественного положения вещей отруба остались за теми, «кто побогаче». Богач Фомичев, имеющий десятин 80 собственной земли, взял два отруба; его брат и племянник, люди зажиточные, тоже взяли отруба.

Три-четыре человека из бедноты, «вытянув последние жилы», пока что «выдерживают», но «не иначе, как и им придется бросить». Всего отруба в Даниловке взяли 25 человек, некоторые из них по два и по три: на себя и сыновей. Не мало пришлось мне здесь выслушать горьких сетований.

— Что же это за законы пошли? А?! У него и так 80 десятин и ему же еще два отруба... Виданное ли дело?

— Кто же это там у вас в Петербурге, распоряжается?!

— Ведь жить нельзя!.. Сами вот видите! Ну, при чем теперь мы? Что же будет? А?!..

Как я уж сказал, беднота идет по линии наименьшего сопротивления: выходит «в собственники земли», поспешно продает свою «собственность» и идет искать пропитания в другом месте.

В Даниловке выделилось с этой целью человек 60, а кроме них есть значительное количество «желающих». Земли их скупает тот же Фомичев, на моих глазах за бесценок приобретенный две души у одинокого крестьянина Карпа Сопина.

После этих беглых замечаний понятно, почему крестьяне, а в том числе и Иван Иванович, который вез меня «на хутора», так озлоблены на хуторян. В них видят людей, предавших мир, во имя своекорыстных целей перебежавших на сторону врага... С другой стороны, и враг этот, в свою очередь, оказывает перебежчикам всякое покровительство и всегда в ущерб оставшемуся большинству...

— Что же, Иван Иванович, пойдёмте посмотрим, как живут хуторяне?..

— Я-то видал уж! Какие они хуторяне, когда у них домов нет!.. Помещики тоже — корову на приколе держут... Иду как-то, кричу им: кур-то, говорю, на прикол посадите, а то переделаетесь из-за них!.. Идите, вон, в шалаш, там кто-то копошится...

В шалаше копошились старик и два парня.

Они убирали солому на своем отрубе; старик же и жил здесь, «в виде караульщика».

— Откуда Бог несет?

— Приехал вот посмотреть, как вы живете?

— Какая еще здесь жисть: так себе — маемся... Взяли вот два отруба, а что выйдет — Господь знает!

— Урожай хороший был у вас?

— Урожай, слава Богу, да толку-то от него мало. Думали вот скотинкой обзавестись, а глядь, платить, вишь, опять надо. Рублей теперь ста четыре заплатили, а сколько пойдет в счет — неизвестно.

— Что же переселяться не думаете?

— Как не переселяться — придется! Дело-то такое, что сил мало... Дадут, говорил чиновник нам, полторы сотни монет, а на них что поделаешь? Лесов у нас нет, семья у меня большая. На будущий год, може, перевернемся как — переселимся...

Ожидая, по телеграммам корреспондентов г. Столыпина, увидеть красивенькие, новенькие домики, усовершенствованные земледельческие орудия, плодопеременную систему, клевер, тимофеевку и пр. и пр., — я был глубоко разочарован, увидев этот пастушеский шалаш, две бороны с деревянными зубьями, маленький одноколесный плужок и ток, на котором в ручную, лопатами веяли овес.

— А может еще, — продолжал старик. — и помилуют вас, т. е. землю оставят, а суды, на отшиб-то не погонят... Не все ли им равно, здесь ли я живу, там ли?... А нам это тяжело. Разори там избу, — да уйди суды, на юры-то... Не слышно там об этом?

— Ничего не слышал. — Мы простились и поехали дальше.

— Вот старый чорт! — заметил Иван Иванович. — Говорил я ему: не осилишь, кум. (Кум он мне)! Нет, вишь, попробую. Ну, вот пробуй! Он все думает — не переселят, помилуют.

Поговорят, говорит, поговорят, да так и оставят... Они те оставят!.. Только полезь чорту в пасть-то!..

Через полверсты Иван Иванович снова остановился.

— Зайдите вот к этому, такой же голоштаный!

Пройдя поле, усеянное подсолнечными кореньями, я на берегу оврага, в котором бежал ручеек, нашел землянку. В крыше ее вставлено небольшое окно. Почти ползком я пробрался внутрь землянки. Привыкнув немного к темноте, осмотрелся и увидел картину нищеты и полного разорения. Маленькое, в квадратную сажень помещение, темное, сырой земляной пол; при каждом ударе затворяющейся двери с потолка сыплется земля, засаривая глаза и набираясь в волосы целой кучи белокурых ребятишек. Все они какие-то бледные, вялые, подслеповатые... Грязные, порванные рубашки, какие-то опорки на подобие сапог, вместо обуви... Сбившись в угол, на кучу тряпья, детишки удивленно посматривали на меня... Как раз под дырой в потолке, заставленной оконной рамой, сидел, обросший волосами, крестьянин средних лет и подшивал валенки.

Я поздоровался и объяснил цель своего приезда.

— Да как живем? Смотрите сами вот — плохо пока живем, а что дальше будет, — не знаю.

— Когда же думаете переселяться?

— Переселился уж, видите. Денег на избу только еще не получил. Весной, Бог даст, выстроюсь.

— А дом продали уж?

— Какой у меня дом? Так, избенка была — продал...

Лошадь у меня совсем пошла под исход. Что ни куплю, все не ко двору — колеют. А то нет то продал-бы: как ни как, а все

лучше этой норы-то. Иначе нельзя было: лошадь надо, а взять негде... Вот и продал...

Он сердито провернул в подошве валенка дыру, запустил в нее с обеих сторон концы дратвы, размашисто стянул и постучал по подошве молотком.

— Да, не любит меня скотина. Вот эта последняя лошадь: в пятницу купил ее, дал овса и схватило ее сразу животом, в субботу обрек ее на продажу, в понедельник вывел, продал. Пятерку убытку взял. Говорят, шерсть надо подбирать к мази; всякие у меня были лошади: серая, гнедая, каряя—уж они меня доняли. Не живет скотина. Свинью купил недавно — шесть целковых дал — вот какая свинья была — ужась! До Троицы дождала — околела... Корову завел — стень-стеню, корм тоже не плохой — и никакого прибитка. Околела!.. Люди в десять раз хуже меня кормят, и лошади гладки, а у меня и корм не в корм... Аль и так бывает: допустим, корм ей дашь хороший, она его в навоз обратит... Где же тут выдюжить! Народ мы куле-возовый... Вот и сажу без скотины!

— Ну, а с платой как управляетесь?

— Это за землю, что-ль?

— Да.

— Как сказать? Пока тянусь, а там видно будет... И не взял бы я этот отруб, да делать-то ничего не осталось... Ведь здесь какое дело? Если рассказать, целый рассказ получится!

Он швырнул валенок.

— Идите, я вам участок покажу, а то у нас и сесть-то не на что.

Мы вышли.

— Умер у меня отец. Остался я хозяином, да долгов тоже на свою шею захватил 900 рублей. Отец-то перед смертью завертелся с делами, да похоронить его надо было... Начали мы с женой работать. Что ни добудем — в эту прорву: долги платим. Хоть и не посылал мне Господь особого счастья, но в таком содержании, я мог бы из долгов вылезть. Но последние четыре года вытрясли меня из-за-нету: сгорела изба два раза, неурожаи, скотина ко двору не приходится; при отце всякий скот жил, а теперь ничего нельзя завести. Пришло время платить 200 рублей, а у меня и двугривенного нет. «Отдавай, говорит, за долг надел». А я-то, говорю, как? «А ты возьми отруб». Думал, думал — судиться неохота! Махнул рукой и все пошло прахом! Получил 24 рубля доплаты, работали с женой, затем желудей набрали сто мер, продали за 10 рублей, — скопили таким манером 98 рублей и взяли отруб. Теперь живем... Так что после отца, я в хорошем виде не пожил ни капельки, но на живом все заживет, лишь бы Бог дал здоровья!

— А чем вы пашете?

— Своего-то плуга нет, пока что, беру тут у одного мужичка.

— Своими силами обрабатываете землю?

— Нет, нешто осилишь! Около 16-ти десятин ведь. Нанимать приходится. Подсолнышки вот сеял этот год — опять плохой урожай! Не везет мне как-то!

Когда я сел в телегу, Иван Иванович не преминул сделать свои замечания.

— Вот взял отруб, подержит годик-другой, — бросит, и перейдет этот отруб тому же Фомичеву. Так что лет через пять

останется от этих 40 дураков человек десять, и вся земля будет ихняя, а остальные пойдут к церкви ручку протягивать!.. Но-о! Шалопай чортов!..

Осмотрели еще десяток отрубов, и везде та же картина временности, неустойчивости. Конечно, далеко не везде была та вопиющая нищета, которую я встретил в землянке «несчастливого» хуторянина. Отруба зажиточных крестьян представляют из себя громадные поля, куда люди приходят лишь на работу; шалаш или мазанка здесь не являются жилыми помещениями для семей, а служат временным пристанищем лиц, охраняющих наваленный кругом хлеб. Хутора для зажиточных выгоднее аренды. Уплатив 75 руб. за отруб сразу, крестьянин будет в дальнейшем платить 10-11 руб. за десятину в год. Имея для этого запасный капиталец, зажиточный мужик всегда сумеет перевернуться, и ему не придется отдавать хлеб за бесценок раньше времени. Вполне понятно, что отруба для таких крестьян благодеяние; они весьма охотно благодарят за них, посылают какие угодно телеграммы, а при осмотрах хуторов людьми, власть имеющими, заявляют, что «лучше хуторов ничего не может и быть».

— Ну, а как с переселением? — спрашиваю одного такого хуторянина.

— Зачем нам переселяться? Начальство нас не тревожит; построю здесь хороший хутор, с весны будем переезжать сюда, в виде, как на дачу, а на зиму можно будет поселить какого-нибудь гольтяпая, он и караулит... Решать хозяйство в Даниловке мне нет смысла, там дом, хозяйство, а тут хутор...

— Вы из Даниловки?

— Да, оттуда. Там у меня тоже земля. Это кто там землю продал, тому, действительно, есть смысл переселяться сюда, а нам смысла нет.

При таких условиях, хутор зажиточного крестьянина будет, конечно, процветать. Но зажиточный крестьянин хорошо жил и до земельной реформы, а ведь таких людей ничтожный процент; не они голодают; не в их среде болезненно чувствуется необходимость прирезки... В Даниловке больше пяти сот душ, и если из них, как сказано, 25 человек взяли отруба, то положение остальной то массы не только не улучшилось, но сделалось безвыходным... «Кому же, — думал я, — в конце концов оказывает выгоду так называемое землеустройство»? Ответ ясен: прямую выгоду, которую можно учесть уже сейчас, оно приносит зажиточным крестьянам, улучшая их и без того хорошее положение.

— Господа! — говорил мне один землеустроитель, — ваши рассуждения нелогичны: не понимаю, почему условия, хорошие для богатого — для бедного становятся плохими. Ведь те же бедняки, арендуя эти земли, платили 25 руб. за десятину, теперь они будут платить 10-11 руб. Ведь выгода прямая!

Арендная цена в 25 руб., конечно, кабальная аренда, и не мы будем ее защищать. Но что положение бедноты даже при этой аренде было лучше, чем теперь, когда земля разбита на отруба, — это несомненно. Во-первых, даже при желании все крестьяне отрубков взять не могут: отрубков лишь 60, а крестьян, пользовавшихся этой землей, многие сотни. Во-вторых, для громадного большинства сразу внести 100 руб. совершенно не по силам. В третьих, если даже бедняк «скопит» 75-100 рублей, — это в корень подрывает его хозяйство, а на хутор он переходит окончательно разоренным; так что даже при благоприят-

ных урожаях ему возможно будет лишь выплачивать банковский долг и с грехом пополам прокормиться. Всякий же урожай, всякое несчастье в виде падежа скота, пожара и т. п. ведет к тому, что бедняк пропускает сроки, и его гонят с хутора. В дальнейшем я приведу ряд данных, подтверждающих это; теперь же необходимо указать еще, что самый факт обязанности ежегодной крупной платы подавляюще действует на бедняка; после благополучной первой уплаты он уж начинает думать о следующей, и так — 55 лет! 55 лет постоянного беспокойства, постоянных опасений, что «не внесешь в срок и хутор отберут!». Рассуждения на эту тему приходится слышать чаще всего.

Снимая раньше десятину за 25 рублей, бедняк закабалял себя помещику. Часть арендной суммы приходилось отработать, часть уплатить наличными; если затрата сил окупалась тем, что бедняк имел кусок хлеба—бедняк был спокоен; если урожайный год давал ему некоторый избыток, на будущий год бедняк снимал две десятины. Теперь же, взяв отруб, он должен платить за 16 десятин, которых при одной лошади и скверных средствах обработки он не в силах обработать своими силами. На шею бедняка взваливается непосильная тяжесть, и не мудрено, что часть взявших отруба бросает их, или не уплачивает вовремя и лишается отрубов. Ниже я приведу ряд примеров бегства с отрубов и выгона с хуторов; в одной Орловской губернии таких примеров можно набрать значительное количество.

Таким образом, жизнь наметила уже два типа хуторов: хутора богачей, имеющие будущность, и хутора бедноты, влачащие жалкое существование, заранее обреченные на гибель, а отчасти гибнущие и теперь.

II

— Где же здесь настоящие-то хутора? — спрашиваю крестьян с Даниловкп.

— Настоящие-то? А это вот по дороге в Тугузку. Как доедете до завода, забирайте влево, там эти самые хутора и пойдут.

В это время к группе, с которой я вел беседу, подкатила телега, и из нее поспешно выпрыгнул низенький, безбородый мужичонка. Суется и торопясь, он привернул лошадь и подбежал к крестьянам.

— Будем здравствовать. О чем беседа?

— А ты с чего сорвался, словно угорелый?

Крестьяне засмеялись.

— Я так себе, домой еду. Вижу компания собралась, ну и подвернул.

— Компания, да ты то нам не компаньон, — острил отставной солдат. — Вот вы хутора спрашивали, — обратился он ко мне, — это тоже вот хуторянин... Помещик!

— Свези, Тимофей, барина в свое имение: ему посмотреть интересно!

За полтинник Тимофей согласился довести меня до своего хутора — 22 версты. Получив деньги, он повеселел и суетливо начал подтягивать супонь.

— Не довезет белогривый-то! — усомнился кто-то из крестьян. — Помещик, а лошадь, что твой одер...

— Белогривый-то? Белогривый, братцы у меня с обновочкой: две передние ноги подковал ему. Ногами забирает теперь превосходнейшим манером... Да, — добавил он философски, —

кому что требуется: подкуй корову — ногой не двинет, а лошади подкова ходу прибавляет.

— Тебя, видно, кто-нибудь подковал: больно ты скоро на отруб-то перескочил, — острил неугомонный солдат.

— Как поголодаешь побольше, и ты перескочишь, и не подкованный... Ну, поедемте!

— С Богом!

Мы тронулись. Потрусив немного по улицам Даниловки, белогривый поплелся медленным шагом: очевидно, две подкованные ноги мало помогали истощенному животному. Закурив трубку и сплюнув несколько раз на хвост белогривому, Тимофей заметил:

— Не любят меня мужички-то, обижать не обижают, я смеху много. — Затем, немного помолчав, прибавил: — А по моему напрасно: рыба ищет, где глубже, а человек, — где лучше.

— А лучше теперь тебе на хуторе-то?

— Нет, хуже!

— Зачем же ты перешел?

— Дело такое вышло: мало своей-то земли, чуть-чуть не вышел я в нищие, а тут денег обещали. Ну, я свою-то землю по боку и на отруб. Только дал я маху: выдали мне полторы сотни рублей, и чуть-чуть я на них построился...

— Ну и что-же?

— Ничего, вот увидите... А вы сами-то теперь от кого едете?

— От себя.

— Не то, что от банка?

— Нет.

— Просто любопытствовать, значит?

— Вот, вот... А вы из Даниловки?

— Нет, только жил я здесь раньше в имении, работал. А потом сторожем здесь в одном селе в училище служил. Учитель там тоже был один у нас—все любопытствовал на счет хуторов... Да так и погиб.

— Уволили?

— Нет, сам повесился.

Начал моросить дождь. Завернувшись в армяк, я смотрел на необъятные поля зеленеющих озимей... Все белые колышки, расставленные правильными рядами и четырехугольниками.

Почему-то вспомнился мне Аракчеев с его поселками, дорожками и березками.

Несколько неожиданно для меня Тимофей вынул из-за пазухи сотку, щелкнул о ладонь левой руки, выпил, закусил кренделем и, посмотрев на меня, произнес:

— С утра маковой росинки во рту не было. Занять сюды ездил рублишка три, а им смех.

— Видите большой столбняк-то пошел по полю? Это собственники от общественников размежевались: по правую-то сторону будут собственники, а по левую общественники... Тоже кутерьма идет теперь у них...

Он задергал лошадь, похвалил дождь и, придвинувшись ко мне, продолжал с видом мужика степенного и умного:

— И нельзя не быть кутерьме, — потому каждый день друг друга они подсиживают... Забежит, скажем, жеребенок от собственников к общественникам — те нет, чтобы взять прут,

да согнать, а загоняют... Штрафы кладут друг на друга, — известно, зло ширится. Я ни тех, ни других не хвалю... Все хороши...

На минуту мы замолчали.

— Вот подите, какая началась путаница: раньше были просто крестьяне и все... А теперь пошли собственники, хуторяне, общественники, и все друг на друга зубы скалят. Вот какая началась свара... Нечего сказать—заварили кашу...

Поднявшись на полугорье, мы увидели разбитое на отруба поле. Часть отрубов была уже разобрана: повсюду были разбросаны ометы соломы, груды колоса; кое где торчали шалаши, выстроенные для временного пристанища караульщиков, два-три запоздалых пахаря взрывали землю под озимь. Все поле производило впечатление громадного гумна, на котором редко-редко разбросаны стожки сена, груды соломы, одонья хлеба... Жилых помещений, за исключением хибарки Тимофея, нет; очевидно, владельцы отрубов или «не собрались еще с силами», или боятся строиться «до совершения купчей».

В этом месте разбросаны были все отруба, по часть крестьян принуждена была бросить их.

— Посыкнулись было из Огаревки четверо, да на попятный...

Мне самому пришлось разговаривать с этими четырьмя огаревцам:

— «Не осилишь! Ведь это какой хомут-то! Надеть-то его можно, а выдюжишь-ли? Мекали мы и так и сяк — ничего не выходит. Судите сами: одно дело деньгами доймут, а затем—переселение это, должен я все продать, сломать и жить там, как медведь. Тяжело без людей-то. Здесь я выйду вечером, —

народ свой, с тем слово перекинешь, с другим о другом поговоришь; беда хоть какая — все на людях легче.

— И то надо еще сказать: народ в обиду входит! Не любят у нас, чтобы из общества выходили, либо хутора брали: зла то, может, они и не сделают, а глядеть будут зверем. Житье ли это? Думали, думали: соки, мол, из тебя сосать будут, а удовольствия никакого. Ну их к Богу! Отказались...

— Благополучия нет, вот что главное! Вот у меня три парня — отрубов на них не дают, а парни на возрасте лет. Подрасут — что я буду с ними делать? Разбить по пяти десятин, три избы поставить? Ведь это, — если Господь пошлет мне веку, через семь лет будет на 15 десятинах то четыре хутора...

— При такой малой земле, что же будет? Платить за нее плати, а просвета никакого... Чуть что, сейчас скажут: ты собственник, тебе прирезки не может быть...

— Да, не подходит нам!

Несколько человек д. Тугузки тоже взяли было отруба, внесли по 30 рублей задатку, но тоже отказались. Мотивы, приблизительно, те же самые.

— Примеры у нас есть теперь, глядим и все видим: кто побогаче-то хорошо устраивается, им можно и отруба брать, а бедноту до крайности засасывает. Вон огаревский Иван Иванович — ему можно и отруба брать; вы не глядите, что он в лапотках ходит и одной полы полушубка не достает: у него денег груда. Недавно как-то человечек из города сотенную менял, Иван Иванович лба не поморщил, отсчитал ему. Вот эти люди с наличным-то капиталом устроятся. И им эти отруба — лафа! А нам где-же? Кто победнее-то, видите, как живет? Хоть

того-же Тимофея возьмите — тянется, тянется; в ниточку вытянулся человек, а, того и гляди, выскочит с хутора-то.

— Задаток вернули вам?

— Вернули. Чиновник и спорить не стал: «наша, говорит, земля без людей не останется; не хотите — дело ваше: вот вам ваши деньги».

— На наделах, значит, остались?

— На наделах. Не знаем, что и делать? Туда лезть не по силам, а здесь не прокормишься. А ведь мы не то чтобы нищие, победнее нас в Тугузке много найдется. Они-то что будут делать?». Ехавший со мной Тимофеем все эти сетования находил совершенно справедливыми.

— Известно, в угол двинуты... А только поделать нам ничего нельзя.

— Где-же твой-то хутор?

— А вот за горкой-то. еду утрость тут, а Дермидонтов Ванька с женой стоят около озими, да ревут. Клин то этот ихний был, а они продали его Захару Ивановичу. Теперь уж его озимь-то. А они ходят теперь всходы глядеть, да ревут.

— У них нет теперь земли-то, значит?

— Известно, нет. Откуда ей быть, земле-то? Отруб берут теперь, да никак, слышно, проулюлюкали денежки то, теперь вот и воют. Известно, дурье!.. А вот и хуторок мои...

— Я первый на хутора-то осмелился, — самодовольно говорил Тимофей, показывая мне свои владения, — там мужики кричат, кто одно, кто другое. А я говорю: коли, говорю, на то пошло, — переселюсь, ваше благородие, позвольте деньги. Первый я; видите, ни одной избы нет кругом, а я уже тут посиживаю.

Владения Тимофея, по совести говоря, вид имеют довольно жалкий. Изба, правда, новая, крытая свежей соломой, но до такой степени маленькая, что напоминает более детскую игрушку, чем человеческое жилье. Надворных построек никаких, если не считать какого-то небольшого шалаша, не то крытой ямы, где ночует скотина. Двор не огорожен. Около избы свалена куча глины, часть ее размята ногами Тимофеевой жены, а сама жена обмазывает избу. Две девочки ведром таскают глину. Худая, измученная женщина, в последнем периоде беременности, приняла сначала меня за землеустроителя и нахмурилась. Узнав затем, что приехал «просто так», как-то жалко улыбнулась и пригласила в избу.

— Вишь ты, сволочи! Опять кто-то по озимым едет! — закричал вдруг Тимофей и бросился к дороге.

— Это Ванька галчонок: он всегда нарочно.

— Эй ты—куда те чорт несет! Аль нет для тебя дороги-то.

— Да лошадь вот...—слышалось что-то с захавшей на озпмь телеги...

— Я те дам лошадь...—Прет на озими, как тот...

— Ну, ты помалкивай!

— Проваливай, проваливай, язевый лоб!

Мужик лениво свернул на дорогу.

— Вот всегда так. — обратился ко мне Тимофей, — словно им слаще по озими то ехать... Ведь и лошади тяжело, а все со зла... Прямо нехристи!

В избе Тимофея было несколько уютнее, чем в землянке хуторянина. Здесь стол, лавки, кровать. На стенах лубки: «Мучение св. великомученицы Варвары», «Семь ступеней

жизни человека» и карикатура: громадный казак проглатывает нанизанных на копье японцев.

Третья дочь Тимофея, девочка лет семи, ставила самовар.

— Видите, вот наше житье; не гневим Бога, только бы выбраться малость. Колодезь вот скоро начну рыть. Теперь неудобство это: за водой ездить приходится; бочонка настоящего нет, а в кадлушке, пока везешь — расплещешь все. Мы уж и полотнищем закрывали, нет, — все пол-кадушки расплещешь. Дорога у нас вода, экономить приходится. Тоже много требуется воды то; скотину гоняю туда поить, да теперь уж ворчать начали общественники. Воды им жалко, прости Господи! А так ничего, живем хорошо: хлеб есть...

— Дай Бог. Поправляйтесь!

— Вот насчет дров тоже. Каждый прут покупной: хорошо еще здесь в пяти верстах пристань в лесу. За три раза дали мне пять возов сушника, а то ведь в город за дровами то придется ездить.

— Это как за три раза?

— А три раза в город дрова я им отвез, а за это в виде благодарности сушник мне дали. Надо на зиму то запастись.

Из суетливого мужичонка Тимофей здесь, в «своих владениях», превратился в печально-задумчивого мужика, которому, несомненно, многое «сосало сердце».

Тяжелое впечатление производила его одинокая лачужка, печально торчащая на холмике. Кругом ни кустика, ни овражка, — ничего, что могло бы хоть сколько нибудь разнообразить картину тоскливого одиночества. Люди попадают сюда лишь случайно: либо из «озорства», либо поправить порвавшуюся в дороге упряжь. Одиночество, видимо, давило и Тимофея.

— Ведь это, пока что, мы одни то: к весне начнут другие переселяться. Как же? Народу много будет. Не век же одни. Мне то все равно. Жена, вон скучает; подруг, ей, вишь, не достает. Что поделаешь? Потерпеть надо! И хуже жили, а помог Господь!.. Ан, дело и поправилось...

— Ну, уж хуже то не жили, — заметила жена.

— Как не жили? Да взять хоть с отцом то — нешто сравнительно? Отец мой, — обратился он ко мне, — надо прямо говорить, был лютый пес. Хоть и грешно отца ругать, но нет у меня для него иного названия. Пес смердящий— больше ничего. Деньгу имел, а скаред был лютый; до того доходил, что кур по утрам щупал, чтобы мы не могли яичко украсть; все у него было на счету, все под замком. Работаем, бывало с женой день и ночь, а отрады никакой: каждым куском делает попрек. Чем старше, тем жаднее становился; в конце концов, озверел, как волк, жену мою начал бить. Я сам-то человек тихий, а он бивал ее смертным боем. Ну, а меня он ничем пронять не мог: он лается, а я молчу; он с кулаками, а я на печку под тулуп. Видит он, что не такой я человек— какую выкинул штуку? Раз при людях отлил мне пулю: «слышишь, говорит, Тимошка, ведь ты мне не сын; не сын, говорит, ты мне; твой отец, говорит, Терешка Слюнявый». Стоим мы с матерью — лица на нас нет: стыдобушка! Однако, затаил я это дело в своем сердце. Начал он вечером приставать к жене, а я подошел к нему и говорю: «так я, говорю, не сын тебе?»—«Нет, говорит, Тимоша, не сын». — Здесь я развернулся, да ка-а-ак ему дам по харе! Он с ног. «Отца родного я бы не ударил, а чужому человеку довольно над нами измываться». Вот как жили, а ты говоришь, хуже не было.

— Тоска больно ест, живем, как звери. Хоть бы лес был, что ли, а то ведь зимой здесь ни въезду, ни выезду... Человека редко увидишь, а и придет кто, так не с добром.

— Погоди малость. Весной вот огород разведем, палисадник, цветов насадим...

— Насадишь!..

— Что вы сеяли этот год? — прервал я тяжелый разговор.

— Яровое ныне у меня было: просо, овес. Больше-то овса. Уродился хорошо, а цена соскочила: по 40 без копейки продал.

— А чем пашете?

— Я сохой жарю. Весной вот думаю плужок взять, а пока не собрался. Чиновник тоже говорил нам «плуги, говорит, надо покупать». Не все сразу, понемножку обзаведемся всем.

— Говорили здесь, что годок другой поплатим, а потом отмена будет. Не слыхали? — спросила жена Тимофея.

— Не слышал.

— А здесь говорили.

— Может быть. Дай Бог.

— А то ведь эдак-то из сил выбьешься.

За чаем Тимофей долго рассказывал мне о «своей жизни». Много горя пришлось испытать этому человеку. «Только одна печь по мне не ходила, а то всем били». И вот он убежал от людей. Убежал, а тоскует о них, хотя и скрывает это под видом внешнего безразличия. Переселился на хутор, думая здесь найти «тихую пристань», старается уверить себя, что «теперь все пойдет по-хорошему» и в то же время сомнение отравляет его спокойствие, в перспективе лишь «злоба» общественников, да ежегодный взнос 150 руб.

— Выдержит-ли Тимофей? — спрашивал я сам себя. Сам он, обстановка, перспективы будущего, все говорило — едва ли, скорее не выдержит!..

Я ночевал у Тимофея. Рано утром разбудил меня его нервный визг.

— Ведь этак жить нельзя! Опять лошадей по озими пасли! Что же это такое? дождей нет; земля — пыль; ведь она — лошадь то — теперь озимь с корнем вырывает. Я жаловаться буду. Знаю я, чьи это проделки...

Сердитый запряг он для меня лошадь и всю дорогу неистово хлестал ее прутом.

— Ну, и народ! а!? Долго ли так разорить человека? нет, я буду по-иному: возьму топор, и как увижу кого, прямо по башке!..

— Вы бы добром как-нибудь.

— Ну их к чорту! Собаки...

А в Даниловке, среди крестьян, он снова превратился в суетливого мужичонку, робкого и забитого. Парни смеялись над ним, над его лошадей, сбруей, а он молчал и виновато улыбался...

III

Мне надоело ездить по местам, где хуторяне делают лишь «первые шаги». Нищета их, суетливость, беспричинное метание из стороны в сторону, жалобы на банк, на общественников, — все это наводило мучительную тоску. Хотелось поскорее увидеть хоть какое-нибудь довольство, силу и уверенность в себе. Пойдешь в деревню — там крестьяне, угрюмые, озлоб-

ленные, жалуются на полную безвыходность, па то, что «хутора эти в разор их разорили». На хуторах — или жалобы на общественников, или молчаливая, тоскливая угрюмость...

Где же довольные «с бодрыми лицами»?

— Что же? Свезу! — ответил мне лесник Андрей Иванович на просьбу свезти меня на ближайшие хутора.

Мы выехали на его «кривушке».

Хутора эти расположены верстах в трех от деревни Тугузки. Построены они на земле, принадлежавшей ранее Даниловской экономии. «Кривушка» домчала нас довольно быстро. Здесь поселок из четырех изб. Расположены они подряд, образуя маленькую улочку. Перед домами роется колодец, позади их протекает небольшой ручеек. Дворы еще не обгорожены, но есть уже кое-какие надворные постройки.

По обыкновению, хуторяне приняли меня сначала за банковского чиновника и начали излагать мне целый ряд жалоб. Узнав же, что я «от журнала», примолкли и лишь после довольно продолжительного знакомства стали говорить со мной более откровенно. Все они люди более или менее зажиточные. На четыре двора они взяли десять отрубов (больше 150 десятин), при чем двое взяли по три отруба, на себя и сыновей.

Домики их новенькие, но крыты соломой и отличаются микроскопичностью: все четыре домика построены из осины — самого дешевого материала; один сарай, один амбарчик. У каждого домика сени, покрытые, но еще не огороженные. Около двух изб лежат плуги; на улице валяется испорченная ручная веялка.

Трое из этих хуторян имеют надельные земли и избы в деревне, четвертый же, наиболее бедный, продал избу и зем-

лю. Изба этого четвертого еще стоит без окон, и самого его видеть мне не пришлось.

— За окошками в город поехал: холода наступают...

Хуторяне показали мне амбар. Весь он занят грудой овса, оставленного «для себя». Овес плохо провеян и плохо очищен.

— Для себя ведь, не на продажу — объясняют хуторяне.

Имеют хуторяне голов 15 скота, который распределяется крайне неравномерно: у одного шесть голов, у другого две. Сделать какие-либо выводы о них довольно трудно, но у троих из них, очевидно, все признаки зажиточности.

— Ну, как поживаете?

— Ничего себе. Ведь начали только, не знаем, как Бог даст.

— Что сеяли этот год?

— Яровое — овес, подсолнышки; урожай, слава Богу.

— Продали?

— Продали. Овес низко стоял, а подсолнышки продали рубль шесть гривен.

— Грызовые сеяли?

— Масличные. Грызовые опасно: ухода много надо за ними.

— В банк внесли?

— Внести-то внесли. Да не пойдем ничего. Заплатили рублей по двести, а говорят опять надо скоро платить.

— Вы как взяли-то?

— Как взяли? Как все берут. Сказали нам, по 10 рублей за десятину в год придется; вот и взяли.

— Живете, значит, хорошо?

— Жить бы можно, кабы вода была. Начали, вон, колодезь копать, а воды нет. Что тут делать? Бежит, вон, позади нас ручеек, и вода в нем хорошая, и плотинку мы поставили, а пользоваться нельзя. Ручеек-то, вишь, бежит через Даниловский винокуренный завод, так там спускают в него барду. Ну, и мутят воду. Как спустят, так горе одно — в рот взять нельзя, и скотина не пьет. Жаловаться теперь хотим.

— Вы бы с заводом поговорили сначала.

— Говорили. Наш, говорят, ручей, что вы с ними поделаете?

— Что же вы делаете, когда спускают эту дрянь?

— Ездим за водой. Верст за пять приходится ездить-то: из колодезей в Тугузке нам не дают, так в пруд приходится ездить.

— С тугузцами-то, значит, в ссоре живете?

— Мы-то что же? Мы ничего. Они вот на нас зубы точат. Плохого мы им ничего не сделали, а они все грозят: прямо говорят, что в случае чего — на вас раньше помещиков пойдем.

— По дороге вот тоже, — добавил другой хуторянин, — не дают нам ездить. Не смей-де ездить-то? Говори, говори, да молай...

— Ну, уже это дело их: хотят позволят, хотят, нет.

— Как их?

— По дороге все ездят! Ведь вы вот не общественник, а ехали по дороге, — почему же нам нельзя? Не убавится от этого дороги-то!

— Просто злость они на нас имеют. Землю эту они, вишь раньше снимали...

Из дальнейших разговоров я узнал, что трое хуторян зимой будут жить в деревне, а здесь поселят сыновей или родственников, а лишь четвертый будет жить здесь «завсегда».

— Опасно все-таки дом от деревни продать! Пусть будет и здесь, и там. Раз уж нужда одолеет, тогда другое дело, а пока потерпим.

— А наделы?

— Наделы тоже нам надобятся. Сдаем мы их. Земель теперь порожних нет, цена стоит хорошая, вот и сдаем своим же мужикам. Так что продавать нам не рука.

Хуторяне эти — народ многосемейный; но у троих из них дети уже взрослые и не нуждаются в образовании. Четвертый же имеет ребятишек школьного возраста, как раз он-то именно и продал свой деревенский дом и наделы; для него вопрос об учении ребят стоит ребром. Мужик он умный, рассудительный; сам он заявляет, что учить ребят необходимо, но «совершенно ничего не может сделать».

— Если для четырех домов школу-то выстроить, так это обойдется дороже, чем в гимназии. А в село посылать не рука: на хлеба отдать не по силам; возить каждый день — возни больно много, а пешком нет-то зимой их пустишь? Здесь волков одних прорва; да как метель понесет, матушка, так большой с дороги собьется... Не знаю, что уж и делать!

— Да еще общественники говорят, что в свою школу не будут пускать наших ребятишек. Свою, говорят, строите.

— Ну, школа-то. положим, земская.

— Земская, а они не пустят. Что ты с ними поделаешь? Не то что в школу, в церковь не хотят пускать. Молиться — молись, а венчайся вокруг сосны. А у нас и сосен-то нет к тому же.

— А венчаться и в городе можно.

— Известно, не будем жить не венчаны. Только к тому я, что злоба-то их какова? Прямо ведь не мытьем, так катаньем донимают...

— Поговорив со мной о разных делах, самый пожилой из хуторян спросил:

— Вы говорите, вот от газеты ездите, по хуторам-то?

— От журнала. Раз в месяц выходит.

— Зачем же журналу этому деньги тратить, посылать вас?

— Чтобы все знали, как вы живете.

— Правительство, значит, об нас беспокоится...

— Нет, не правительство. Это частные люди.

— Народу теперь к нам ездит — Господи твоя воля! То один, то другой... На-днях, вот тоже, генерал приезжал от «союза русского народа». Представительный господин, толстый такой... Погоны—во! — показал он на четверть вышины от плеча. Через плечо — он показал расстояние от плеча до жилета — лента; на груди — растопыренными пальцами он провел по груди — ордена. Предлог делал насчет «союза». Записывайтесь, говорит.

— Ну и что же вы?

— Записались. Главное потому, что пужал он насчет земли, а затем и слова такие: «за царя, говорит, за родину постоит»... Так что записались.

— Напрасно.

— А что? Аль обман какой?

— Конечно, обман. Я разъяснил, что такое «союз» и каковы его цели.

— Вишь ты! И мы что знаем? Известно, народ темный! Вот опять придет — спросим его: зачем чиновники к нам всякие ездят?

— Народ мы любопытный, — сострил парень.

— Не то, что любопытный, а вновь все это, ну, господа — и имеют интерес.

— Нужно посмотреть, как вы живете и другим дать совет, стоит переходить, или нет?

— Это точно. Мы тоже вот боялись, а теперь, на нас глядя, может, и еще кто выищется...

Вопрос о топке для жилых хуторян, как и для Тимофея, стоит ребром. Последний ближайший лес сводится. Ближко время, когда хуторянам за дровами придется ездить в город.

— Запасаем, пока что. Да на десять лет не напасешь. — При прощании старик спросил меня:

— Не слышно там — говорят, что заставят нас наделы продать.

— Не знаю.

— А вы уж, пожалуйста, при случае насчет барды-то скажите там. Как-нибудь, мол, устроимся — только пить нечего: вода сидит низко, а здесь барда.

— Хорошо, напишу.

— Уж сделайте милость.

— Скажите, по вашим, вот, словам, вы и в деревне хорошо жили, — а зачем же вы перебрались сюда?

— Да все как получше хочется! Своей землицы хочется. Купили вот, выплатим — она и наша; своя кормилица... А там мало; на съеме были, а теперь и съему нет. Поэтому и перешли.

— Думаете выдержите?

— Мы-то, Бог даст, осилим, а сосед — вот едва ли!

— Обнищал больно — ни у него телеги, ни у него топора, за всем по дворам бегаёт. Вот теперь яровое было у нас и рожь-то ему покупать приходится. А там опять платежи! Трудно и нам, а ему — не дай Господи!..

От этих хуторян я поехал в небольшой хуторской поселок близ Ключей, где проживал несколько дней у очень интересного хуторянина Егора Ивановича.

Егор Иванович — дворовый. До переселения на хутор он не заседал около 20 лет, но хлебопашество любил «всей душой». Идеалом его было — сделаться хозяином и на собственной земле молотить свой хлеб.

— Больше мне ничего и не надо было! Да где уж — думаю, бывало — не доживу: 55 лет мне, сколько думал сколотить деньжонок, да так и не сколотил... А глядь — ати хутора...

Егор Иванович видал всякие виды: он служил тюремным надзирателем, служил полицейским; с этой должности его уволили за неблагонадежность старшего сына. Он думал, что «век придется дожить в лесниках», — его последней должности, но судьба решила побаловать его перед концом жизни.

Когда Егор Иванович служил лесником, «с мужиком был строг», но до обычной теперь дикости и бесшабашной наглости никогда не доходил. «Если я ловил мужика, то представлял его в контору, — вот и все... А иногда и отпускал». Бить же «не позволяя себе никогда», за «мелочи», как вязанка дров, или пара лык, «под штраф не подводил», а иногда и сам разрешал «набрать сушинику истопели на две». Но особенно приятно в нем было то, что к крестьянину он никогда не питал ненавист-

ной злобы, столь характерной для помещичьих служащих, воспитанных при новых порядках.

Он любил крестьян, входил в мелочи крестьянского хозяйства и уважал их несравненно больше, чем полицейских, стражников, и прочих чиновных людей деревни...

Уединенная жизнь в лесу как бы подготовила его к уединенной жизни на хуторе. Он любит читать и до сих пор все свободное время проводит за чтением книг, преимущественно библии и евангелия. Книги эти он знает прекрасно и часто цитирует из них подходящие к разговору места.

Я знаю Егора Ивановича лет десять, и мне было особенно интересно, как будет отзываться о жизни на хуторах этот влюбленный в землю и привыкший к одиночеству человек.

Представьте же себе мое удивление, когда он с первых же слов начал приводить обычные для хуторян жалобы.

— Да ведь вы. Егор Иванович, двадцать лет дорывались до земли?

— Так что же? Земля землёй, а хлеб-то нужно тоже. — Неужели же и хлеба нет?

— А вы что думали? — И Егор Иванович высчитал, что за покрытием платежей, у него останется едва-едва на семена.

— Затем то посудите: Нюрку вот учить надо, а сил нет... Ведь в городе надо держать, ближе нету школы, а ведь это 6 руб. в месяц. Где их взять?..

— Ну, а в лесниках вы были, что стали бы делать?

— Тогда у меня домишко в городе был; квартиранты жили, они за квартиру взяли бы Нюрку. Теперь сюда переехал, дом продал, — одна и отрада только, что сам хозяин... Куда ни

кинь, ничего нет: в церковь сходить 6 верст; пожарной поблизости нет: скажем такое дело — кладбища, и того нет... Трудно!

Затем Егор Иванович перешел на общую тему.

— Всем плохо! Злое время! Сказано: придет время, благодать св. Духа уничтожится... Вместо жертвенников воздвигнуты будут кумиры... Вол, привязанный у яслей, не сможет нести своего ярма... Пришло это время, ой, пришло! Св. отец, толкуя это место, говорит, что, вол это — духовенство. Бывало патриархи обличали, стращали судом Божиим, ни бояр, ни князей не страшились; а ныне все на того, кто послабже: на мужика... Был у нас тут голод, мордва мерла, как мухи, — вот бы отцу духовному возвысить свой голос, монастырю открыть свою житницу, — а они народу хлеб из проценту давали... Гибнет мужик!..

Вечер. Жена Егора Ивановича — ровесница ему по годам — стройная женщина, со следами былой красоты, поставила на стол самовар.

Избушка Егора Ивановича маленькая, но довольно чистая; зеркало, часы, шкаф, — предметы, приобретенные десяток лет назад. На угольнике стоит откуда-то попавший бюст Толстого, по стенам полочки с посудой и книгами. Вообще было довольно уютно.

За чаем мы отвлеклись от хуторской темы и горячо спорили о религии. Вдруг, в самый разгар спора, громадная собака Егора Ивановича, Громилка, с злобным лаем пронеслась мимо окна и бросилась к дороге.

Мы выбежали на двор.

— Что за люди? — крикнул Егор Иванович.

— Уйми, пса-то, Егор Иванович, эк его расходился... Свои, свой... Долой ты, леший...

— Громилка, назад...

Подошел мужик низенького роста, с горбами на спине и на груди... Маленькое толстое лицо его — без усов, без бороды, больше походило на личико истощенного ребенка, и говорил он каким-то тоненьким, певучим голосом.

— С чем пришел, Петрович?

— Несчастье, Егор Иванович, корова что-то дуется...

— Так за ветеринаром надо...

— Вот лошадки не дашь-ли?

— Возьми, возьми...

Петрович поспешно начал запрягать «кривушку».

— Что у тебя с ней?

— И ума не приложу: схватило в одночасье, и мыла давал, а все нет...

— Дуется?

— Как гора... Пыхтит, пыхтит, а толку нет...

— Ну, поезжай с Богом...

Долго Егор Иванович смотрел в след удалявшемуся Петровичу и задумчиво качал головой.

— Не дай Бог, не дай Бог... Последняя корова...

— Пойдемте к нему, Егор Иванович...

— Да надо пойти... А то одни они там; у меня хоть Громилка...

Мы отправились.

— По поверите, до какой степени привык я к лесу!

Жить без него не могу... Выйду, вечером, и кажется мне, что деревья качаются и шумят... Скучно без леса-то.

— Скучно?

— Скучно. Лесок бы, ручеек... Ну и повеселее... А так скучно...

— Ходят к вам соседи-то?

— Так изредка; больше по делам: кто за ведром, кто за телегой... Все я хорошо справил, да, видно, не на прибыль пойдет, а на разор — не осилишь. Стареть начали с бабой; из сил бьемся, а прибыль небольшая. Нюрку бы на ноги поставить... А есть и хуже нас; нас за богачей считают, думают: в лесниках деньги скопил...

Маленькая избенка без двора, без построек — вот и весь хутор Петровича. Окна заткнуты тряпьем и соломой! Внутри — печь, кровать, стол, лавки, — все привезено «из дому», т. е. из деревни. Ребят пятеро. Один грудной лежит в зыбке, а четверо вместе с матерью стоят вокруг занявшей почти всю свободную часть избы большой коровы.

С мучительной тревогой семья смотрела на корову. Мать подносила ей ко рту кусок соленого хлеба...

— Возьми, рыженушка, возьми...

Корова лизнет хлеб, мотнет головой и снова опустит ее, тяжело отдуваясь.

— Не берет, Гавриловна?

— Нет!..

— Эх, горе-горькое...

До приезда ветеринара мы беседовали на всевозможные темы. Гавриловна рассказывала мне историю переселения на хутора.

— Ведь, сами вот видите, и Егор Иванович скажет, что все правда... До того дошло, что отрубей не стало... Голодали по три, по четыре дня... Верите-ли? Бывало, сам-то завернется с головой в чапан и лежит, а я обойму ребятишек руками и воем... Смерти ждали...

— Ну, ты, Гавриловна, не вспоминай это... Прошло время это и — слава Богу!..

— Я к тому, что они вот спрашивают: почему мы порешили? Жили мы раньше в Петровске и держали крендельной курень — жили хорошо... Затем пошли эти курени чуть не в каждом доме—дело подшиблось... Продали мы курень, собрали деньжонок, сняли землю под бахчу. Посадили арбузы... Хорошие было арбузы взошли — душа любовалась. Вдруг — погибли в одночасье: градом посбило. Здесь, одно к одному, телку у нас увели...

— Придет, говорят, беда — растворяй ворота...

— Да!.. Пишем в Сердобск к деверю — выручай! Никакого ответа... Метнулись туда, метнулись сюда — ничего! Вот здесь мы и взвыли... Грешница и я — берет меня зло, а я все на него хочу свалить. — Что ты, говорю, лежишь все, как байбак? Ведь пролежни скоро будут!? — «едем, говорит, в деревню»... — Подумали, подумали — другого выхода нет...

— Всегда так вот: поедет человек легкой жизни искать, а глядь, дело-то и того... не так поворачивает...

— Приехали в деревню... Работали лето, сколотили деньжонок, признали — открыли лавочку... Все было хорошо, да

начали мы приторговывать книжками. Во время забастовки спрос на них был большой... Глядь — обыск, мужа увезли в Петровск...

— Шепнул, видно, кто...

— Не иначе. Покуда держали его там, здесь все разорилось... Приехал через два года — везде хоть шаром покати... Ну и решили осесть на землю... Как здесь Господь устроит нас — неизвестно...

Долго Гавриловна монотонно говорила о «своей жизни». Много горя пришлось испытать ей с мужем; нужда цепью схватила их своими щупальцами, и едва ли хутор поможет этим людям «вздохнуть хоть немного»... А впрочем,— судите сами. Вместо ожидаемой ссуды в 150 руб. Петрович получил лишь 75: на переселение и постройку пришлось занять; он занял под залог надела на каких-то чудовищных условиях. Переселение и платежи банку поглотили все. А земля под хутором оказалась «после ржи», так что Петровичу пришлось сеять «рожь на рожь». Естественно, что урожай был самый ничтожный: чечевица уродилась хорошо, по цене на нее стояла низкая, так что первый год не только не дал какого-либо излишка, но на покрытие платежей пришлось продать лошадь... «15 десятин не дали ничего», — говорит жена Петровича. Не дали они, конечно, Петровичу с семьей, а банк свою долю получил... Теперь Петрович надеется, что «поможет земство». Дали бы рубликов сорок — лошаденку бы купил... А то дюже тяжело»!..

Вслушав «историю» Гавриловны и Петровича, я простился с ними, а через несколько дней простился и с Егором Ивановичем. Хотелось посмотреть, как живут хуторяне в других

губерниях. Я поехал в Казанскую, а потом в Орловскую губернии.

IV

В той части Ливенского уезда Орловской губ., которую пришлось мне посетить, под хутора разбито четыре имения: Великого Князя Андрея Владимировича — пять тысяч десятин: Полякова — 900 десятин; Набокова — 400 десятин и Корфа — 600 десятин. Всего, следовательно, под хутора разбито около семи тысяч десятин. Размер хуторской площади для Ливенского уезда определен максимально в 9 десятин: такая площадь под каждый хутор и отрезана; отступления допущены лишь в тех случаях, когда по условиям размежевания не представлялось возможным достигнуть полного уравнивания, — тогда под хутора отводились клинья в 10-12 десятин.

Таким образом, нарезано было побольше шестисот хуторов, которые и разобраны местными и приезжими крестьянами. Как и везде, большая часть разбитых под хутора земель раньше находилась в пользовании окрестных крестьян, которые арендовали по 1-2 десятины: теперь земли эти перешли в пользование всего 600 семей, из которых большая половина приезжих из других губерний и уездов. Это обстоятельство, главным образом, и создает почву непримиримого антагонизма местных крестьян к хуторянам.

Как в Казанской. Саратовской и других губерниях, здесь с первого взгляда бросается в глаза упорное нежелание переселяться. Землю берут охотно, но переселение идет туго. «Собирая все силы», крестьяне «переходят на пять процентов», переплачивают массу лишних денег, лишь бы остаться в де-

ревне. В результате — участки разобраны все, а переселилось всего 160 человек, главным образом, приезжих, или тех из окрестных крестьян, у которых «не было никакой возможности отвертеться».

Все разговоры о преимуществах близости земли к жилью, все подсчеты малой затраты рабочих сил не ведут ни к чему. По этому поводу мне пришлось говорить с заведующим участком.

— Что вы поделаете? — говорил он —своей собственной пользы не понимают. Говоришь им, говоришь, а они все на своем. Опасно, — видите ли! Чего же, спрашиваю, вы опасаетесь? «Перейдешь, говорит, а глядь силов-то и не хватит. Тогда и с хутора-то сгонят и в деревне всего лишишься». Вот вы и поговорите с ними: прямо, хоть кол на голове теши...

— Значит, большая часть участков отдана без переселения?

— Пока, да. Да что вы хотите? Сначала, как разбили землю-то, совсем не хотели брать; некоторым я прямо насильно навязал: затем другие уезды оповестили. из других мест начали переселяться, а наши уперлись, как быки, и стоят! В то время у нас распоряжение было, чтобы главным образом отдавать участки с переселением, поэтому о пяти процентах мы не разглашали. А теперь, как узнали про пять-то процентов, так и повалили валом. Каждый теперь только и ждет, чтобы кого-либо согнали, а он норовит перехватить его участок.

— Но ведь без переселения цели правительства не совсем достигаются?

— Видите, в чем дело: в циркуляре комитета по землеустроительным делам (от 12 июня 1907 года за А» 17) сказано,

что доход, который крестьянский банк выручает от сдачи купленных им имений в аренду, не покрывает платежей, которые самому банку приходится нести по выпускаемым свидетельствам. Это и операции банка затрудняет, и крестьянам не выгодно, так как все убытки накладываются на земли, и продажные цены приходится повышать. С другой стороны, сдавать земли до тех пор, пока найдутся желающие переселиться, невыгодно еще и потому, что крестьяне при аренде землю истощают; выпашет участок, а потом и продавай его, как знаешь. Поэтому лучше без переселения продать, лишь бы продать... Вот этим мы и руководствуемся! А кроме того это не так уж и опасно: если они сейчас не переселяются, потом переселятся. Из семей будут выделы — вот их и будут сюда отделять: как увидят преимущество единичной собственности, то потекут!

— Чем же вы сами объясняете это упорное нежелание переселяться?

— Глупостью мужицкой! Ведь у нас в 61 г. и на волю многие не хотели идти.

Однако, разговоры с крестьянами показывают, что руководят ими в данном случае более существенные обстоятельства. По их словам, сделка сама по себе закабалает с двух сторон: во-первых, непосильными денежными платежами, а во-вторых, полным отсутствием свободы в пользовании и распоряжении землей. Земли участка, о котором идет речь, продаются крестьянам по цене 170-220 р. за десятину, смотря по качеству их. Вполне понятно, определение качества в высшей степени условно, и крестьяне неопровержимо доказывают полную в этом смысле беспорядочность: плохие земли оценены в 220 р., хорошие в 170 руб. и т. д. В течение первых

двух лет, до получения «данных», земля считается в арендном пользовании, и платить за нее приходится 6% оценочной суммы; при оценке в 220 руб., за хутор в 9 десятин приходится платить 118 руб. 80 коп. в год. Если принять во внимание только площадь ежегодного посева (6 десятин), то арендная цена будет около 20 руб. за десятину в год. Цена для этих мест несколько ниже обыкновенной, но для бедного крестьянина она непосильна, потому что ему приходится брать такое количество десятин, для обработки которого не приспособлено его хозяйство: нет ни скота, ни орудий обработки... Приходится или сдавать часть земли, что запрещено впредь до окончательной уплаты рассроченного долга и погашения залога) под страхом «обращения на заложенное имущество взыскания», или часть земли оставлять незасеянной. Понятно, что при таких условиях, крестьянин едва-едва уплачивает аренду, а за работу «часто и соломы не остается». Договор требует аккуратных взносов в определенные сроки; дальше я приведу примеры, до какого бесчеловечного педантизма доходит это требование.

И вот к данному сроку крестьянин «за что ни попало» продает все, что возможно, и тащит деньги, — «иначе сгонят».

Все это происходит на глазах крестьян, чутко прислушивающихся к хуторской жизни. Если первые шаги этой жизни ставят людей в положение постоянного трепета и боязни, «как бы не согнали», то каково же отношение будет потом, когда крестьянин окончательно порвет с деревней, и все надежды его будут возложены только на хутор... При всякой, даже частичной неуплате, с хуторов гонят довольно бесцеремонно: понятно, что при таких условиях находится мало желающих все порвать с деревней и жить только хутором...

Землеустроители Ливенского уезда хвалились мне, что за хуторянами почти нет недоимок, следовательно, зажиточность их вне сомнения. Но ведь все недоимочники согнаны с земли, участки у них отобраны, а многим ли известно, путем каких нечеловеческих лишений оставшиеся собрали причитающиеся платежи?

Вот умный и рассудительный хуторянин Иван Кириллович. В буквальном смысле человек этот работает день и ночь. Помимо обработки земли, он плетет лапти, валяет и подшивает валенки, лечит скот и, по его словам, «что ни заработает, все садит в эту прорву».

— Я дворовый и, когда жил одним только своим ремеслом, такой нужды и заботы не видал. А теперь только и работаешь, что на них.

— Зачем же вы взяли хутор?

Иван Кириллович вогнал топор в бревно, которое он обтесывал, и, остановившись, как-то удивленно посмотрел на меня.

— Да как же без земли то?

— Ведь жили же вы без земли.

— Жил! Мало ли, что жил: без хлеба тоже приходилось жить...

— Сами же говорите, что раньше лучше было.

Иван Кириллович молча посмотрел на меня и, как бы удивившись безнадежности моего непонимания, сел на бревно.

— Позвольте папиросочку.

Мы закурили.

— Если хотите вы знать, так двадцать лет уже. как я только и думал о том, как свою рожь на свое гумно свезу; жену, вон, спросите.

— Крестьянское хозяйство вы любите очень, что ли?

— Сам не знаю. Сердце такое: вижу, к примеру, другие снопы везут, а мне к груди подступает. Теперь хоть и тяжело, а все-таки легче...

— Довольны, значит?

— Чем же я могу быть доволен? Вы, вот, образованный человек, послушайте, да и сами решайте.

— Хутор мой 9 десятин; взял я его по 220 руб., задатку внес 20 руб. Третий год вот «данных» все нет, плачу 6% аренды, теперь за два года выплатили,— за третий просят, а в счет уплаты это не засчитывают; данные тоже на мой счет; шутя, шутя надо класть 25 руб. Получу данные,—побольше ста в год придется платить. Вот и высчитайте!.. А надо прямо говорить: при переселении я разорился в разор!..

Затоптав папироску, он пригласил меня осмотреть свои владения.

— Надоело тоже на покупном то хлебе... Зачем земля?

Как зачем земля? Земля кормит, потеплее на душе, поближе к земле-то!

— Смотрите, вот озимь. Вот одна полоса, вот другая; сеяны вместе. На одной, вон, словно клевер, а на другой почти нет ничего...

— Почему же это?

— Один любит землю, а другой так себе; один каждый комочек руками перетрет, а другой скovyрял кое-как и в сторо-

ну. Плуги, говорят, плуги!.. Да и плугом иной хуже сохи пашет. Любовь нужно, старание... Всяк, говорят, спляшет, да не как скоморох! Вон мой тесть сеет, бросит горсть — у него ровнее сеялки ложится... Я к тому это, что сам теперь работать разучился. Ко всему надо сызнава привыкать...

Мы шли по узкой меже и Кириллович долго разъяснял мне, как с «одного взгляда» можно отличить вспашку плуга и сохи.

— Ну, как нынешний год хорошо управились с делами? — спросил я его.

— Как вам сказать? Ведь сызнава все начинается то; нет ничего, все купить, завести надо, а деньги все идут в банк.

— Дали бы пять лет льготы, тогда можно бы опериться. а то трудно. Было у меня три десятины ржи и три ярового, рожь была плоха — собрал до 70 пудов, овса пудов 200. Оставил на зиму пудов 60 ржи, а остальное все продал. Овес отдал 37 коп., а рожь 72, — вот и считайте, сколько получил. Уплатил банке, и остался шиш с маслом!.. Дело ясное. Не переселяться бы — так туда-сюда, а то в долги впал, разорился, — вот и трудно подняться!.. Все начисто продал. На семена ничего, ничего не осталось... Лошаденку думал обменять с придачей... Теперь, видно, до будущего года...

— Но ведь и тогда будет старая история?

— Говорят, что скидка суммы будет. А так-то, известно, не осилить.

Крестьяне неохотно идут на хутора, предпочитая пять процентов, т.е. вносят добавочный задаток в сумме 5% с покупной стоимости участка. Тогда они могут не переселяться, игнорируя все преимущества близости жилья к земле, о кото-

рых им так много говорят землеустроители и земские начальники.

Конечно, покупка без переселения не спасает крестьян от тяжелой казенной опеки, но за то они остаются дома и могут, как угодно, распоряжаться своими постройками.

Казенная опека парализует всякую самостоятельность и больно чувствуется, крестьянами хотя условия договора являются обычными для банковских сделок, например:

Пункт 2:

а) Обязуюсь без согласия банка не отчуждать, не закладывать и не подвергать разделу имущество, б) Не отдавать в наем без согласия банка и не получать от лиц, с которыми заключены договоры по этому имуществу, наемной платы, более, чем за год вперед.

в) Не продавать и не сносить находящихся на земле строений.

д) Допускать представителей банка во всякое время к осмотру земли и находящихся на ней строений и прочего имущества.

И т. д.

В тех местах, где, как в Орловской губернии, все участки разобраны и имеется значительное количество кандидатов, всякое неисполнение этих и других подобных им пунктов ведет к тому, что землю продают другому, «с хутора гонят»... Вообще не церемонятся, оправдываясь пунктами IV и XII договора, которые гласят:

Пункт IV: «Означенную арендную плату я обязуюсь уплатить в указанные сроки, и во всяком случае до своз-

ки урожая с июля аренда должна быть уплачена полностью».

Пункт XII: «В случае неуплаты в один из установленных сроков арендной платы, или же неисполнения одного из пунктов сего договора отделение вправе, без обращения к суду, расторгнуть договор, причем внесенные в банк деньги остаются в пользу банка, и арендатор обязан по первому требованию передать землю со всеми посевами, а постройки и все находящееся на участке, имущество свое убрать в 3-х месячный срок со дня объявления о том; после указанного срока все неубранное с участка поступает также в пользу банка бесплатно».

И вот, скованный такими условиями хуторянин только и думает о том, «как бы не просрочить», «как бы хватило»... А при приближении срока он продает все, что возможно, и на что есть покупатель и — несет... Большую часть бюджета хуторянина поглощают платежи; немудрено, что многим приходится «вдвое хуже есть»; и «отказывать себе во всем».

Вот еще один пример.

Хуторянин Павел Петрович имеет отца, брата, жену и четверых детей. Вот бюджет его, записанный с его слов.

Доход нынешнего года:		
3 десятины ржи	210	пудов
2 десятины овса	160	„
1 десятина проса	70	„
Из этого урожая продано:		
Ржи	200 пудов	146 рублей
Овса	100 мерь	24 „
Проса	50 пудов	40 „
Итого:		210 рублей

Расход по ноябрь месяц:		
Уплачено в банк		120 рублей
Отдано долгу	38	„
Сапоги себе	4	„
Сапоги сыну	6	„
Покупки себе и ребятам		5 „
Расходы на пищу		17 „
Итого:		190 рублей

Ржи на еду и семена не осталось. Осталась, правда, солома, но она пойдет на топку. Однако, и часть соломы придется продать.

По словам Павла Петровича, ему необходимо было купить:

Телегу	6	рублей
Корову	45	„
Плуг	5	„

и массу хозяйственных мелочей, но все это пришлось отложить до будущего года...

Первый раз я встретил Павла Петровича у него на хуторе. Он только что уплатил в банке, «свалил гору с плеч» и находился в возбужденном состоянии.

— Ну, слава Богу! Теперь шабаш! Весь год сам себе хозяин... Заработаю что—хочу пропью, хочу проем... Мое дело! Никто мне не указчик!..

— Себе-то мало осталось, — заметил старик.

— Пустое! Аль уж не прокормимся? Что ты, ей Богу, ты-тенька! Эка выдумал!.. Пустое...

— Почему вы — спрашиваю я, — совсем не оставили ржи?

— Рожь убрали ведь раньше. Овес с просом поздний хлеб, а насчет денег приспичило... Прямо-во!.. По горло... Ну, и пошабашили...

— Все туда же пойдет, — замечает старик.

— А руки-то на что... Ей Богу, с тобой, тятенька, разговаривать нельзя... Михаил Трофимыч обоим обещал взять. А там, гляди, и просо поднимется в цене... Во, его сколько еще...

— Трудно, Паша...

Делая свои бюджетные выкладки, Павел Петрович всеми способами старался преувеличить цифру доходности, в чем его ежеминутно изобличал старик.

— Чего сам то себя обманываешь!..

— Тятенька, да ведь первый год... Переселились, задолжали. Перво-то время везде ведь трудно... Дай срок — наладим дело...

— Старик-от, он... того, — шепнул он мне на ухо. — ему все хуже кажется: ему на завалинке не с кем посидеть; чуть вечер и плетется в деревню... Привыкнет.

Поговорив о хуторской жизни, Павел Петрович принялся меня спрашивать.

— Зачем же это вам знать, как мы живем?

- - Чтобы все знали. Я напишу об этом, — другие прочтут и будут знать: идти им на хутора или нет.

— Вон какое дело!.. Коли так, мое такое слово: не советуйте! Землю пусть берут, а переселяться — ни, ни!..

— Вы же вот переселились.

— Я — другое дело: я из другой губернии, а будь я здесь... Притеснение большое!.. С голоду все-таки и мы не умрем... Дома-то еще хуже было... Внесли вот деньги, очистились, а потом... Верно ли я говорю, тятенька?

Старик молчал.

Я простился с ними, а дней через десять снова встретил Павла Петровича в с. Волове, в лавке знакомого торговца.

Около прилавка две деревенские девки выбирают ситец. Хозяину, как видно, уж надоело разворачивать им новые и новые «штуки», и он делал это довольно лениво.

Павел Петрович скромно стоит в углу.

— Тебе чего? — не раз обращается к нему хозяин.

— Я подожду... Отпусти их... Мне торопиться некуда...

— Да ты по какому делу-то?

— По своему... Я подожду...

Девки выбрали, наконец, подходящий ситец и ушли.

— Ну, что же ты?

Павел Петрович нерешительно подошел к прилавку.

— Отказал нам Мпхал Трофимыч-то...

— Так я-то что же? Хозяин я, чтоль, над ним?..

— Вот Ваську на зиму отдать надо...

— К кому?

— Може, ты взял-бы...

— Да к чему он мне? Голова хорошая!..

— Из хлеба бы, что ль... Хоть как-нибудь...

— У меня, братец, не богадельня.

— Так... А мы так мекали: поработает он у тебя, а ты нам... зимой хлебца...

— Нет, брат, и думать перестань.

— Не подойдет?

— Ничего не выйдет...

— Так... Вишь, дело какое...

Обеими руками он надел шапку, но, дойдя до двери, обернулся еще раз.

— Может, возьмешь?

— Нет, брат, не рассчитывай... Просо привози, ссыплю.

— Где оно, просо-то? Просо, просо... По-людски надо...

— Ну, брат, ты сам помещик...

Я вышел вслед за Павлом Петровичем.

Несколько минут он простоял около двери, затем еще более нерешительно отправился в следующую лавку...

V

Говоря о хуторах Саратовской губерния, я отмечал уже два, резко отличающиеся друг от друга, типа хуторов: это — хутора крестьян зажиточных и хутора бедняков. Особенно резко отличаются эти типы в Орловской губернии. Уже по одному внешнему виду можно определить, к какому разряду относится тот или иной хутор: хутора бедняков представляют из себя крошечные, наполовину врытые в землю избушки, безо всяких надворных построек, одиноко разбросанные на значительном одна от другой расстоянии; хутора богатых крестьян, — если крестьянин переселился, — резко выделяются разме-

ром и отделкой дома, прочными надворными постройками и изобилием разбросанного вокруг корма и соломы.

В конце октября я ехал по хуторской дороге, проложенной на бывших владениях великого князя. Крестьянин, который меня вез, к хуторам относится совершенно безразлично: сам он «землей давно не занимается», и в нем нет обычной для общественников какой-то озлобленной ненависти к хуторянам (интересно, что озлобленность эта выражается в постоянном подчеркивании всех — даже самых малейших отрицательных сторон хуторской жизни. «Вот перешли... Посмотрите вот, как живут»... И в перечне отрицательных сторон часто являются такие факты, которые самим хуторянам кажутся вполне естественными. «За топором друг 'к другу бегают — нечто это хозяева?»).

По обе стороны дороги разбросаны хуторки, где один, где два, редко три под ряд. То и дело встречаются ямы невероятной глубины — некоторые сажен по 20 и более: это господа землеустроители рыли колодцы для хуторян, но так как воды не оказалось, то ямы эти так и забросили, для чего-то, впрочем, вставивши в них срубы из прекрасного дуба. На ямы эти ходят «любоваться» крестьяне окрестных деревень и при этом о хозяйственности господ землеустроителей высказываются очень нелестные мнения. Всего таких «колодцев без воды» по дороге нам встретилось более двадцати; некоторые из них начали уже обваливаться, потому что крестьяне растаскали срубы: «что же им даром-то, пропадать».

— Когда начали здесь копать, то старики прямо сказали: воды, говорят, ваше благородие, здесь нет—это, говорят, нам доподлинно известно. «Не ваше, говорят, дело, копай». Ну, и

копали... Нам какое дело? Все кое-какая работишка... А теперь вот...

Хутора, разбросанные по обе стороны дороги, представляют из себя очень печальную картину. Вот какая-то в буквальном смысле, конура без сеней, без двора и даже без крыши. Около нее «гомозится» мужик, загибая плетень... Вот сбитая из досок и обрешеченная хибарка, кругом запаханная: для выхода на дорогу оставлена узенькая тропочка; между тем в хибарке живут, и неизвестно, как они проезжают на дорогу. Там — изба, сделанная из двух рядов плетня, промежутки между которыми забиты землей; две бабы и девчонка обмазывают наружные стены... Где просто поставлен какой-то сарай, где землянка, — и во всех этих крошечных помещениях гнездятся люди, устраиваются, работают, платя банку.

Вообще большинство хуторов здесь следует отнести к типу наиболее бедных и жалких. Кое-где встретится порядочная избенка, а потом опять землянки и пещеры троглодитов.

Вот место, где торчит несколько кольев, валяются кирпичи от разобранной печи, солома, — явные остатки жилья.

— Что это такое? — спрашиваю моего возницу.

— А это мужик один... Перешел было на хутор, а потом сил-то не хватило. Перебрался сюда, перетащился, а потом на попятный... Ушел... Здесь избенка его стояла...

— Где он теперь?

— В Сибирь, говорят, тронулся...

Хлеб с полей в большинстве мест свезен, но кое-где остались еще неубранные снопы, сложенные в пятерки и скирды.

— Почему не убран этот хлеб, — ведь сгниет?

— Что поделаешь? Вишь, закон такой, чтобы не убирать, пока не заплатишь банке. Вот хлеб и стоит. Мужик смолотил-бы его, продал, — вот ему и уплата, а теперь рыщет везде, ищет занять, а кто даст такую сумму? Вот добро и гибнет...

Богатые хуторяне живут, главным образом, в лощине; издалека видны их крытые железом избы; там у них и ручеек и земля получше; здесь-же, по дороге, беднота и только беднота... И «подняться» пока нет никакой надежды: всевозможные придирки, педантическая точность срока уплаты, а, главным образом, непосильные платежи совершенно истощают хуторян, и недаром все они уверены, что «в скором времени будет сбавка суммы».

Опишу подробно несколько хуторов.

Хутор Василия Никишина. Маленькая избенка, перенесенная из села. Так как часть бревен оказалась гнилой, то избенка вышла низенькой и уродливой. Надворных построек никаких нет. При посещении мною этого хутора, Никишин городил какую-то клеть из соломы для лошади. Маленькие сени служат в то же время и амбаром; здесь два сусека—для овса и ржи, оставленных на зиму. Весь скот Никишина состоит из одной большой лошаденки. Сам он высокий, худой, с густой копной взлохмаченных волос, смотрит как-то боязливо и тревожно. Надел свой он еще не продал, но нужда заставила сдать в аренду.

— Ссуды мне не выдали еще — вот моя беда... Так подтянул брюхо, что не дай Господи...

Мы вошли в избу. Трудно представить себе большую бедность и нищету. Одна комнатка четыре шага в длину и четыре в ширину, низенькая, темная... Третью избы занимает печка;

грязный самодельный стол и две лавки по стенам. На одной лавке в углу стоит сундук с рухлядью, две кадушки с мукой, порванная сбруя... В другом углу мешок с зерном, две лопатки, вилы, какие-то поленья и доски.

— Некуда деть-то, — все в избу и тащишь... На дворе оставить боязно: другой не из корысти, а из озорства возьмет, да бросит в яму... Озорников у нас много...

Грязный закопченный потолок — ребенок рукой достанет. Земляной пол представляет из себя смешанную грязь со следами сапог и лаптей.

Около стола на лавке сидят больные ребятишки.

— Придет, говорят, беда, отворяй ворота... Замучился я с ребятишками. У одного и болезнь-то такая, что не поймешь: выскочит это у него на боку шишка, а почему — Бог ведает. Я уже и тер, и под полушубок над паром сажал — ничего не помогает. Видите, — как есть скелет...

Действительно, ребенок худой, бледный, с ввалившимися глазенками, сильно походит на скелет. Все время он испуганно смотрел на нас, и, несмотря на все усилия с нашей стороны, не сказал ни одного слова.

— Ну, скажи же господам, как тебя зовут!

Мальчик молчит.

— Что у те язык что-ли отнялся? Экий дурак — ну, скажи!

Ребенок начинает грязными кулаченками тереть глаза и всхлипывает...

— Эх, дурак, дурак, в твою пору в училищу ходят... А ты... Эх, дурак!..

Никишин укоризненно покачивает головой и, обратившись к нам, безнадежно разводит руками.

— Что хотите вот, то и делайте!

У другого сынишки Никишина все лицо покрыто сыпью и ранами.

Этому мальчику, по-видимому, года три. Он смотрит на нас испуганно, время от времени истерически взвизгивая, и заливаясь слезами.

— Вот и у этого тоже, Бог знает, что! Золотуха не золотуха... Кабы не ковырял еще... А то чешется, видно, у него. Расковыряет болячки-то и орет, а после еще больше... А что поделаешь? Не руки же связывать ему? Говорят, серу есть надо... К доктору вот съездить хочу...

Рассказывая о своем житье-бытье, Никишин начал с того, что хлеба у него не только не останется на семена, но и для еды не натянет... Что будет делать, — неизвестно, и вся надежда на получение ссуды.

— Из сил выбились. Сами посудите: работников — я да жена, на каждый пустяк все нанять, да нанять надо... и сами работаем, не покладая рук. Подняться тяжело. Оглушили сразу-то платежами, вот мы и присели... Все равно, что человек в гору лезет — чуть вскарабкается, а его опять вниз толкнут...

Как и большинство хуторян, переселение свое на хутор Никишин объясняет беспросветной нуждой, нищетой и голодом. «От хорошей жизни разве поехал бы сюда? Что хорошего? В лучший год кусок хлеба, может, будет, ну а в деревне и этого не было... За то там на людях... По привычке к людям-то,

скучно здесь. Лошадь с лошадыю стоят вместе и то свыкнутся, а человек и подавно».

Всего детей у Никишина четверо, но помощников еще нет. Все приходится делать самому и жене. Непрекращающиеся болезни ребятишек Никишин объясняет полным их беспризором, но к этому, конечно, необходимо прибавить царящие в избе грязь и сырость, скудость питания, скверную воду.

Колодца у Никишина нет — «воды не оказалось». За водой ездят в Хитрово, на каждую поездку нужно затратить несколько часов, — вполне понятно, что воду приходится экономить. При одной лошади, которую разрывают на десять частей, эти поездки за водой — истинное горе.

— Посуды настоящей нет — другой раз так подойдет, что ночью кричат «пить», а везде сухо. Большой-то потерпит, а у ребят разума нет: им вынь, да положи — Зиму вот ждем — тогда снег станем таять — все полегче будет.

Эти тернии хуторской жизни — непосильные платежи, одинокая жизнь, отсутствие внешних удобств — заставляют быть осторожным, не особенно рассчитывая только на хутор. До сих пор Никишин крепится и не выходит из общины.

— На всякий случай. Опасно, пока что. Вдруг не выдержишь какой год и стонят. Дальше видно будет: коли оперимся, можно будет подать из общины и выделить особняк, а теперь в случае чего — всё-таки прицепка... Тяжело это только: я вот переселился, а пожарные плачу. Нужно так говорить, что не дай Бог греха — все вместе с избой сторим; там они и не увидят, а плачу!

О землеустроителях Никишин высказал несколько горьких замечаний: «не с того конца они начинают! Все, что гово-

рят, — верно, а делают насупротив. Коли хотят они сделать из нас хозяев, — дай подняться! Вылезть-бы хоть немножко, вздохнуть полегче, а тогда и платить можно. Теперь же ты от нужды, а нужда за тобой — никак ее за хвост-то поймать не можно! Считают, что скотину нужно хорошую держать, землю навозить, траву сеять, — все верно, а все попусту... Я вот продал хлеб, заплатил, а самому заниматься придется... Повременили бы годков пяток дошибать-то»...

Земли теперь у него 9 десятин, а лошаденка одна, другой скотины нет: солома целиком идет на топку; соха деревянная, борона и — все! Вообще инвентарь, приспособленный к обработке надела. Улучшение этого инвентаря немыслимо, в виду того, что на платеж банку идут не избытки дохода, а весь доход, включая и значительную часть того, что необходимо на прокормление. Никишин бьется, как рыба об лед, и вполне понятно, какой горькой иронией являются для него брошюры: «Как выбрать хорошую лошадь», «Как выбрать хорошую корову», «Как получить большой урожай» и т. д. Ему советуют заводить племенной скот, вводить новые приемы обработки земли, а условия жизни побуждают его нанять кого-нибудь с его сохой или ковырять землю на своей больной лошади... Его учат, как выбрать хорошую корову, а «ребятишки забыли уж, какой цвет молоко имеет, не только, как его едят».

Таким образом, советы, по существу правильные, вызывают у человека лишь горькую улыбку, а брошюрками, может быть, ценными и полезными, играют ребятишки.

При жалобах хуторян на непосильные платежи, землеустроители твердят одну и ту же заученную фразу: «вводите такие-то приемы, земля будет лучше родить». Понятно, сколько в этом трагического комизма! Никишин, например, велико-

лепно понимает, что удобрение необходимо, что хорошая лошадь лучше плохой, что плуг лучше сохи и т. д. Но что же делать? Исходные точки у хуторян и землеустроителей совершенно различны.

Землеустроитель говорит: делай вот что, тогда урожаи будут хорошие, доходность земли повысится, а пока плати! Хуторянин же рассуждает иначе: дайте немного оправиться, окрепнуть, не подрывайте делом всякие наши начинания, — тогда я введу все, что вы советуете, и буду платить.

Как среднее между двумя этими точками зрения, является ожидаемая всеми «сбавка платежей»!

Хуторов, в роде только-что описанного, здесь несомненное большинство. Никишин живет один, но кое-где по два и по три таких хуторка поставлены рядом, и в каждом из них, за редким исключением, — вы встретите ту же нужду, те же жалобы...

Совершенно иную картину представляют из себя хутора богатых хуторян. Я говорил уже, что они выделяются и по своему внешнему виду, и совершенно не те здесь взгляды и рассуждения. Да и понятно! Богатые хуторяне были богатыми крестьянами задолго до законов о землеустройстве. Хутора для них, — как я уже говорил, — лишь льготная форма аренды, помимо хуторов многие из них имеют и другие средства к жизни. Денежные запасы дают им возможность безо всякого ущерба для хозяйства производить различные платежи. Хутора явились для них счастливой неожиданностью; правдой и неправдой они стараются захватить по два и по три хутора. Все положительные стороны землеустройства приносят выгоду

только богатым хуторянам, и им ли после всего этого не хватить «благодетельный закон!»

Вот несколько примеров из этих мест.

Крестьянин деревни Казаково-Спасское, Матвеев, имеет 40 десятин собственной земли. Мужик исстари зажиточный и крепкий получил два хутора.

Крестьянин деревни Натальевки, Колобашкин. Он имеет 60 десятин собственной земли; скупил около пятнадцати наделов у крестьян, вышедших из общины, и вообще является типичным «новым помещиком». Хорошо он жил до закона 9 ноября; закон этот дал ему возможность «задаром почти» скупать наделы, а теперь все старания его направлены на приобретение хуторов. Недавно 14 хуторян согнаны, как недоимщики, и Колобашкин на подставных лиц поспешил захватить из этих четырнадцати хуторов львиную долю. К концу осени он получил уже пять хуторов.

Крестьянин Седых, из семьи, имеющей свою землю. Семья Седых, богатейшая на целую окрестность, имеет прекрасных заводских лошадей. Лучший в деревне дом. Седых получил два хутора, лучшие по положению и качеству земли.

Лавочник и бахчевник Сахаров получил хутор рядом с селом.

Таких примеров можно привести порядочно, и один беглый перечень лиц показывает уже, что эти хуторяне с Никишиным, например, общего ничего не имеют. Последнего гонит на хутор нужда и полная безвыходность, — этих же жажда захватить как можно больше земли, желание увеличить зажиточность и улучшить и без того хорошее положение.

Никишину переселяться было необходимо: он не в силах внести пять процентов; получение ссуды в несколько десятков рублей для него необходимо; богатые же хуторяне переселяются лишь тогда, когда это выгодно им: иногда, выделяя лишнего члена семьи, иногда по чисто хозяйственным соображениям. Если же переселение ни с какой стороны не выгодно, они и не переселяются, выстраивая на земле риги для хлеба и избышку для караульщика...

Понятно, что у такого хуторянина нет постоянного кошмара «как уплатить?» Хлеб у него на полях не задержится, хутор не отнимут... Той испуганной забитости, той боязни визитов землеустроителей и чиновников, которая характерна для большинства, — здесь нет и в помине. Напротив, здесь полная самостоятельность и независимость...

Вот хутор переселившегося богатого крестьянина. С первого взгляда видно, что хозяйство у него — «полная чаша». Большой шестистенный дом, крытый железом, громадный двор, обнесенный высоким плетнем, изобилует надворными постройками. Три-четыре лошади, столько же коров, десятка два овец. Топят и здесь соломой, но навоз свозится в поле, и идет на удобрение. Здесь есть и плужки, и бороны с железными зубьями. Вода в колодце есть, но «ее заела вша», и для питья она не годна, за водой ездит работник, ездить далеко, но отрывать от работы последнюю лошадь не приходится.

Ефим Иванович встречает нас очень любезно, охотно говорит о своем хозяйстве, то и дело отвлекаясь в сторону вопросов общеполитических.

— Овса я совсем не продавал: смысла нет. Цену совсем сбили... После нового года, Бог даст, поднимется.

— А платежи как же?

— Скотину продать пришлось. Урожаи ныне Господь послал, цена на скотину поднялась... А мне, что ни дай, надо продать, корму не хватит.

Высокий, чернобородый с лысиной во всю голову Ефим Иванович говорит, не торопясь, как бы обдумывая каждую фразу.

Мы сели пить чай.

— Нарезь солонины! — обратился он к невестке, — да яблоков достань!

— Говорите вот вы, овец на других хуторах сводят, а что вы думаете? Сведешь... Как есть сведешь!.. Теперь польза от них небольшая, а корм в цене. Овца ест хоть и аккуратно, а много; покупать — не выгодно, потому что назем от овцы никудышный, а своего корму мало. Я вот сеял этот год вику с овсом — едовый корм, дорого только обходится...

В домашних распорядках Илья Ефимович — человек старого закала: невесток и ребятишек он за один стол с собой не сажает... Ребятишки толпятся около стола, завистливо поглядывая на чай и яблоки.

— Вы чего лезете? Пошли! Аль три дня не ели...

— Да, — говорит он, потирая лысину, — новая жизнь! Со всех сторон новая... Кто знает — к лучшему ли?

— Сам себе хозяин — вот что главное. Здесь я на земле воткну куст, — он век мой, никто не отнимет. Помощь всякая, советы... Как они не нужны? Вот вам книжечка: «Кормовой бурак и как его сеять». — Они же нам роздали, хорошие советы. Хочу попробовать — много не буду, а пол-десятинки раскину... Авось и выйдет что!

— Два брата нас—оба старики уж, дети с бородами... Тесно стало, все равно приходилось другой дом делать... А здесь вот эти законы вышли... Подумали, подумали— хуже не будет! Два хутора у меня; старший то сын считается как бы выделимши... Что же? Оглядимся вот, — можно и ему избенку построить...

После чая Ефим Иванович показал мне свое хозяйство. Овцы стоят в «загоне»; выпускать некуда; на озимя Ефим Иванович пускает только телят. Лошадей и коров приходится путать, что не мало огорчает Ефима Ивановича. — Скотине простор нужен... Эдак с нее вся живость сойдет... Думаю, думаю, а не знаю, как решится это дело... Земли мало! Еще бы хуторка два, вот с этой то стороны, тогда и выгонок оставить можно бы.

— Хорошо бы, Ефим Иванович, если бы все хуторяне жили так, как вы!?

— Да ведь мы всегда хорошо жили. Бога не гневим! Платежи большие — вот что прижимает всех... Я вот и то думаю — лучше разориться, а все срока в три уплатить. Иначе ведь что же выходит? Оценили землю в 200 рублей, а выплатить то по шести сот придется с процентами и другими сборами. Тяжело!..

Особенно любопытно сравнивать хутора типа Никишина с хуторами Сахаровых и Седых, когда тот и другой хутор расположены рядом, в «одной четвертке». Тогда один хутор оттеняет особенности другого; положительные и отрицательные стороны хуторской жизни выступают ярче и выпуклее.

Крестьянин Прытков — дворовый. У него два сына: старший портной, только что вернувшийся с действительной службы; другой сын — подросток, помогающий в работе; жена,

старуха мать — все работают. По сравнению с Никишиным, Прытков, как видно, имеет крупное преимущество. Несмотря на это, однако, живет Никишин — чуть-чуть победнее Прыткова. Рядом с избенкой Прыткова — плохенькой, уже пошатнувшейся на бок, находятся избы еще двух хуторян: богатого и крайнего бедняка, почти полной копии с Никишина.

Богатый крестьянин перешел на 5% и поставленную «для близиру» избенку заколотил.

Караульщик ему не нужен, потому что обязанность эту безвозмездно исполняют Прытков и его бедный сосед. Местом своим богатый крестьянин воспользовался для постройки громадной риги, в которую свободно поместилось бы пять избенок Прыткова вместе с дворовыми постройками. В риге хранится хлеб и корм. Сам хозяин живет на хуторе лишь во время уборки хлеба, а зимой лишь изредка наезжает за кормом: кроме хутора, крестьянин этот имеет «земельку на стороне», все время жил зажиточно. Хутор он приобрел «на всякий случай» и избытками доходности легко покрывает необходимые платежи.

Другое дело Прытков. Как и все дворовые (а на хуторах их довольно много), он ухватился за землю потому, что «очень уже наголодался по земле». Почти все дворовые в один голос говорят об этом голоде, как об основной причине, побудившей к переселению.

— Больно уж землицы хотелось!.. Стосковались по земле, дорвались вот теперь до нее и забыли все! Рады — одуматься еще не успели.

Так рассуждает жена Прыткова, сознавая в то же время, что «если прямо сказать — житье совсем плохое».

— Перевезтись дорого стало: ведь изба, амбар — это все из деревни. Избу чуть новым леском подновили.

Кроме амбара, никаких построек у Прыткова нет. Приезде моем на его хуторе старик плел клетушку для коров.

— Прутья у нас даром. — Только землю очищай... Вот берем — хотя работа тоже трудная; с корнем брать надо.

В низенькой избенке обычный для хуторян грязный земляной пол, теснота и копоть. Довольно крепкий еще старик, наголодавшийся по земле, весь ушел в свое хозяйство и очень неохотно оторвался от работы для разговора со мной.

— Нельзя сказать, как на хуторах!.. Кому хорошо, а кому плохо... наших шабров возьмите: один-от с голоду умирает, семья заела... Можно ли ему вытягивать? Известно, сгонят не ныне-завтра! А вот что напротив-то — богатый: видишь, ригу-то какую сворочал? Хлеб здесь держит. Ему хорошо... Известно — земли прибыток, живет там в деревне... А плата одинакова... Видано ли такое дело? А? Ведь это что-же будет? Кто побогаче, тем и земля получше, и стеснения такого нет, а кто нищий — тому никак подняться не дают. Чуть что — сейчас давай! Неси!.. Ведь ему вон, соседу-то, сейчас есть нечего... А у этого полна рига.. Дают землю без разбору: «кто поспел, тот и съел»...

На вопрос о том, как живется ему самому, старик махнул рукой.

— Нас нечего брать в пример: мы дворовые! Хлеба и у нас не хватит, придется занимать. Ну, да так думаю — сын что-нибудь заработает. Портной он — по деревням пойдет.

— Хорошо еще вот на счет воды, — говорил между тем солдат, — колодезь у нас казенный, вода хорошая и глубина

небольшая — 10 сажен. А то нет здесь воды-то, либо сушь, либо вша ест: видали, чай, когда ехали? Даром деньги только выкинули!.

— Как думаете, осилите все-таки?

— Кто знает? С горяча-то ведь не заметно. Вцепились в землю зубами и сидим пока что... А коли скovyрнут, тогда... — Старик махнул рукой и пошел плести изгородь...

В избе их соседа я застал одних ребятишек, которые с печки испуганно высовывали свои головенки. В этой избе, похожей больше на нору, уже полное отсутствие всякой мебели. Один сундук с оторванной крышкой заменял все.

— Где отец?

— Уехал в город.

— А мать?

— Не знаю...

— Когда ворвется?

— Не знаю...

— Не скажут, — шепнул мне проводник, — иногда нарочно прячутся... Не всегда хорошие гости к нам ездят.

Он как-то криво, двусмысленно усмехнулся...

VI

Большей частью мне приходилось встречаться с хуторянами в критические моменты их жизни — вскоре после переселения, перед уплатой банку и т. д. Вполне естественно, что мысль их в это время была направлена на подведение итогов своей доходности и всевозможные бюджетные выкладки... Подводя итог своего бюджета, громадное большинство их в

один голос говорит, что «на зиму ничего не остается», что придется или лезть в долги к кулакам или просить ссуду. И это особенно характерно — при благоприятном урожае прошлого года — именно для хуторян. На этой почве, во всех местах, где пришлось мне бывать, довольно часто происходят курьезные недоразумения: например, в Чистопольском уезде Казанской губернии товарищ министра Лыкошин нашел, что хуторяне благоденствуют, а местный земский начальник в это время просит земскую управу оказать хуторянам помощь для приобретения хлеба и скота.

На подобные противоречия жизни приходится наталкиваться то и дело. «Невозможно при наших делах свести концы с концами», — вот общее мнение хуторян, и мнение это заглушает все рассуждения о прелестях хуторской жизни...

— Ведь 55 лет так! — говорят хуторяне, — где же здесь поправиться... — В деревне плохо, а здесь еще хуже.

На вопрос, почему «здесь еще хуже»? — начинается безконечный ряд рассказов о том, что «если даже и выплатишь вовремя — все равно нет никакого спокойствия», что жить одному, как волку, скучно», что «дичать тоже никому не интересно» и т. д. В один голос хуторяне доказывают, что будни их жизни полны специфически хуторских трагедий, которых невозможно предусмотреть и устранить.

И эти будничные трагедии мелких людей, трагедии постоянные и неустраимые, — часто бывают настолько тяжелы, что, право, они не могут окупить экономические преимущества хуторской жизни, если бы даже такие преимущества и были.

Вот несколько маленьких, бедных хуторков около Ивановки). Обычная для хуторов грязь и нищета. Около колодца толкуются несколько мужиков и баб. Издалека видно, что они о чем-то оживленно беседуют, махают руками, заглядывают в колодец.

— Надо же быть такому греху!..

— Ах ты, Господи.

— Царство небесное... Новопреставленные душеньки в рай пойдут...

— Подбегаю это я, — рассказывает вертлявая бабенка, — а она мечется. — Что же, спрашиваю, кума? Ребят, говорит, кумушка, не видать что-то...— Меня так всю и замутило. — Не в колодези ли, говорю? — Здесь Митрич подбежал. Спустили мы его, а он там сердешный... Совсем уж закоченел... Мать-то обмороком накинуло, как Митрич-то его вынул...

— Будет, тетенька, будет, не убивай себя...

— ' Известно, не воскреснет...

Худая растрепанная баба истерически визжит и лезет к колодцу... Несколько рук хватают ее, оттаскивают... Захлебываясь в собственных слезах, она рвется из рук, кусает их, отбивается...

— Видишь ты, к колодезю все лезут...

— Умом помрачилась, и оказывают ей его, а она — это, говорит, не мой, мой там, и все к колодезю, все к колодезю...

— Дайте мне его! Дайте мне его!..

— Будет уж! Эх!.. Бабы!..

— Дайте мне его!

— Что ты — ей Богу! Опомнись уж! Чего же поделаешь? Божья, видно, воля!

— Эх ты, случай-то какой...

Обессилевшая баба затихает. Ее осторожно кладут на кучу соломы.

— В чем дело, братцы?

— Ребенок в колодце утоп. Второй случай уж вот.

— Как же не утонуть? Совсем почти без струба колодезь! Нешто это струб? Ведь здесь чуть чего и—там!

— Тоже и родители хороши!.. Ушедши, воды не оставили... Известно, дите малое: хочет пить и лезет к колодезю. Понятия настоящего нет, а чует, что вода там, ну и лезет...

— Оставили им воду то, да они, вишь, пролили ее.

— Пролиты, а взять негде, сунуться не к кому... В деревне бы к шабрам зашел, напился, а здесь...

— Эх ты, жизнь горемычная...

Разговор тотчас переходит на темы хуторской жизни, самый факт, возбудивший эти разговоры, на минуту как бы забывается.

— Ведь, если по правде-то говорить, так ребятишкам здесь не житье, а каторга... Что они? Живут, как звери — ни им поиграть не с кем...

— Одно слово, дичают!

— Еду я как-то из городу, — говорит сердитый старик, упрекавший родителей утонувшего ребенка, — а по грязи Володька Никаноров шлепает; Дуньку тоже тащит за руку. Куды вы, говорю? «В деревню, говорит, с ребятишками поиграть...» — Это вы, говорю, пять верст лезете из такого пустяка?

— «Нас, говорит, маманька пустила...» Вот, и поговори с ними...

— И то, дедушка, надо сказать — скучно! Здесь большому тоска, а ребятам и подавно. Хоть вот моего Сеньку взять — его на привязи не удержишь. Чуть чего — и в деревню! — замечает серьезный Иван Захарович.

— У них тоже — товарищи и друзья!.. Сойдутся — водой не разольешь!..

— Что и говорить...

На несколько минут внимание разговаривающих привлекают новые рыдания бабьи. Ее ведут в избу и укладывают на постель. Затем один за другим снова собираются около колодца. Некоторое время молчат.

— Ты вот, Иван Захарыч, говоришь — большому тоска, а я тебе скажу — хуже: другой раз страх берет. Ведь один в поле не воин: зайдет кто, перережет, недели две и не узнает никто.

— Знаешь Василя-то? — спрашивает в свою очередь Иван Захарович.

— Слышал!

— А что с ним? — спрашиваю я.

— Прибежал как-то к нам в деревню. Часов двенадцать ночи уж было. Стучит, что есть мочи, к попу. Тот, известно, испугался, выбег к нему. «Что ты, говорит, треба что-ль какая?» — «Пустите, говорит, Христа ради, в избу». — Поп пустил и видит, что человек сам не в себе. «Что, спрашивает, с тобой? — «Боюсь, говорит, батюшка! Страшно мне. Там на хуторе стучится кто-то»... — «Воры, что-ль?» — «Должно, говорит, воры», а сам весь дрожит, как лист. Поп собрал человека четыре, побежал на хутор. Глядь — там жена Василя тоже беспокоит-

ся: мужа ищет. «Закричал, говорит, вскочил, как полоумный, и бросился бежать». Оказалось — все спокойно, никого нет, а ему просто попритчилось...

— Что же с ним теперь?

— Да что теперь? Каждую ночь, как заснет и начинает его дергать — вскочит, затрясется, и в деревню: спасите, кричит, убивают! Совсем сошел с ума!

— Мнительный человек!

— Мнительный — не мнительный, а бывает так, что и взаправду шалят. Вот в версте от меня к мужичку ночью нагрянули буяны, взять ничего не взяли. а перепугали всех. Мужик и жена хорошие были люди, а теперь испорчены на всю жисть. Дети тоже дурачками стали. — Сказав это, Иван Захарович нахмурился.

— Не привык народ, а буянам здесь раздолье. В деревне как-никак, а людно, а ведь здесь, как пень в степи: хоть кричи, хоть не кричи...

Иван Захарович переселился на хутор, но принципиально — враг хуторов. Он аккуратно посещает лекции гг. землеустроителей, читает книжки, которые они раздают хуторянам, и все рассуждения его всегда сводятся к опровержению доводов лекций и брошюр. Чем больше он говорит, тем больше волнуется, начиная всякое свое возражение с фразы: «они, вот, говорят...»

— Они, вот, говорят — хлеб тебе возить недалеко... Хорошо! Но скажите, какой мне толк, коли весь хлеб я должен за 30 верст в ссыпку вести. Он на корню, хлеб-от, а я уж знаю, что он не мой. Заплати, потом убирай!.. Но позвольте, чем я буду платить?! Какой же это есть закон? Павел Борискин вон на

семь ден в холодную посажен за самовольный убор хлеба, да и с участка грозят согнать: какое, говорят, имел право убрать и смолотить? А того не хотят понять, что может человеку есть нечего? Плачет мужик, ревмя ревет... Переселился, разорился и чуть что, пошел вон!.. Вот так законы пошли! Ведь у него, у Борискина-то, все здесь — и зерно, и солома, и скотинка: есть, кажется, что описать в случае чего... Нет — сиди! Пошевелиться не смей! При крепости и то этого не было! Мужик с хутора ни соломенки, ни зернышка не вывез, а сиди!.. Ты, говорят, можешь запродать! Да позвольте! Вам-то какое дело, коли я к сроку деньги представлю?

— Разве только Борискин? Много их... таких-то...

— Я к примеру взял... Все мы под камнем ходим — чуть что и хлопнет по затылку... Говорить уж об этом надоело...

— А кто велел переходить? — спросил сердитый старик. — За уши, что ли, вас тащили? На меня, брат, глядеть нечего, я старик — 55 лет не проживу.

— Кто велел? Нужда велела — вот кто! Нужда, бабушка. Ты думаешь, от хорошей жизни люди в петлю-то лезут?.. Сам понимаешь — мне тебя учить нечего...

— То-то и оно... Здесь-то изжили, что ль, нужду-то? У твоего соседа ведь вон лошадь на приколе удавилась?

— У моего.

— То-то и есть! В деревне-то она, може, и по сей ходила бы, а здесь он ее лишился... Одна только и была лошаденка и топ теперь нет... Вот и живи!..

Иван Захарович замолчал. Сердитый старик говорил именно то, что мог сказать и сам Иван Захарович, поэтому спорить было нечего.

Кто-то перевел было разговор на бабу и утонувшего ребенка, но здесь многого сказать было нельзя, да и вопрос этот входил в область обыденных хуторских трагедий.

— Да. дела, — вырвалось у кого-то.

— Неужели уж так плохо? — спрашиваю я после некоторого молчания.

— Не всем плохо! Кое-кому и хорошо! — И в сотый раз приходится выслушать, что «тем, кто побогаче — хутора лафа», что «подняться нет сил», что «на первом шагу дошибают»...

— А главное — порядку нет никакого... Кто куда хочет, тот туда и гнет... И никто ничего не понимает. Какие там законы? Кто их видал? Вон у Ольшанских и у Студеновских скандал был: два года землей не пользовались, а деньги просят... За что? Закон, говорят... Вот ты и поди...

— Ну, и мы толю хороши, дядя Иван, возьми дороги хоть: ведь все распаханы?..

— Распаханы!..

— А ездить где? Из-за дорог-то скандалов побольше. У Андрианова то с Смеляковым из-за чего побоище то вышло? Из-за дороги ведь... У Семенова...

— Ты мне не рассказывай: сам побольше тебя таких историй знаю. Оттого и есть, что порядку нет. Мужик каждой бороздой дорожит... Уступить никому не охота, вот и будут друг у друга хлеб мять...

Начались новые рассказы о столкновениях хуторян друг с другом, о нищете, о непорядках и т. п. Казалось, не будет конца этим рассказам, однообразным и тоскливым, как и самая жизнь хуторян. И лишь, когда совсем стемнело и пошел дождь, крестьяне начали расходиться...

— Мы уж как-нибудь... Ребятишек жалко, вот что главное! Дичают!

— Дичают, это верно...

— Да!

— Вот теперь хутор от хутора — во какое расстояние, а пройдет годков пятьдесят, вокруг каждого хутора деревня будет...

— Плодится народ...

— Опять земли не будет...

— И мы не выplatимся еще...

Такие фразы долетали от шедших впереди меня крестьян...

«Мы как-нибудь... Нам не привыкать... Ребятишкам вот плохо», — то и дело приходится слышать от хуторян. И, действительно, положение хуторских ребятишек, по-моему, самая больная сторона хуторской жизни. Вопрос не только в том, что им негде учиться, что на долгое время большинство их обречено на безграмотность и на невежество... Помимо этого, ребятишки в своей детской жизни лишены всего: у них нет ни игр, ни товарищей. Одиночество не так отражается на взрослых, как на них. Все внимание свое ребятишки принуждены сосредоточить на злобах дня жизни их хутора. А так как эти злобы дня, преимущественно, беспокойны и трагичны, то детишки, как и старшие, живут в состоянии вечного трепета...

Общеизвестный факт, что ребятишки в своих играх копируют жизнь взрослых, на хуторах принимает иной характер: замкнутые в стенах своей избы ребятишки живут жизнью взрослых, впитывая в себя переживания больших. В жизни больших нет радостей — нет ее и в жизни ребятишек. Входя в

избу хуторянина, вы видите ютящихся где-нибудь в углу ребятишек, хмурых и молчаливых.

— Чего вы все в избе третесь? Шли бы на двор...

Ребятишки идут, но через несколько минут возвращаются и снова забиваются в угол.

— Играть не с кем!..

— Друг с другом играйте...

— Скучно.

Знакомый врач, близко соприкасающийся с жизнью хуторян, говорил мне, что ребятишки хуторян хилее и апатичнее деревенских. Объясняет он это полным одиночеством, которое все внимание детей сосредоточивает на жизни больших. Нет ничего, что могло бы развлекать детей, отвлекая их мысль в другую сторону. Не даром ведь они за пять верст ходят поиграть с товарищами!..

Больно становится на душе, когда думаешь, что при таких условиях растёт новое поколение.

Что выйдет из них? Хмурые, апатичные, озлобленные на судьбу и людей люди...

Впрочем, за то они привыкнут к одиночеству, и им не придется «привыкать к хуторской жизни» ...

VI

За невзнос платежей, вернее, за несвоевременную доставку их — в том участке Ливенского уезда Орловской губ., где я наблюдал жизнь хуторян, было «согнано» за последнее время 14 человек, а трое отказались сами в виду полной невозможности выплачивать.

У тех и у других, по их словам, пропало по 20 руб., внесенных ими в виде задатка, и арендная плата за два года.

Как среди хуторян, так и среди общественников «отобрание участков» является самой злободневной темой. Нужно сказать, что общественники относятся к этому с некоторым торжеством. «Вот, мол, видите теперь, каково это дело? Чуть что, и полетел»... «Мы, мол, раньше говорили это — не верили, теперь посмотрите на деле». Бедные хуторяне еще более съеживаются, еще более трепещут, а богатые поспешили завладеть участками тех, которых «согнали». Последнее обстоятельство порождает много нелестных для землеустроителей слухов и толков. В один голос крестьяне говорят, что участки бедняков потому и отобраны, что их нужно было передать зажиточным крестьянам. Почему явилась необходимость этой передачи, — крестьяне объясняют очень просто: это почему-то выгодно землеустроителям...

У кого и почему отобрали участки? Заведующий участком говорит, что отобрали у самых «нестоящих» крестьян, у которых не было серьезного намерения переселиться. Они намеренно не платили аккуратно, не внесли бы и арендной платы, но им пригрозили судом... Верно ли это? Крестьяне говорят, что нет...

Беднейший крестьянин Никита Новиков вложил в землю все, что мог, продал и заложил последнее, остался «без корки хлеба» и все-таки у него не хватило пятнадцати рублей. Участок был отобран. Разоренный крестьянин остался не причем.

— В разор меня разорили! — плачет мужик. — Что я теперь буду делать?..

Бегаю из одной избы в другую, он рассказывает об этом «поступке» с ним и до сих пор не верит, что участок отобрали у него в «серьез».

— Может так еще... Пострадают только... А там опять...

Еще трагичнее положение крестьянина Алферова. У него семь человек детей, оставшихся теперь «без хлеба». Вот как он рассказывает свою печальную историю.

Всю жизнь мою я маюсь... Светлой минуты не припомню... Взял участок — думал вздохну, а дело еще хуже пошло. Сами «день не емши — два дня так», а туда неси... Носил, носил — с ил не стало... Как есть в чистую разорился... Последний раз не хватило десяти рублей. Побежал туда, побежал сюда — нет. Ну что же поделывать? Нет, так из пальца не высосешь! Продать нечего, занять негде...

— И что же?

— Да ничего .. Сигнали! Не известили даже... Пришел в контору, а там объявляют: «участок твой продан — можешь очищать»...

— За что, говорю, помилуйте!

— За недоимку.

— Да я что же буду делать? Ведь у меня семь человек детей!

— Это, говорит, дело не наше!.. Закон... — Бог их знает, какие у них законы-то: мы их не читали. Сманили, а потом — закон!..

— Что же вы теперь думаете делать?

— Жаловаться буду... Мне известно, кому мой участок то попал...

Я не буду передавать рассказ Алферова о том, как он прибежал, как полоумный, домой прямо из конторы, «как заревели ребятишки», как он «метался за помощью», — все это легко представить всякому. Факт, что мужик разорен; желая улучшить свою жизнь, он превратился в нищего...

Не менее трагична и «история» крестьянина д. Александровки Мурашкина. У него пятеро детей. Нищета, безземелье, хронический голод понудили его «кинуться к участку». Он кинулся. «Кряхтел, опять голодал, но пока были силы — нес!». Что было, все продал. Не хватило пустяк.

— Нельзя ли, говорю, дать отсрочку?

— Нельзя.

— Что же мне делать?

— Ведь у тебя корова есть!

— Есть.

— Продай ее, вот тебе и деньги.

А ребятишки то как? Ведь молоко все-таки... питание... — Как знаешь!...

Мурашкин продал корову. Но покупателя пришлось искать долго. «Кто побогаче-то видит, что мне петля, и дает за корову самую малость... Сами понимаете — если вдруг продать — всегда пойдет за безценок... Метался-метался — так за пустяк и отдал. — Но все же к сроку Мурашкин не поспел. Денег в конторе не приняли, участок отобрали, и бедняк остался без хутора и без коровы...

— Ведь вы, говорю, разорили меня!..

— Закон!..

— Но какой же это закон, что пускать людей по миру?

— Ну, это, говорит, дело не твое... Вот когда, говорят, ты будешь законы писать, пиши хорошие!..

Приведенные примеры типичны для «согнанных», поэтому я не буду перечислять других крестьян, с которыми мне пришлось беседовать. Все они объясняют недоимку нищетой; поспешную продажу их участков «придиркой»: все они наиболее бедны; всех за участки заставила «ухватиться» нужда...

Примеры эти прекрасно подтверждают мысль, которую то и дело высказывают хуторяне: «на волоске висим, чуть что и скovyрнут; все высаживаем, с каждым днем больше и больше нищаем, а чуть-чуть натягиваем...

Эта постоянная боязнь, что «сковырнут» из-за пустяка, эти ежедневные наглядные примеры, как из-за пустяков «сковыривают» — рожают угнетенное и подавленное настроение. Этим и объясняется полное отсутствие у хуторян жизнерадостности, веселья... Все они хмурые, задумчивые... Разговаривает неохотно и на всякого приезжего смотрят с боязливой задумчивостью...

Всегда гнетет одна и та же мысль: «чуть что и сгонят»... Характерно, что и более зажиточные хуторяне и те «всегда побаиваются»... Их фонды, конечно, более прочны, но — «все может случиться»...

Описывая хуторянина Василия Никишина, взятого мною за типичного представителя бедных хуторян, я говорил уже, как гнетет его эта мысль. Крестьянин с. Студенова Грибанов несколько зажиточнее Никишина. Продавши дом, надел, задолжав «побольше шести полусот», он собрал 1200 руб. и все их «всадил в участок». Семейное положение дало ему возмож-

ность взять два хутора, и теперь, по его словам, «он только думает о том, что не ныне — завтра продадут»...

— Покою нет. Остался не при чем, доход такой, что чуть не плачу; есть стали вдвое хуже... Чую, что не устоять мне...

Начинаются математически точные подсчеты, неопровержимо доказывающие, что «из долгов при таких делах никак не вылезть»...

О лишенных участков хуторянах мне пришлось говорить с одним очень симпатичным священником. Мнения его особенно интересны потому, что до самого последнего времени он был решительным сторонником хуторских хозяйств. Теперь же, после наблюдений жизни хуторян, — священник пришел к тем же выводам, которые дали и мои наблюдения.

— По обязанности моего сана мне часто приходится бывать у хуторян, видеть их в горе, и в радости... Скорее, чем кому-либо другому, они открывают мне свою душу, и я должен прямо сказать, что большинство их живет из рук вон плохо... Во всех отношениях плохо... У многих скота нет вовсе, хлеба на зиму не хватит, а о тех, которых согнали с земли, и упоминать нечего...

— Чем вы объясняете это?

— Причин много — переселение разоряет людей, а с первого же шагу платежи — оправиться не дают; «дошибают», как они говорят... Для чиновников, которые осматривают хутора, все кажется лучше, чем в действительности... Нужно сказать вам, что действительное положение сами хуторяне от них скрывают: боятся! Скажи, говорят, всю правду то, а они и стонят с хутора — скажут, платить будет нечем. Вот и прихорашиваются. А мне видней: ездил я за «новинкой» — к кому ни

приеду, ведет к сусеку: смотрите, батюшка, — нет! И верю. Прихожане меня любят и никогда не обманывают. Недавно вот один за другим эти согнанные начали бегать... Прибежит — ревет: «батюшка, заступись!» А я что могу поделаться? Утешать совестно, слушаю, да молчу... Не знаю, чем кончится эта затея. Одно ясно для меня: народного горя она не избудет... Многие сбегут — поверьте моему слову. В первый год уж 17 человек, чего вам еще? Все кричат — в разор разорили! Конечно, кое-кто и наживется... Богатые еще лучше поправятся. Колобашкин, вон, 60 десятин имеет, а еще взял пять хуторов на подставных лиц. Этим выгодно... А участки эти, которые Колобашкин взял, как раз и принадлежат тем, которых согнали...

Все это видят крестьяне, все великолепно понимают и по своему учитывают...

VII

В октябре 1910 г. в Ливенском уезде Орловской губернии открылась первая, прославленная потом на всю Россию, «сельскохозяйственная выставка скота и продуктов полеводства хуторских хозяйств». Па выставку имели право приводить скот лишь хуторяне, уже выселившиеся на участки. Описывая эту выставку, какой-то губернаторский чиновник впадает в такой лирический экстаз, что пишет о том, чего не было в действительности: плоды собственного воображения выдает за факты, а фактам дает ложное освещение. «Выставленный скот, и продукты полеводства дали такой результат двухлетней самостоятельной хозяйственной деятельности хуторян, которого нельзя было получить в течение полувековой сельскохозяйственной работы в общине». Но по единогласному отзыву всех

компетентных лиц — выставленный скот ничем не отличался от обыкновенного крестьянского скота. Опубликованное ранее условие, что на выставку будет приниматься рогатый скот не моложе 6 месяцев и не старше 5—6 лет — в действительности не соблюдалось: принимался скот всех возрастов. Официальное лицо, присутствовавшее на выставке, категорически утверждало при разговоре со мной, что «принимали скот 8—9 и более лет. «В настоящее время всех выселившихся хуторян в этом участке — 160. Могли они представить на выставку скота любого возраста — 147 голов. На одного хуторянина приходится менее 1 головы рогатого скота. Но все ли 147 голов принадлежали выселившимся хуторянам? Положительно утверждаю, что это не так. Во-первых, официально выяснилось, что скот приводили крестьяне, взявшие отруба, но еще не переселившиеся; во-вторых, некоторые так называемые «хуторяне» привели по 3-6 голов скота. Таким образом, на действительных хуторян остается количество очень ничтожное.

Описывая хутора, я говорил о дворовом Прыткове. Я видел его корову, за которую он получил «денежную награду» в 3 руб. Обыкновенная крестьянская коровенка, цена которой 30-35 руб. То же и у других настоящих хуторян, имеющих коров. Дело только в том, что многие из них рогатого скота не имеют вовсе.

«Из 147 хуторян, выставивших скот, — пишет казенное перо, — 74 получили денежные награды, а трое — почетные награды департамента земледелия: две бронзовые и одну серебряную медали за отличное содержание и кормление рогатого скота». Поразительно фальшиво звучит эта громкая тирада. Что это за «хуторяне», получившие медали за отличное содержание и кормление скота? Серебряную медаль получил

управляющий именьями крестьянского банка — Калининков, выставивший три головы рогатого скота. В число «хуторян» г. управляющий попал потому, что при разбивке на хутора именья в.кн. Андрея Владимировича, за ним осталась помещицья усадьба в 28 десятин с великолепными каменными постройками. Понятно, что г. Калининков может иметь хорошо откормленный скот: очень может быть, что скот его получил медаль вполне заслуженно, но какое отношение имеет это к крестьянским хуторам?

Бронзовую медаль получил богатый лавочник Захаровки Сахаров, о котором я уже говорил. Человек этот имеет земельку, недавно взял отруб, но на него еще не переселился. Имеет в Захаровне великолепный дом, лавочку. Хутор для него — летняя резиденция. Третью медаль получил богатый мужик, купивший второй княжеский хутор с постройками при д. Ивановке.

Вот вам три «хуторянина», отлично содержащие и кормящие скот! Поверьте, господа, что люди эти отлично кормили скот задолго до 1906 года!..

А настоящие хуторяне? Он получили денежные награды от 1 до 10 руб., при крайне, поощрительной оценке их скота!..

Дай Бог хуторянам великолепного скота и всяческой зажиточности! Но теперь у громадного большинства их нет ни того, ни другого.

Выставлены были кое-какие корнеплоды. Но кто их выставил? Лук, например, выставил «хуторянин» Сахаров, много лет занимающийся бахчевным делом. В течение его долголетней практики, несомненно, у него родился лук и лучшего

качества. Где же «результаты», которых нельзя получить в течение полувековой работы в общине?

«Многие из крестьян уже завели люцерну»... Любопытно, кто эти «многие?» Вот я объездил хутора и не нашел этих «многих». Не понимаю, откуда взял их губернаторский чиновник!..

Заключая свой дифирамб, чиновник пишет: «до какой степени хутора, как сельскохозяйственная система землевладения, отвечает экономическим потребностям мелкого собственника и насколько выгоды хуторского хозяйства оценены крестьянами, можно судить по факту, что товарищество, купившее землю графа Комарова, расположенную по соседству с Захаровскими хуторами, разделило свою землю на хутора самостоятельно, без участия землеустроительных органов, после многолетнего владения на общинных началах, как только увидело живой пример хуторского хозяйства у Захаровцев».

Факт, действительно, очень важный, если бы только он существовал.

Обращаюсь к видному земскому деятелю, стороннику хуторской системы.

— Верен этот факт?

— Положительно утверждаю: выдуманно все от слова до слова. Комаровцы и не думали выходить на хутора. Да и смысла им нет никакого.

Обращаюсь к управляющему именными крестьянского банка.

— Выдуманно. Вообще здесь много неточностей. Комаровцы живут по-старому.

Спрашиваю у комаровцев.

— Верно ли это?

— Нет, живем, как жили!

Гораздо любопытнее, как выставка эта, — приведшая в такой восторг казенного корреспондента, — отразилась в понимании хуторян.

— Вы были на выставке?

— Как же, 3 рубля получил за корову.

— Расскажите, как это было.

— Да, чего, умора!.. Просто комедь ломали. Разослали сначала нам афиши. Начали мы толковать. Потом чиновник едет: «гони, говорит, скот!» «Незавидный, мол, ваше благородие!» «Ничего, говорит, валяй». Ну, что же, раз говорит — надо вести, а там денег еще обещали. Вымыли мы с бабой корову — погнал я. Пришел — там все форменно: флаги, место для начальства, дорожки песочком посыпаны, елочки понатыканы. Посмотрели корову, записали. Гляжу: народу много; есть и не хуторяне: мужик знакомый с комаровской земли 6 голов привел. Спрашиваю соседа: разве это, говорю, хуторянин? Ведь он собственник! «Все равно, говорит, начальству хочется, чтобы голов больше было». Ну, говорю, ладно, — дело не наше. Гляжу — Сахаров с луком стоит, а говорили, чтобы только скот. Потеха! Торгуешь, что ли? спрашиваю. «Нет, говорит, начальству поглядеть любопытно». Какой-то чиновник смотрит коров и любит. «Я, говорит, люблю таких. Рост не велик, а молочисты». Мы молчим.

— Дальше что было?

— Дальше — подошел ко мне один тоже наш хуторянин и говорит: «Слышал, говорит, четыре заводских бычка для нас

привели: хуторянам, вишь, раздавать будут». — Кому же? — спрашиваю. «А это, говорит — неизвестно». В это время приехал чиновник. Посмотрел скотину. «Все, говорит, в порядке». Затем начал нам говорить: «старайтесь, говорит, и мы вас наградим». Сосед-от мой опять под бок мне тычет: «как кончит, говорит, бери его на руки и качай» — Зачем? — спрашиваю. «Тогда, говорит, бычок попадет тебе бесприменно». — Когда кончил он, я хочу схватить его, а боюсь. Гляжу: другой наш шустрый мужиченко уж подбежал к нему и цап за ноги. Мы за ним. Кто за руки, кто под спину подталкивает... Я боялся было, а потом вижу — он доволен. Потом стали награды раздавать: кто первый-то схватил, тому красненька попала, а мне трешна. Бычком тоже обделили. Так что напрасно только тратил я свои силы. Мужики тоже ругались. «Лучше бы, говорят, эти деньги поровну нам разделили, потому что все мы всегда готовы уважить».

— Кому же попали бычки?

— Один управляющему, а остальные три — богатым мужикам. Спрашивали мы тогда: «почему же нам-то, ваше благородие?» «Вы, говорит, народ бедный и настоящего прокорму не можете иметь; а бычкам, говорит, нужна холя, потому что они — скот нежный. Для коров же ваших они всегда должны оказывать содействие по рублю за каждый раз». Мужики вошли в обиду: «мы, говорят, день потратили, а главная добыча пошла богачам. Ведь, говорят, если по рублю за раз брать, то на эти деньги бычка очень даже хорошо можно прокормить». По никакого внимания не было.

— Этим дело и кончилось?

— Кончилось. Пригнал я корову домой — гляжу: кое-кто из других хуторов пришел. — «Как, говорят, дела?» — «Трешну, мол, получил». Надо бы, говорят, могоарычи». — «Ладно», говорю. — Рассказал им про бычков; здесь с горя всю трешну мы и пропили.

— Для чего это выставка была?

— Кто их поймет. Начальству, видно, скотину нашу желательно было поглядеть. А там выбрали кто побогаче и наградили бычками...

Эти четыре бычка — злоба дня для хуторских разговоров. Дело в том, что специально для крестьян, выселившихся на хутора, на счет казны куплены были четыре бычка — чистокровные сementалы. О бычках этих разговор шел давно, и многие на них рассчитывали. Розданы они были: один «хуторянину» Калинникову, а три — зажиточным крестьянам. Роздали их на таких условиях: кормить три года, уступая на ставку только коровам хуторян, по 1 рублю за случку. Деньги идут в пользу «хуторянина», содержащего бычка. Через три же года бычок поступает в полную собственность «хуторянина».

— Кто побогаче, тем и награда, и бычки...

— Знали бы, лучше бы не гоняли скотину на эту выставку...

— Рука руку моет...

— Только обе грязные делаются...

— Нет, по-моему, пожаловаться начальству, — только и всего.

«Хуторяне» тоже. Куда угодно примажутся...

— Им бы только взять...

Таким образом, на выставке, как и в жизни, резко вырисовались два типа хуторян: богатые, пользующиеся всеми преимуществами хуторской жизни и казенной опеки, и громадное число бедняков, имеющих по одной скотинке, которым больше обещают, чем делают... О хуторянах, вовсе не имеющих скота, — нечего и говорить... И выставка в конце концов показала одно: скота у хуторян мало и качество его незавидно...

О таком итоге выставки единодушно говорят как сами хуторяне, так и местные общественные деятели. Все говорят, что в рамках помпезной обстановки скот хуторян и сами они производили довольно жалкое впечатление... И только всем довольные гг. землестроители нашли возможным и из этой выставки сделать вывод о благоденствии хуторян..

1910 г.

Пролетаризация деревни. Заметки

I

Председатель совета министров П.А.Столыпин, однажды в заседании Государственного Совета между прочим, сказал: «что дело землеустройства не бесплодно, что ваш усидчивый труд по окончательной разработке этого закона не останется без результата, доказывает одно поразительное явление, явление быть может, недостаточно учитываемое, а быть может и нарочно замалчиваемое, — это горячий отклик населения на закон 9 ноября, это пробудившаяся в населении энергия, сила, порыв, это то бодрое чувство, с которым почти одна шестая часть домохозяев общинников перешла уже к личному землевладению. Господа, более 10 миллионов общинной земли, перешедшей в личную собственность, более 500.000 заявлений о желании устроиться на единоличном хозяйстве, более 1.400.000 десятин, уже отведенных к одним местам, вот то живое доказательство, которое я принес сюда, чтобы засвидетельствовать перед вами, что значит живая неугасимая сила, свободная воля русского крестьянства. И безрассудно было бы думать, что такие результаты достигнуты по настоянию правительственных чинов».

Если очистить этот отрывок речи от лирики и пафоса, то видны будут два положения: закон 9 ноября дал колоссальнейшие результаты, результаты исключительно положительные, и достигнуты они без всякого «настояния правительственных чинов», лишь в силу «горячего отклика населения».

Эти два положения, которые в разжиженном виде ежедневно преподносит и «Россия», не совсем верны. Прежде

всего удивительно, что как г. Столыпиным, так и всеми популяризаторами его речей упускается «одно поразительное явление, явление, быть может, недостаточно учитываемое, а быть может и нарочито замалчиваемое», — это массовая продажа выделившимися крестьянами своих земель. Затем, не совсем верно, что «чины правительства» идут на встречу лишь доброй воле крестьян, а не принуждают их к выделу всеми правдами и неправдами.

Целая рать землеустроителей, земских начальников, добровольцев всех сортов — ведут в деревне непрерывную агитацию, стараясь доказать крестьянам, что выдел из общины возродит деревню, создаст условия свободной и зажиточной жизни. В своих речах эти агитаторы довольно открыто заявляют, что «этого хочет Государь», что «тем, которые исполняют Его волю, и Он поможет во всяких нуждах и бедах». Прибегают и к другим приемам: крестьянин Федор Кириллин рассказывает, например, что в Новоторжском уезде Тверской губернии земский начальник 4 участка г. Богданович, на волостном сходе Климовской, Прудовской и Метновской волостей, давал такие пояснения: «братцы! все равно вас разделят... Этого не миновать!.. Лучше уж вам самим промежду себя заблаговременно разделиться! Кто раньше сделает заявление, тому и земля лучше достанется, так как он может выбирать и знать, что ему хорошо, что плохо. А кто останется, тому придется уж остатками пользоваться».

Примеров — заманчивых обещаний и посулов, угроз, открытого покровительства тем, кто пожелает выделиться, — можно привести, сколько угодно. Когда же и это не помогает, то прибегают к способам несколько экстраординарным. В Балашове — по словам «Саратовского Листка» — произошла

такая сценка: «Земля и воля! Манифест! Счастливый день русского народа! Пять копеек!» — кричат на базаре 1-го марта какие-то молодцы, окруженные толпой мужиков. Многие из крестьян торопливо вынимают пятаки и покупают «манифест». Около читающих собираются кучки. Все напряженно ловят слово чтеца. Но скоро соображают, что имеют дело с черносотенной «землей и волей». Публика разочарована. Многие бранятся». И в других очерках мне приходится поминать о приемах агитации землеустроителей за «землю и волю», которые даст крестьянам закон 9 ноября. Очень часто «чины правительства» превращаются в агитаторов народников, и речи их трудно отличить от речей красноречивого социалиста-революционера.

Однако, одних «чинов правительства» и добровольцев-патриотов часто оказывается недостаточно. Констатируя это, г. пермский губернатор рекомендует — на съезде земских начальников — привлечь к агитации «волостных старшин, писарей и наиболее развитых крестьян».

Полчище хвалителей закона 9 ноября охватило своими щупальцами деревню и беспрестанно «долбит крестьянские головы», обещает, угрожает, обманывает... Но это далеко не все способы «настояния правительственных чинов». Есть еще один — это, так сказать, денежное поощрение. 27-го июня 1908 г. был утвержден особый журнал совета министров о выдаче крестьянским банком ссуд на покупку крестьянами земли у частных владельцев. В пункте 1,а этого журнала ссуду при покупке земли единоличным владельцем определили в 90, а в некоторых случаях и в 100 процентов. А для общественников и крупных товариществ пункт 2 назначает лишь 80 процентов оценки банка. Еще отчетливее тенденция эта проведена в

циркулярах главноуправляющего землеустройством и земледелием о денежной помощи при землеустройстве. Общий мотив их — оказывать всякое содействие, безвозмездно денежную помощь выходящим из общины и переселяющимся на хутора¹. Помимо денежной помощи, выделяющимся обещаются и даются всевозможные льготы по отпуску леса из казенных дач (Правила 17 марта 1907 г. Особенно см. пункт 1), приобретению улучшенных сельскохозяйственных орудий, племенного скота и т. д. Ко всем этим циркулярам и распоряжениям необходимо добавить еще последнее циркулярное обращение г. Столыпина к земствам об оказании агрономической помощи хуторянам. Многие земства очень резонно заключали, что «агрономическая помощь одинаково необходима как хуторянам, так и общественникам», и что «выделять хуторян в особую категорию привилегированных крестьян» — значит «искусственно увеличивать число желающих выделиться». Другие земства пошли на встречу этому созданию «привилегированных групп» и ассигновали значительные суммы для поддержки хуторского хозяйства.

Все эти бегло отмеченные мероприятия показывают, насколько результаты землеустройства достигнуты, без «настояния правительственных чинов». В самом деле: если закон 9 ноября действительно «удовлетворяет назревшей потребности деревни», то неужели для проведения его потребовались бы такие беспримерные поощрения и понукания, такая многоты-

1 См. циркуляр от 26 февраля 1907 г. № 18 — разъяснения комитета по землеустроительным делам нижегородскому губернатору от 19 марта 1907 № 624—952 и т. д.

сячная рать агитаторов и пропагандистов? Возьму маленький пример: в настоящее время в деревне «назрела насущнейшая потребность» в свободе слова и собраний. Дайте крестьянам эту свободу, и вам не нужно будет посылать в деревни полчища чиновников для убеждения крестьян пользоваться этой свободой: они воспользуются ею безо всяких «настояний», и «поощрений». С законом же 9 ноября происходит нечто иное.

Однако, я далек от мысли, что все крестьяне выделяются, благодаря «настоянию». Констатируя, что такое «настояние» производится в самых широких размерах, я признаю, что две группы крестьян выделяются почти добровольно. Это — крестьяне, выделяющиеся для продажи земли, и крестьяне, выделяющиеся для того, чтобы округлить наделы путем приобретения земли у первых.

II

Продажа надельной земли происходит усиленным темпом. Я говорил уже, что г. Столыпин «замолчал» этот факт, а между тем в деревнях он является самой болезненной злобой дня. Обнищание крестьян — в смысле продажи ими наделов — совершается с быстротой, которой не ожидали самые решительные противники столыпинского закона.

Вот соответствующая таблица:

Губернии / Число домохозяев, укрепивших наделы к 1 мая 1909 г. / Из них к 1-му сентября продали / Цена, по которой продавалась надельная земля за дес.

Воронежская	..	16.675	1.063	86 руб.
Екатеринославская	..	61.772	11.751	134 „
Киевская	..	11.175	2.298	200 „

Курская	..	51.620	5.935	129 „
Новгородская	..	12.102	1.116	16 „
Орловская	..	53.737	3.789	94 „
Пензенская	..	23.846	1.728	75 „
Полтавская	..	4.135	1.273	151 „
Псковская	..	6.574	1.127	55 „
Рязанская	..	14.696	3.774	84 „
Самарская	..	65.416	5.285	33 „
Саратовская		32.248	1.425	50 „
Симбирская		22.693	1.099	57 „
Смоленская	..	12.609	1.524	56 „
Ставропольская	12.070	1.527	70 „
Таврическая	..	40.430	9.775	128 „
Тамбовская		24.408	3.621	106 „
Тульская	..	9.602	1.454	90 „
Уфимская	..	22.891	1.704	35 „
Харьковская	..	38.513	5.289	86 „
Херсонская	..	49.358	6.917	120 „
Черниговская	..	5.077	1.364	85 „

Всего к 1-му мая 1909 г. крестьян, укрепивших наделы по всей России, было 778.263 с количеством земли в 5.917.030 десятин. Из них к первому сентября продали только по 39 губерниям более ста тысяч домохозяев с 419.788 десятинами. При этом средняя цена продаваемых наделов по 39 губерниям была 63 руб. за десятину, а средняя банковская цена в это время равнялась 126 руб. 17 коп. за десятину. Следовательно,

крестьяне свои наделы продавали по ценам вдвое низшим, чем те, по которым они покупают у банка.

Из приведенных цифр видно, что крестьяне, укрепившие наделы, продают их усиленно; что продают наиболее бедные и малоземельные крестьяне по цене, которую им предложат односельчане. В самом деле: продали землю в среднем 20% всех выделившихся; земли же им принадлежит менее 10%. Однако, эти данные требуют некоторых оговорок. Сюда внесены лишь сделки, совершенные нотариальным порядком. Кроме этих сделок, в деревнях сплошь и рядом совершаются частные сделки, отобрание наделов за долги и иные формы замаскированной продажи. В Пензенской губ. мне сплошь и рядом приходилось наблюдать такие сцены: задолжавший крестьянин передает свою землю кредитору в аренду, конечно бесплатную, до тех пор, пока не будет возвращен долг.

— Почему же ты не продашь землю? Ведь дороже взял бы!

— Жалко все таки... Может наклюнется работенка, глядь, и уплачу. Тогда земля опять моя...

Конечно, земля так у кредитора и остается, а работенка если и наклеивается, то заработка едва-едва хватает на жизнь.

Отчасти этим, по-видимому, объясняется и несоответствие цифр сделок по продаже наделов в официальных отчетах с цифрами, которые приводят частные наблюдатели. Вот несколько примеров. По официальному отчету в Ставропольской губ. наделы продали 1527 домохозяев, а по сведениям корреспондента «Речи»,

за два года лишились земли 6300 дворов, при чем не мало дворов владели более чем одним наделом. Общая

цифра проданных крестьянских наделов выразится около 6360. Скупкой наделов земля сосредоточивалась в одних руках. Случаи покупки 30, 40 и более наделов были нередки. Общая площадь всей проданной земли равна, приблизительно, 44520 десятин (средний крестьянский надел с выпасами, выгонами и прочими угодьями принимается в 7 дес.).

Средняя продажная цена за десятину—40 руб. Цифра эта колеблется между 25 и 65 руб., преобладающая же продажная цена 45 руб. За всю площадь проданной за эти два года крестьянской земли выручено в среднем 1.780.800 руб. (помещичьи земли и земли, продаваемые земельными и крестьянским банками, идут не ниже 125 р. за десятину). Не более 50 проц. всех сделок по продаже совершено за наличный расчёт. Были примеры покупки крестьянских наделов крестьянскими обществами, но попытки эти встретили противодействие со стороны администрации.

Об усиленной продаже земель в Орловской губ. сообщает «Новое Время». По сведениям этой газеты, продажа происходит усиленно, и число продающих с каждым годом увеличивается. Так,

в 1907 г. продано было в десяти уездах Орловской губернии за исключением Ливенского и Елецкого уездов— 421 домохозяином 17321/г десят. за 139.895 руб., по 81 р. за десятину. В 1908 г. продано 263 домохозяевами 882 1/3 десят. за 84,447 р., по 96 р. за десятину. Совершенно другую картину представляет собою продажа наделных земель в 1909 г.: 2,355 домохозяевами продано уже 16741 1/3 десят. за 594,771 р., всего по 35 р. за десятину. В ны-

нешнем году за потекшие два месяца тоже много продано такой земли. Крестьян постоянно можно видеть во всех нотариальных конторах.

Приблизительно одинаковый процесс происходит в губерниях — Саратовской, Московской, Владимирской, Смоленской, Самарской, Черниговской и др. Отовсюду сообщают о переходе земель в одни руки по самым низким ценам, при чем цифры сделок сообщают несравненно более высокие, сравнительно с официальными.

Низкие же цены объясняются двумя причинами: отсутствием конкуренции покупателей и спешностью продажи. Какие слои крестьян выделяются и продают земли, кто эти земли скупает, из официальных отчетов не видно. У отдельных администраторов, правда, изредка вырываются искренние признания, как, например, у тамбовского губернатора, который на съезде по землеустроительным делам Тамбовского, Козловского и Кирсановского уездов принужден был констатировать, что «плодами закона 9 ноября воспользовались не наиболее обеспеченные крестьянские слои, как это следовало бы ожидать, а деревенская голытьба, поспешившая укрепить свои наделы, чтобы потом продать землю», — но подобная искренность редка. Для более подробного выяснения этого приходится обращаться к наблюдениям частных лиц.

III

Несколько месяцев мне пришлось жить в Грязовецком уезде Вологодской губ. Случаи выхода из общины здесь почти равняются случаям продажи. В д. Андрaково в первую голову выделилась старуха Харламиха. Узнав каким-то образом, что

надел она может «прикрепить и продать» — старуха решила «взять хоть сколько-нибудь — все равно умру, даром пойдет обществу» За надел в пять слишком десятин ей предложили 115 рублей. Харламиха взяла эти деньги и уехала «доживать последние годы в городе».

Три-четыре бедняка, задолжавшие столько, что «никогда не уплатить», выделились и отдали землю за долги, получив по 10 руб. добавочных. В д. Эсюткино выделился крестьянин Буланин — типичный деревенский гуляка. «Копал» по ремеслу, он ходит из одной деревни в другую, роет и поправляет колодцы, летом ходит на поденщину к помещикам. Продать землю — давнишняя его мечта. Узнав, что продать, наконец, можно, он немедленно вышел из общины и начал искать покупателя. Однако, видя резко-отрицательное отношение крестьян к выходу из общины и выделению земель, никто долго не соглашался купить у Буланина надел. Охотник нашелся только тогда, когда Буланин решил отдать свои пять десятин за 100 руб., с рассрочкой на пять лет. Получив пять руб. в задаток, Буланин купил на них охотничьи сапоги, в которых и щеголяет теперь по деревням и на помещичьих работах. Благодаря такому оригинальному способу «выхождения в собственники», Буланин стал знаменитостью на целую окрестность. В отдаленных от Эсюткина деревнях при разговоре о выходе из общины приходится слышать:

— Да ведь как выйти-то? Опасно больно! Чуть чего и продашь землю за дарма... Вон он, Буланин-то выделился, а теперь — настоящий гулиган.

В д. Степково первым продал землю Павел Пименов, портной, много лет уже живущий в Москве; землю он продал, так как до выдела земля эта «все равно никакого дохода не

давала», потому что «владело ей общество». Понятно, что выдел этот осложнился нежеланием крестьян «выпустить» Пименова, и на этой почве произошло много конфликтов. Чтобы скорее избежать столкновений с обществом, Пименов продал землю «почти ни за что» и уехал в Москву.

Особенно много типичных случаев выдела и продажи можно наблюдать в Саратовской губ. Здесь выделяются, преимущественно, бедняки. Землю они отдают за долги и бегут на заработки.

В «Совр. Мире» мне приходилось уже говорить об Огаревке Петровского уезда. Село это типично потому, что оно прошло все фазы борьбы за землю. Теперь там происходит обычный для деревень процесс: в руках богатых крестьян скопляются общинные, а частью и помещичьи земли; беднота бежит искать заработков. Возражая на это, саратовская газета «Волга» говорит:

Мы великолепно знаем Огаревку, знаем, в каком положении там отрубное хозяйство. Отрубники засеяли чечевицей свои паровые поля, обычно лежащие у общинников пустыми, и получили по 120 пуд. с десятины, продали по 50—60 коп. за пуд, получив, таким образом, по 60—70 р. за землю, пролежавшую бы непроизводительно исключительно ради пастьбы на ней скота.

Не знаю, хорошо-ли известно «Волге» положение дел в уездах. Недавно я снова был в Огаревке, и первое, что бросается в глаза—это половина почти заколоченных изб.

— Где у вас народ?

— Разно разъехались: кто в городе на заработках, кто в городе в тюрьме. Выделилось здесь значительное число крестьян

ян, но переселился на участок, пока что, один Иван Зеленцов. Имеет он десятину на полторы души и живет далеко не завидно. Продажа наделов идет здесь бойко: зажиточный мужик Петр Кузьмич Белов купил, уже четыре надела; Белов скупает наделы у стариков и у тех, «которые прокармливаются в городе», и т. д.

— Почему вы продаете землю?

— Что делать? есть нечего, долги одолели... Прямо так надо говорить, что копейки так нигде не займешь — все под землю! Вон Павел Шестеркин вздумал жениться, а не на что! Занял под землю, а теперь и совсем продал.

— Что же он делает?

— Работником на барском дворе живет!..

Десятки рассказов все об одном и том же: на наделах не проживешь, в деревне заработка нет, а богачи дают в долг исключительно под землю.

Процесс выхода из общины и типы выделяющихся крестьян в настоящее время выяснены совершенно. Ясно, что выделяющиеся из общины крестьяне делятся на три совершенно различные типа.

На первом месте должен быть поставлен уход не только из общины, но в большинстве случаев и из деревни. Крестьяне именно затем и выделяются, чтобы, продав землю, раз навсегда покончить с крестьянским хозяйством. Сюда же относятся и те из выделяющихся общинников, которые, состоя юридически членами общины и имея, следовательно, земельные наделы — фактически в деревне давно не живут, земли свои или сдают односельчанам, или ими (землями) по своему усмотрению распоряжается община. Значительное количество петер-

бургских, московских, Владимирских и других рабочих, до последнего времени находящихся в общинах и несущих связанные с этим повинности—выходят из общин и продают земли. Юрисконсульства при профессиональных союзах крупных промышленных центров указывают на факт постоянного обращения к ним рабочих за советами по поводу выхода из общины. Таким образом, эта категория выделяющихся состоит из пролетариев, связанных с общиной лишь юридически, и из деревенской бедноты, бегущей в города, и пополняющей ряды чернорабочего пролетариата. Газетами отмечен факт необычайного наплыва в этом году чернорабочих во все крупные города, особенно в Петербург (грузчики, катали и т. п.) и в города Поволжья. Анкеты профессиональных союзов и разговоры с этим ищущим работы человеком показывают, что большинство этих людей с деревней и землей расстались навсегда; часть же, продав пахотные земли, оставила за собой избу и усадьбы.

Второй тип выделяющихся составляется из крестьян, желающих по тем или иным — преимущественно семейным и общинным — соображениям укрепить за собою количество земли, находящееся в данное время в их распоряжении. Уменьшившееся количество — после последнего передела душ, желание передать надел родственнику, не входящему в общину, и т. п. причины побуждают крестьянина «выйти в собственники земли». Ничего общего с хуторским хозяйством выделение это не имеет: в большинстве случаев крестьянин закрепляет за собою те участки, которые находились в его пользовании; чересполосица так чересполосицей и остается; тем не менее в подобных случаях выделяющиеся встречаются

резкое противодействие со стороны общины, теряющей, обычно, несколько десятин земли.

Наконец, третий тип — тот самый «нормальный выход из общины на отруб», который исключительно и пропагандируется агентами правительства. В этом случае крестьянин закрепляет за собой участки по хозяйственным причинам; требует нарезки земли в одном месте, иногда огораживает свой участок и переносит на него избу.

Очевидно, земли продают главным образом лица первой и второй групп; при чем первая продает земли целиком, а вторая, обычно, тот или другой клин на покрытие неотложных нужд.

Елизаветградская газета, рассказывая о переходе земель «в цепкие руки», говорит, между прочим, о мотивах, по которым продают земли выделяющиеся второй категории:

Один продает две десятины из семи, чтобы сделать дочери приданое, упуская из виду, что две десятины земли были бы лучшим приданым, обеспечивающим новую семью на первых порах; другой продает столько же, чтобы купить лошадей и заняться извозом и т. д. в этом роде.

А вот и другие мотивы. „Нас двое с бабой, детей нет“, говорил в прошлом году пьянчужка-старик, „а земли 7 десятин; вот продам две десятины, и будем мы с бабой и сыты и пьяны; через два года продам еще две, там—остальные три, и доживем с бабой до смерти, а обществу землю оставить не желаю“. Не знаю, хватит ли ему до смерти 7-ми десятин, но проданных в прошлом году 2-х десятин на два года не хватило, и в этом году он продал еще две десятины.

Теперь необходимо сказать несколько слов о том, кто скупает земли. В большинстве мест земли скупаются деревенскими богатеями, при чем некоторые из них скупают целые площади. Так, в Тамбове на съезде «с. р. н.»

присутствующими на нем крестьянами был приведен пример одного бывшего купца второй гильдии, приписавшегося теперь к крестьянскому обществу и принявшего скупку крестьянских земель; был также приведен другой пример неутверждения одним земским начальником приговора общества о покупке общиной 120 десятин освобождающейся из-за переселения в Сибирь однообщественников надельной земли, каковую землю имеют в виду приобрести волостные должностные лица. Одним членом съезда было указано, что в его обществе готовится крупная покупка 600 десятин надельной земли в одни руки.

В московской губ. «земли скупают, преимущественно, кулаки»; Во Владимирской губ., «крестьяне продают наделы кулакам», в саратовской «земли скупают местные богачи», при чем в Петровском уезде земли скупает торговец хлебом Василий Васильевич Сапарин, приобретший более 10 наделов. В Малой Сердобе земли скупаются богачами Стрельниковым и Бочкаревым; в Орловской губернии в Ливенском уезде, скупает Колобашкин и т. д. Достаточно сказать, что появились специальные профессии скупщиков надельной земли, которые, покупая у одних, перепродают другим с барышом, и комиссионеров, налаживающих сделки...

Процесс, следовательно, совершается быстро — и конца ему не видно...

IV

Из предыдущих бегло набросанных заметок видно, что пролетаризация—вернее пауперизация — деревни совершается «с энергией и силой», во всяком случае не меньшей, чем процесс выхода из общины. Замалчивать это явление нельзя: слишком резко и наглядно вырисовалось оно на фоне деревенской жизни. Следовательно, жонглировать цифрами «укрепивших землю в собственность» следует с большой осторожностью. В 1908 г. в Государственной Думе г. Столыпин заявил, что число выделившихся из общины равняется двум миллионам; 15-го марта 1910 г. в Государственном Совете он понизил эту цифру до 1.700.000 домохозяев. Цифра эта несомненно преувеличена. Но если даже согласиться, что она именно такова, то отсюда далеко не следует, что все эти «около 1.700.000 домохозяев» превратились в «крепких земле крестьян», создание которых имел, главным образом, в виду закон. Значительная часть выделившихся успела—по крестьянской терминологии—превратиться в «голоштанников», т. е. продали землю и навсегда распрощались с деревней.

1909 год был урожайным. Тем не менее процесс продажи земель не только не уменьшился, но по сравнению с 1908 г. значительно усилился. «Что же будет, — пишет мне крестьянин Орловской губ. Ливенского уезда Иван Назаров, — если Бог пошлет неурожай? Все земли, ведь, перейдут кулакам. Теперь займы никто хлеба не даст иначе, как под землю. Пока народ крепится, а как голод подведет животы, так на все пойдут... Так думаю я, что изо всего села нашего останется дворов двадцать, и вся земля им перейти должна». Концентрация земель уже теперь отмечена даже официальными данными: по

сведениям землеустроительных комиссии, в 39 губерниях Европейской России к 1 сентября 1909 г. продали свои участки 82.274 домохозяина, а приобрели их 67.975 домохозяев, имеющих, кроме того, свои наделы, а отчасти и скупивших помещицы земли. Приобретая по 50 и более десятин, зажиточные крестьяне живут великолепно, и их-то исключительно и подсовывали г. Столыпину землеустроители, когда он осматривал хутора и отруба. Говоря о «горячем отклике населения», об «энергии, силе, порыве и бодром чувстве крестьян», г. Столыпин руководствовался, главным образом, своими наблюдениями при поездке. Между тем о поездке его в деревнях говорят не иначе, как в ироническом духе, и рассказывают ряд курьезов. Вот, например, рассказ корреспондента «Русских Ведомостей»: «Потребовалось показать министру хорошие хутора. С этой целью повезли его в меннонитскую колонию, действительно представляющую собой цвет земледельческой культуры, устроили «настоящую», как выразился один чиновник, встречу, с аркой и т. п.

— Вот теперь я вижу, — сказал министр, — насколько благосостояние поднимается у лиц, живущих отрубам или хуторами. До сего времени я еще колебался!..

Однако, показывая министру меннонитские хутора, сопровождавшие его лица забыли сказать ему одну подробность, а именно, что хозяева, приведшие его в восторг, имели по 65-ти десятин и больше на двор».

Из своих наблюдений я мог бы рассказать еще большие курьезы, но о них в следующих заметках о жизни хуторян и «собственников». Несомненно одно — бодрого чувства в деревне нет вовсе. Есть растерянная озлобленность, есть полная беспомощность, есть непримиримая ненависть «собственников» к

общественникам — и наоборот. Деревня раскололась на ряд враждующих групп. Их взаимная, внутренняя вражда отвлекает внимание крестьян от так называемой высшей политики, и это единственный плюс для г. Столыпина.

Вообще же в деревне происходит то, на что указал депутат Белоусов в речи о законе 9 ноября: «Беднота выделяется и продает землю; зажиточные крестьяне скупают наделы разорившихся общественников. Среднее крестьянство остается в общине и ждет — «что из этого выйдет?» Все эти группы враждуют одна с другой, вступая в постоянные конфликты. Об улучшении земледельческой культуры, о решении аграрного вопроса в России — говорить еще слишком рано».

К этому необходимо добавить, что, продавая наделы, беднота бежит в города «на заработки» и уже теперь чрезмерным предложением чернорабочих сил уменьшает до крайности заработную плату.

В Поволжье и московском промышленном районе это явление наблюдается теперь наиболее резко.

1910 г.

■ Чье преступление?

I

Деревня все более и более привлекает внимание печати и общества. Не проходит дня без того, чтобы в той или иной газете, в том или ином журнале не появилось обобщающих статей о деревенской жизни и деревенском настроении. Вышло не мало книг, в которых сделаны попытки дать общую картину положения деревни. Характерно, что большинство статей и книг на тему о деревне написаны людьми правого, или прямо черносотенного лагеря, — поэтому все они с определенной правой тенденцией и с определенными выводами. Не менее характерно и то, что выводы этих людей одного лагеря никогда не сходятся, а иногда прямо противоположны.

Обычная схема этих писаний такова: рисуется ужасная картина всевозможных пороков и преступлений, называется это «обычными деревенскими буднями», и делается первое заключение — «вот итоги общинного хозяйства!». Затем, розовой краской набрасывается жизнь на хуторах, в стихах и прозе воспевается идиллия хуторской жизни, где царствует избыток во всем, где смягчаются нравы, где «Новое Время», «Россия» и «Земщина» неотъемлемо присутствуют за образами и в руках крестьян. Эта идеальная картина дает материалы для второго вывода — вот результат благодетельных казенных реформ!

Иногда у авторов, трактующих о деревне, происходит «разделение труда»: одни специализируются по части деревенских безобразий, другие по части восхваления казенных реформ. Эта специализация ведет к тому, что безобразия

получаются невозможно безобразны, а выгоды казенных реформ рисуются такими красками, что у каждого «текут слюнки» от зависти. Возьмите книгу Родионова — «Наше преступление» и книгу Бельского о хуторах, возьмите статьи Меньшикова о «Крестьянском терроре» и статьи А.Столыпина об идиллии хуторской жизни, возьмите, наконец, речи членов Государственной Думы и Государственного Совета, и вы найдете одно и то же: ад какой-то представляет из себя крестьянская жизнь, одно «отрадное явление» — хутора! Отсюда делается понятный вывод — помогайте правительству в его реформах деревенской жизни, и современный ад заменится раем хуторской жизни...

Чрезмерная услужливость, однако, иногда приносит и вред тем, кому стараются прислужиться. Так оказалось и в данном случае: авторы, воспевающие реформы, перестали считаться с рамками прислужничества и создали невероятную путаницу. Едва вы успеваете узнать от одного автора, что все деревенские «безобразия велии» родила и родит община, что хутора и отруба являются живой водой для разлагающегося общинного трупа, как другой, не в меру пылкий Пиндар казенных реформ возглашает: «Общины нет! Она уничтожена, она рассыпалась, как карточный домик, при первых шагах землеустроительной политики»!

Прекрасно, — думаете вы, — общины нет, нет того зла, от которого проистекали «всяческие безобразия»; конечно, «безобразия» эти сразу не исчезнут, но раз вырван корень — они, несомненно, будут заметно таять. Однако, успокоиться на этом вам не дают: третий автор приводит цифры поджогов и, — как дважды два — доказывает, что за последние два-три года поджоги возросли в невероятной степени, и что виновата

опять-таки община», та самая, которой — по выводам предыдущего автора — нет, которая «рассыпалась, как карточный домик».

В чем же дело? — удивленно спрашиваете вы. Никакого противоречия нет, — отвечает «Новое Время», — община рассыпалась, но — к сожалению, — вместе с пей уничтожен и положительный ее институт, — «порка»! Идеал, следовательно, в хуторах и порке. Но здесь опять-таки те-же цифры поджогов вас разочаровывают: они говорят, что в то время, когда розга и нагайка свободно гуляла по мужицким спинам, — цифра поджогов успела сделать наибольший скачек вверх...

Как видите, масса статей не дает никакой общей картины, выводы в статьях противоречат посылкам, рецепты оказываются далеко не радикальными. И чем больше читаете вы эти статьи, тем больший сумбур получается в вашей голове, и вы отказываетесь понимать — почему учащаются «безобразные явления» деревенской жизни, что порождает их, кто виновен в этом «преступлении» и когда они исчезнут...

Попробуем разобраться. В чем проявляются те деревенское «безобразия» и «преступления», о которых так много кричат за последнее время? Из книги Родионова — «Наше преступление», и из книги Ермолова, из статей Меньшикова и других можно сделать вывод, что проявляются они в насилиях над помещиками, поджогах, буйствах, порче скота, убийствах и т. д. Частью эти «преступления» направлены против помещиков, а главным образом крестьяне направляют их друг против друга. «Преступления» всегда описываются ярко и образно, но никогда ни слова не говорится о том, каково экономическое положение «преступника», и каковы отношения его к объекту «преступления». А между тем это очень интересно, и, может

быть, как раз эта-то сторона дела и выясняет причину «чрезмерного увеличения преступлений».

В отношении помещиков крестьяне начинают проявлять «невиданные до сих пор личные насилия!? Даже во время мужицких погромов насилий над личностями не было, а теперь—то и дело, — то оскорбляют, то бьют». Но ведь до «мужицких погромов», после их и в настоящее, время сами помещики, по отношению крестьян, считали и считают позволенными всякие средства и теперь завопили о деревенском хулиганстве» и «терроре» исключительно потому, что мужик начал протестовать и «давать сдачи».

Здесь не место решать положительная это черта, или отрицательная, — важно констатировать факт — «мужик дает сдачи», и помещики это называют «террором». В Петровском уезде Саратовской губернии есть помещик «генерал» Аплечеев. Почему он называл себя «генералом», неизвестно, но десятки лет он вел себя с крестьянами по-генеральски: издевался над ними всевозможными способами. Поймает, например, на своем сенокосе мужика с вязанкой травы, приказывает его связать и начинает «распоряжаться» над связанным с «семихвосткой».

- Ешь, сукин сын, траву! Жри!..
- Батюшка...—молит мужик, катаясь по земле.
- Жри, а то запорю!..
- Отец...
- Ну?!!

Мужик начинает жевать сено. Довольный барин смотрит на интересное зрелище и протестует, когда мужик отбрасывает толстые — «несъедобные» — былинки. Насладившись в доста-

точной мере любопытной картинкой, «генерал» замечает. — Ну, чем они не скоты! — облагает мужика штрафом и отпускает 2. Хлестать нагайкой, бить «по роже», «выбивать зубы», «сворачивать скулы», — все мог г. Аплечеев. Но вот теперь мужики «перестали покоряться» и «дают сдачи». Посмотрите, с каким удивлением и негодованием кричит г. Аплечеев: — «он меня толкнул». Можно подумать, что мужик разбил дарохранилище. После каждого «толчка» г. Аплечеев кричит о насилиях, буйствах и хулиганстве. «Врачу, исцелися сам» и подумай—кто приучил крестьян «толкаться»?

В Новгородской губернии — там-же, где живет и автор «Нашего преступления», мне, между прочим, рассказывали такой случай: управляющий одного имения систематически, в течение ряда лет, — обсчитывает крестьян-поденщиков, а иногда выдает им фальшивые рубли. При каждом возвращении, при каждом протесте он «бьет по зебрам» и «гонит в шею» из конторы. Все это было «обычным», «нормальным» явлением.

Но вот... мужики начали «давать сдачи», а один — наиболее «развращенный» — «смял» сердитого барина. Подобное «хулиганство» повело к воплям об «ужасах» деревенской жизни, об «одичании мужика», «терроре над помещиками», а г. Родионов сел писать «Наше преступление». Как будет видно из дальнейшего, я вовсе не отрицаю увеличения «безобразных» явлений современной деревни. В своих заметках о деревне я неоднократно констатировал это. В данном случае я хочу

2 Подробно об этом «генерале» рассказано в газете «Современное Слово», в статье «Дикий барин».

показать, что приемы гг. Родионовых ошибочны; ведь, если описать один год жизни упомянутого управляющего, то «преступлений» набралось бы вдесятеро больше, чем описано г. Родионовым. А затем легко было бы обобщить и сделать вывод — «смотрите, какие у нас помещики».

Я ограничусь этими двумя фактами дикого отношения помещиков к мужику, хотя подобных фактов — фактов обыденной жизни — я мог бы привести десятки даже из своих личных наблюдений. Мордобой, ругань, издевательства настолько укоренились в домашнем обиходе помещиков, настолько привыкли они к тому, что все это принимается, «как должное», что всякий протест приводит их в ужас... Мужик «дал сдачи»! — это-ли не возмутительно!

Не всегда, конечно, причинами крестьянских «безобразий» бывают личные насилия; часто причины эти кроются в земельных отношениях, но и тогда происходит то же «давление сдачи». Когда прежде иной помещик закабалял и «разорил в разор» целые деревни, люди молчали и «влачили лямку», — теперь, так или иначе, начинают протестовать, «перестали покоряться», и снова крики о «терроре». Результатом чего являлось это «мужицкое дебоширство», я постараюсь выяснить дальше, пока же важно констатировать: крестьяне перестают благодарить за полученные пощечины и зуботычины, за «денной грабеж» и «открытое надувательство» и иногда «дают сдачи». «Сдача» эта не всегда проявляется в виде «толкания», иногда она принимает более серьезные формы, но, по существу, всегда является только сдачей...

Гораздо сложнее причины увеличения «безобразных явлений» в отношении крестьян друг к другу. Как я уже сказал, увеличение это необходимо признать. Беспрестанные кон-

фликты, оканчивающиеся дракой, убийствами, поджогами и порчей скота стали «бытовым», обычным явлением деревенской жизни. Они с каждым днем растут, и конца им не видно, так что разобраться в них в высшей степени важно.

II

Не так давно еще кражи внутри деревни являлись настолько исключительным событием, что каждая кража служила материалом для долгих разговоров. «У помещиков пошаливали, но воровать друг у друга считалось чем-то невероятным». Вором, в конце концов, оказывался или «пришлый человек», или «самый, что ни на есть, завалыщий мужик»... Драки происходили чаще, особенно среди парней на почве «наших девок» и игры в орлянку. «По пьяному делу» дрались и мужики, но драки этого рода быстро забывались, часто ссорящиеся на другой день сходились, «как ни в чем не бывало». Поджигателей избивали и чинили жестокий самосуд, и поджог, вместе с конокрадством, считались ужаснейшими из преступлений.

Были конфликты, было много «темных людей», но никогда они не носили характера той озлобленной мстительности, той непрерывности, какой они носят теперь. Кроме того, и отношение к различным «преступлениям» стало иное.

Слушая деревенские толки о преступлениях, вы находитесь в полном недоумении: почему так быстро изменились воззрения людей? Почему озлобленность друг против друга приняла затяжной, постоянный характер? Бывало, конечно, и раньше, что люди и семьи враждовали целые годы, но на эти случаи большинство смотрело, как на редкие, крайне нежела-

тельные исключения. Теперь же, напротив, исключением стало отсутствие вражды к определенным лицам и группам... Общественник не назовет вам собственника и хуторянина без прибавления довольно резкого эпитета; собственник отзовется об общественниках не иначе, как с прибавлением слова «горлодралы» и т. д. Сделать какую-либо «гадость» хуторянам — доблесть для парня из общественников и наоборот... Вообще — непримиримая вражда, порой без всяких видимых причин. Однако, причины эти есть, и очень глубокие причины и, разобравшись в них, приходишь к выводу, что конца этой вражды не видно...

Чтобы выяснить, каким образом крестьяне научились «давать сдачи», и что породило непримиримую ненависть различных крестьянских групп друг к другу, — интересно проследить жизнь деревни за последние годы. Для примера, возьму наиболее типичную деревню из многих, жизнь которых мне пришлось наблюдать. Это С—но Саратовской губернии, — деревня, которую последние пять лет превратили из «покорной» и тихой, как стоячее болото, в бунтующий и кипящий котел.

С-но большей частью населено мордвой. Наделы здесь — 1/2 десятины на душу. «Недороды» приняли хронический характер и стали настолько нормальным явлением, что более или менее сносный урожай является неожиданностью. Невежество, безграмотность, чуть-ли не полное одичание были заметны даже для крестьян окрестных деревень и сел, и слова: — эх ты, с—кий мордвин!» — считаются ругательными.

Крестьянские движения соседних деревень несколько не отразились на с-цах, и когда кругом кипела и бурлила жизнь, и казалось, не ныне-завтра разрублен будет, наконец, вековой

гордиев узел, и многому будут подведены итоги, — с-цы по-прежнему оставались безучастны.

Помещица Б., «полная владетельница» земель, окружающих С-но, отлично понимала настроение «своих крестьян».

— Я твердо верю в своих мужиков! — величественно заявила она на уездном совещании помещиков о мерах борьбы с крестьянскими волнениями, — я управлюсь без казаков!

И долгое время управлялась.

Она созвала с-цев и предложила им сделку: они должны защищать ее от возможных нападений, а она за эту услугу даст им по десятине на двор бесплатно. Предложение было принято, и с-цы, не страшась угроз соседних крестьян, которые их возненавидели, ретиво несли свою «охранную службу».

Как видите, деревня «идеальная» во всех отношениях. Поджогов и убийств за все время существования деревни было несколько случаев, и две семьи «острожников» вам мог назвать любой мальчишка. Никакие замыслы агитаторов, никакие козни заговорщиков и подстрекателей не расшевелили бы так быстро с-цев, как сделали это события трех-четырёх последних лет!

Наступило «успокоение». Помещики оправились, вылезли из нор и «гнезд», куда загнала их боязнь крестьянского нашествия, и тотчас же принялись «учить». Помещица Б. лично против «своих» крестьян ничего не имела, но против крестьян вообще «имела многое», а так как с-цы все-же крестьяне, хотя и с «очень хорошим норовом», — то по законам логики — ненависть ее обрушилась и на с-цев. Правда, она поблагодарила их, заявила, что «своему слову верна», и дает им по десятине

на один год, в виде бесплатной аренды, а аренду вообще повысила в полтора раза.

Крестьяне были уверены, что по десятине они получают «в вечность»; «поступок» барыни заставил их на некоторое время «опешить», затем они «загомонили», напомнили про «обещаньице» — «Не обижайте уж мужичков-то... Помилосердствуйте для крестьянства-то», — кланяясь, говорили старики, но барыня видела, что «теперь время не то», что теперь церемониться нечего. Она «твердо подтвердила свою волю»; сердилась, кричала: «не за то ли вам дать, что вы разбойниками не были, ну, да за это ведь учат — сами видите» и т. д.

В первый раз в жизни, может быть, с —цы «возмутились», «заволновались» и проявили «упорство».

— Обман! Не брать на год!..

Возмущались, главным образом, тем, что их «заставили даром потратить время», — «ведь ежели бы поденно, и то мало по рублю за такое дело взять», но кое-кто говорил уже и о том, что «перед другими не гоже! В такое дело вбучились, что прямой скандал»!..

Несомненно, и этот «обман» забылся бы довольно скоро. «Поломавшись», крестьяне помирились бы на бесплатной годовой аренде, если бы новые события в корне не нарушили их сонного равновесия, не разбили деревню на ряд враждующих групп.

Как сказано, неурожаи в С—не были нормальным явлением; так как надель здесь ничтожны, то крестьяне арендовали землю у помещицы. Раньше она давала землю и «исполу», но неурожаи показали ей невыгоду такой системы, и она стала отдавать землю исключительно в аренду. В конце каждого

посевного года, крестьяне оставались «и без хлеба, и в долгу»; однако, уверенность, что «когда-нибудь да уродится же»! — вела к тому, что долг в течение зимы отработывали, а к весне снова брали землю.

1907-й год был «совсем голодный», и все надежды «в смысле пропитания» крестьяне возложили на ярмарку, которая в С—не, верней, около него, — бывает ежегодно.

С ярмаркой связано бесконечное количество надежд. Спрашивают ли у крестьянина долг, нужно ли купить не-обходимую вещь, идет ли он занимать хлеб, — обычно твердит одно и то же:

— Вот как-нибудь надо дотянуть до ярмарки, там, Бог даст, заработаю!..

По окончании ярмарки крестьяне начинают возить на вокзал хлеб ссыпщиков; плата в это боевое время бывает хорошая, — так что надежды на ярмарку вполне понятны.

Произошло, однако, событие, которое «изгадило все», и сыграло крупную роль в дальнейшей жизни С—на. По словам одного крестьянина, событие это «много тумана повыветрило из мужицких голов». «Для охраны ярмарки» была прислана сотня казаков, которые и разместились в избах с—цев. «Недо-разумения» между крестьянами и казаками начались с самого начала, а кончились они очень скоро форменным сражением.

Когда началось усмирение, наиболее пострадавшими оказались смиренные с—цы. Они заплатились карманом и спиною.

С барыней Б. отношения сразу испортились. Мужики при встрече уже не кланялись до земли, а хмуро отворачивались.

Это событие разбудило «сонное царство».

— Если вы так, то ладно же! — сказала, в свою очередь, помещица и продала землю крестьянскому банку.

Приехали землеустроители, начали «кроить и резать землю», предлагая крестьянам выходить из общины и переселяться на отруба. Если в защиту помещицы, в отстаивании «заработанной десятины», крестьяне выступали, «как один человек», то здесь, в вопросе о выходе из общины и переселении, деревня — в зависимости от зажиточности людей — сразу раскололась на ряд резко противоположных групп. Одни выделялись, требуя вырезки землю к одному месту; другие брали отруба и готовились к переселению; третьи, выделяясь, — продавали землю; четвертые, наконец, скупали ее. Столкнулись противоположные интересы, началась вражда.

— Нетто я продал бы тебе, собаке, землю, ежели бы ярмонка-то состоялась?! А?.. Грабь теперь, пускай по миру!

— Извольте видеть — отрежь ему мою землю! Да как ты это мог допустить в свою башку?

Однако, участок отрезают, и старый хозяин всячески старается «насолить» обидчику и радуется всякому его несчастью.

Я не буду подробно описывать процесс расслоения С—на. Укажу лишь, что в настоящее время 16 домохозяев там вышло на отруба, 22 продали наделы, 6 — наделы и усадьбы, 86 укрепили землю в собственность и 102 остались в общине. При чем четверо из числа укрепивших землю за бесценок скупили проданные 28 наделов.

Как при укреплении наделов, так при продаже и покупке их, происходило и происходит бесконечное количество конфликтов, так что С—на теперь не узнать: ежедневные ссоры, драки, угрозы. «Люди буквально не выносят друг друга, —

пишет мне знакомый учитель, — ненависть одной части деревни к другой настолько велика, что до смерти забивают забежавшую собаку, калечат скот. Близкие родственники превратились в злейших врагов, готовых растерзать друг друга... Каждую ночь бьют окна, ломают изгороди, ловят врагов и бьют до полусмерти; за лето было 11 пожаров, — и все на почве земельных истории... И не видно, чтобы все это скоро кончилось»...

III

Подробно на предыдущем примере я остановился не только потому, что «перерождение» крестьян С—на произошло, так сказать, на моих глазах, а потому, главным образом, что пример этот именно типичен. Буйными и неугомонными крестьян сделали исключительно «внешние условия». Эти же внешние условия породили и царящие в настоящее время в С—не «безобразия». Если эти общие «внешние условия» могли так «переродить» мертвую и вялую деревню, — можно представить, что делают они с живыми деревнями. Здесь конфликты достигают высшего предела, и у людей не предвидится не только скорого мира, но даже перемирия...

Деревня раскололась на собственников, хуторян, общственников и пролетариев. Собственники, большей частью, — крестьяне наиболее зажиточные; выделяясь, они захватывают часть общественной земли; кроме того, некоторые покупают наделы односельцев. Уже этим одним они возбуждают массу неудовольствий; надел, обычно, продается в силу безвыходности, часто продавать вынуждает предстоящая буквально голодная смерть; продают всегда с болью в сердце... А здесь

еще, пользуясь безвыходностью, покупатель «прижимает», предлагает до смешного малую цену. В конце концов, после долгой брани и укоров, земля продается, но продавец уже «затаил злобу»...

— Он меня в разор разорил; нищим я стал через него... Ну, да погоди»... И т. д.

Конфликты происходят не только между различными группами, на которые раскололась деревня, — но и внутри этих групп; бедняки хуторяне с злобной завистью смотрят на хуторян богачеев, захвативших лучшие участки, собственники малоземельные с боязливой тревогой смотрят на собственников, скупающих надель, потому что, как сказано, при выделе больших участков к одному месту землеустроители не разбирают, укреплена земля или нет; общественники «точат зубы» на собственников за излишек отрезанной земли, на хуторян за то, что им отданы земли, которые раньше арендовало все общество, на тех и других вместе за то, что «изменники миру». Наконец, оставшиеся без земли деревенские пролетарии, после долгих попыток «устроиться в городе», снова бегут в деревню, наниматься в работники к людям, купившим их земли, или ходят «день не емши — два дня так», разоренные, озлобленные, «готовые на все»! Понятно, что при таком настроении достаточно мелкого, ничтожного повода, чтобы создался острый конфликт. В Огаревке Саратовской губернии на днях бычок общественника «разыгрался» и посшибал снопы на поле собственника. Последний «загнал» бычка и потребовал 15 руб. выкупа. Общественники заволновались; с кольями и вилами отправились на выручку бычка. Собственники вступились за «своего», — произошло сражение. Бычок был отбит, но суд присудил в пользу собственника 10 руб. Деньги были

уплачены («хотя и бычишка-то, прах его побери, не стоит этой суммы»), но отношения создались невозможные: начали поголовно «загонять» друг у друга все — включая кур — и требовать выкупа. Ребятишки намеренно загоняют вражескую корову на свое гумно, чтобы отец получил выкуп... Суд обычно удовлетворяет иски собственников и отказывает общественникам; последние пускают в ход «свои средства». И все из-за неуместной игры бычка!..

В Орловской губернии, около с. Волово, к хуторянину в колодезь попала собака. Сама ли она утопилась от горькой жизни, или кто-либо бросил ее из мести хуторянину, — неизвестно. Собрались хуторяне, вытащили собаку, осмотрели. Оказалось, что при жизни собака принадлежала общественнику. Хозяин клялся, что собака сдохла от голода, и он «никак с неделю уже выбросил ее в заваль». Хуторяне не поверили и потребовали крупную сумму «на освящение колодца». Чрезмерность требования возмутила общественников.

- Больно жирно будет.
- Не все попу, и нам на угощенье...
- За какой рожон?
- Не бросай собак в колодцы...
- Пес ее бросал, а не я...
- Пес собаку бросил — чудно что-то...

После долгих споров, произошла свалка, затем суд и т. д.

Подобных примеров, где пустой случай ведет к кровавым конфликтам, можно привести сколько угодно. Все они кончались судами и местью. Мечь же выражается в поджогах, увозе хлеба, избиениях, а иногда и убийствах... Готовые же на все,

обезземеленные крестьяне не останавливаются и перед грабежами, «пропадать, так пропадать!»

«Окна выбьем, дом сожжем, сами в каторгу пойдем!..»

IV

Из предыдущих заметок видно, что авторы сообщений о «безобразных выходках мужика по отношению помещиков», о чрезмерном росте преступлений в деревне за последние годы», — во многом правы. Да, поджоги, воровство, убийства, — растут; с болью в сердце это приходится констатировать. Однако, причины этого роста лежат не в том, что «община воспитала зверские 'наклонности», не в том, что «революционеры зародили в головах крестьян несбыточные ожидания», невозможность осуществления которых ведет к «буйству», и не в том, наконец, что «отменен положительный институт общины — порка». Причины кроются в насильственном раздроблении деревни на ряд групп, в постоянном покровительстве богатым людям деревни, в ущерб и без того разоренным беднякам.

Что же? — спросят меня, — разве лучше было бы, если бы описанное здесь С-но осталось в том же положении «стоячего болота?» Как бы то ни было, но, ведь, теперь там «бурлит жизнь». «Стоячее болото», конечно, ужасно, и не будем защищать его неприкосновенность; но, ведь, оно могло быть всколыхнуто иным путем, иными средствами... Такими именно, которые не вызвали бы этой безнадежной злобы, не сделали нищими тысячи людей и не создали тех «безобразных явлений», о которых так много говорит правая печать. Что это за

средства — известно каждому, кто прислушивается к требованиям, выражаемым частью крестьянства...

Теперь колесо завертелось... Рассчитывать, что антагонизм, вызванный земельной, а отчасти и социальной перегруппировкой, — можно устранить путем суровых мер, или увеличением церковно-приходских школ и военным строем — наивно. Нужно понять, что в деревне создались группы мало-земельных и безземельных, положение которых безысходно. Поиски выхода — для этих групп — вопрос жизни и смерти; они ищут выхода и будут искать, применяя в своих поисках не всегда позволительные средства. Смешно думать, что «земельный вопрос в России решен законом 9 ноября». Далеко не решен. Решение его удалось отодвинуть и — может быть — надолго, но результатом этого и явились «безобразные явления», которые становятся «нормальным порядком» деревенской жизни, и конец которым положит лишь действительное решение земельного вопроса.

Теперь, кажется, можно ответить на вопрос, поставленный в заголовке этих заметок: чье преступление — быстрый рост темных деревенских явлений?

И помещик Родионов, назвавший свою книгу о деревне — «Наше преступление» — выбрал удачный заголовок.

1910 г.

Деревенские картинки

I

Петр Васильевич Терехин — крестьянин умный и, по его словам, «порядочно захвативший ума при отсиживании в тюрьме» — при каждой встрече убеждает меня, что «деревня теперь не то, что раньше», что «мужика теперь надо раскусить, да раскусить». В чем выражается это изменение деревни и мужика, Петр Васильевич сказать затрудняется и, не приводя ярких примеров, отделяется общими рассуждениями.

— Возьмите хотя бы меня в пример: много ли я понимал раньше-то? А теперь все для меня как на ладони...

— Но много ли таких, как вы?

— Есть малая толика... Раньше мужик слепым был, а теперь глаза у него открылись. Теперь, брат, не то; теперь ты его голыми руками не схватишь...

— То-то и дело, что берут... На ваших глазах ведь берут и проглатывают еще чище, чем прежде...

— Проглатывают... Глодают с большим удовольствием, но только теперь мужик это понимает. Кто и почему глодает — мужику известно, потому что другой он жизни хлебнул... У Щедрина, вон, Салтыкова баран непомнящий во сне только барана-то свободного увидал, и то с тоски помер. Не сладким, видно, свой хлев-то, баранья жизнь, да бараньи занятия показали... Что же мы — хуже скотины, чтоль? Хоть чуть-чуть, адохнули новой-то жизни, а теперь опять в хлев... Другой, как во сне светлые-то деньки вспоминает: сон, мол, был хороший, да проснулись плохо, а другой и побольше что смыслит...

Мы сидим с ним около амбара; мимо проходит урядник, ведя за узду лошадь.

— Господину генерал-губернатору поклон с кисточкой, — острит Петр Васильевич. «Генерал-губернатор» хмурится. Крестьяне хохочут.

— Не любит, — замечает Петр Васильевич. — Они этого недолюбливают, чтобы над ними смеяться, им уважения надо...

— Почет им, как коту сало, — соглашается подсевший к нам сосед.

— Было время, уважали, а теперь пусть повременят... Заслужить его надо, уважение-то, тогда получай его, сколько угодно, а нагайкой да кулаком ты его не заслужишь...

— Страх этими инструментами наведешь, а чтобы уважение — сомнительно...

— Страх и бешеная собака наводит, никаких заслуг для этого не надо... Но только какой ты начальник, если тебя боятся? Вот, — обращается Петр Васильевич ко мне, — раньше урядник у нас первым человеком считался, бывало, свадьба ли, крестины ли — почетный гость, а теперь...

— Теперь я бы, Бог знает, чего не взял знаться с их братом... — добавляет сосед.

— То-то и есть...

Поговорив еще на тему о том, что мужик теперь «свою гордость имеет», Петр Васильевич ведет меня к своему зятю, переселившемуся на отруб. Зять Петра Васильевича принадлежит к числу счастливых среди получивших отруба. Спустившись под горку и перейдя мостик через реку, мы вступили в полосу «единоличных хозяйств». Картина обычная — где

землянка, где шалаш, где красивенький домик с ярко-красной железной крышей. Навстречу нам попадается священник, шлепающий по грязи около телеги, нагруженной пирогами, хлебами, лепешками и иными продуктами добродетельного жертвования. В потертой рясе, порыжелой скуфейке, длинных сапогах — священник хлещет лошадь вожжами, ругая отставшего сторожа.

— Доброго здоровья, батюшка, — кланяется Петр Васильевич.

— Здравствуйте.

— Хорош возок-то, батюшка, награждают православные-то...

— Иди, иди с Богом... — сердито ворчит священник.

— Иду, батюшка, иду, не сердитесь...

— Ну, и иди!

— За апостолами, небось, телеги не следовали... «Не стужайте и не угождайте чреву», а сами — возок в пору лошади везти...

— Иди от греха...

— Иду... До свидания!

Встретив отставшего сторожа, Петр Васильевич не преминул уколоть и его...

— Ключнул, Семеныч?

— Есть малая толика... К зятю шагаете?

— «Не упивайтесь вином — в нем бо есть блуд!» Эх вы, стяжатели! К зятю иду.

— Побегу, а то заругает... — мигает на священника сторож.

— Беги, беги... Отцы духовные...

— Не любят, — говорит он мне, когда сторож отошел на порядочное расстояние... — Вы думаете, почему поп-то разсердился? Мало собрал — вот почему! Бывало, за новью-то пойдет — подвод пять везет, а теперь скупо. Плохо молятся — вот и дают плохо... Дать не жалко, если есть и давали. А теперь у кого и есть, не дают.

— Почему же?

— Умнее стали... В нашей округе учительница три года за попа в школе ребят закону учила, а денежки по 30 рублей в год он себе в карман клал. А потом, когда на нее эти деньги повернуть хотели, «не годится — говорит: — у святого причастия не бывает и в церковь не ходит; а потому прошу, говорит, ее удалить...» Вот мужики теперь и говорят: ничего давать не будем.

Помолчав немного, как бы давая возможность обдумать рассказанный случай, Петр Васильевич продолжал:

— Корыстолюбия у них сколько угодно, и народ это понимает. Вот теперь хоть хуторян взять, — из-за них недавно у священников чуть драки не вышло. Один говорит: они моего прихода, потому что раньше в моем приходе состояли... А другой говорит: мне ничего не известно, потому, раз после пересела они у меня, — значит, мои. Долго они тут ругались, а народ глядит да хохочет...

Такие мелкие факты изменения крестьянских взглядов и отношений встречались на каждом шагу, и Петр Васильевич не упускал случая каждый из них для себя и других отметить. Проезжает на тройке земский, и никто из группы, стоящей около лавочки, не снимает шапки, — Петр Васильевич подмигивает мне и улыбается; прочитывает он в «Копейке», что

крестьяне одного села выслали палача, немедленно рассказывает об этом всем и, слыша в ответ: «так ему, сукину сыну, и надо!» — снова подмигивает и покручивает ус; узнает, что несколько крестьян повезли детей в земскую гимназию, — торжеству его нет предела! «Вали, братцы! Захватывай побольше ума в голову! Бери все дела в свои руки!» Находит у одного деревенского парня «Историю революции» Минье, хватает меня за руку и тащит убедиться, что парень прочел и хорошо понял книгу...

Несомненно, что деревня за последние годы значительно изменилась. Крестьяне пережили последнюю войну, пережили волнения и усмирения, выбирали в Думу и теперь переживают правительственную землеустроительную политику. Многое они, конечно, поняли... И едва ли не больше всего другого просветила их землеустроительная политика.

В самом деле, на глазах крестьян совершаются такие явления, которые представляются им вопиющим нарушением всякой справедливости. И все это делается под покровом закона, так что — по выражению Петра Васильевича — «самый глупый, наконец, скажет: да что же у нас за законы!»! Все закулисные стороны землеустроительной политики, все ходы, которые, казалось бы, трудно понять и распутать самому опытному казуисту, крестьяне понимают и объясняют совершенно правильно. Оказывается, что надеяться на что-то, ждать, что «кто-то облагодетельствует», «даст поддержку» — бессмысленно. И вот начинается лихорадочная работа ума, попытки ответить на вопрос — что делать?

II

Вопрос «что делать»? современная деревенская жизнь ставит па каждом шагу. В безвыходное положение люди становятся не только тогда, когда игнорируют ответы па этот вопрос землеустроителей, но и тогда, когда точно исполняют все их советы и предложения.

Вот мы с Петром Васильевичем подходим к хутору его зятя. К концу нашего пути начался дождь и пробил нас до костей. Дождь льет почти беспрестанно уже второй месяц. В конце августа неубранный хлеб гниет в поле, гниет на гумнах, и обрадованные было хорошим урожаем люди приуныли, ходят, как опущенные в воду. Дождь повыбил хлеб, рожь проросла в снопах и вместо ожидаемых ста пудов на десятину едва ли придется собрать 20— 30 пудов плохого зерна.

В избе зятя Петра Васильевича собралось человек десять крестьян и ожидают статистика «для переписи». Прерванный нашим приходом разговор скоро возобновился.

Говорили о вреде дождя, о столкновениях с общинниками, о платежах. Дождь настроил всех довольно мрачно. То и дело смотрели на небо и качали головами.

— Потоп! Всемирный потоп...

— Восьмой десяток живу на свете, а таких дождей об это время не припомню, — говорит старик Селезенкин, — был точно один август дождливый, но такого не было...

— А что, барин, — обращается он ко мне: — правду ли болтают, что это комета сотрясение наделала?

— Пустяки.

— Я тоже говорю — не иначе, как Божье попущение... — За что же? — спрашивает Петр Васильевич.

— Знамо за грехи, — безнадежно заключает старик.

— Да какие у нас грехи то, дедушка? Я так понимаю, что если говорить по Писанию, то за нашу жисть в раю наше прямое место.

— Мели!

— Да, ей-Богу, ад-то у нас здесь...

— А ты терпи.

— Ведь и терпенью конец бывает. Что ни день, то новая выдумка; что ни выдумка, то мужику на шею!

— Это верно! — соглашаются крестьяне.

— Единственно можно сказать, что не умираешь с голоду, а чтобы прибыток — ни, ни...

— Что хотят, то и делают!

— Да! Встречаю вчера па базаре (яблоки я возил туда) мужика из Тормозова. Слово за слово, и рассказывает он мне о своих делах. Все общество у них перешло в собственники и укрепили наделы. Хорошо, укрепили... После этого времени кто начал продавать землю, а кто скупать. Некоторые, говорит, десятин по 50 скупили...

— Цссс...

— Да ну?

— Верно говорю, да не к тому дело. Староста Афанасий Иванов купил 4 надела, получилось у него со своими-то 14 десятин, вот он и начал просит вырезать их к одному месту.

— Вишь, стерва!..

— Да ведь земля-то, чу-ка, укреплена?

— В том-то и дело, что вся укреплена. Они и укрепили-то потому, чтобы не давать кулакам выкраивать покупную землю. А землемер приехал и вырезал старосте там, где он указал. Откорнал 14 десятин и уехал. Известию, староста начал опахивать, а мужики — чья земля отошла — получай клинья! Вот вам и законы!..

— Так укрепленную землю и отрезал?

— Так и отмахнул! У мужиков акты, а поделать ничего не могут...

Несколько минут все молчат. Довольный произведенным впечатлением, рассказчик достает из кармана початую осьмушку махорки и вертит папироску. Затянувшись несколько раз и сплюнув в угол, он подвигается к столу и с явным намерением окончательно «оглушить» слушателей, продолжает:

— За старостой другие богатые мужики.

— Ну?

— Ну и вырезали! Общество подало прошение в землеустроительную комиссию. Мы — пишут — по совету вашему укрепили землю все, с общего согласия, чтобы, то есть, ее не клинить, а теперь вы нас обезземеливаете. Потому-де никому не охота собирать за ними опашки, а им давать унавоженную землю. В комиссии сказали: не наше дело! — Чье же, спрашивают мужики — дело-то? — Подавайте в окружный суд! — Подали они теперь в суд, но думают, что толку не будет.

— Ничего не выйдет!

— Такое время теперь — кто поспел, тот и съел. Ведь думать, думать, — голова кругом! Чем, к примеру, виноват мужик, что Афанасьев, аль там Иванов его землю захотел? Режь в

этом месте — и все! Мужики навозили, навозили землю-то, вдруг — раз и готово! Бери, что Иванов даст!.. Дела!..

— Тоже и те хороши, Ивановы-то ваши! Я бы с ними не стал судиться-то, я бы поиначе...

— Чего же ты сделаешь?

— То и сделаю — выберу ночь потемнее, да...

— Ну, брат, за это нашего брата не хвалят...

— Все одно!...

Неразбериха и путаница охватили деревню, и вопрос — что делать? — встает на каждом шагу не только перед ответственниками.

— Что делать? — спрашивали тормозовцы год назад. — Укрепляйте землю, — отвечали землеустроители, — тогда будете жить хорошо! — Тормозовцы укрепляют, им выдаются документы, в которых описаны их участки, начерчены планы. Каждый, как на ладони, видит свой участок, начинает уваживать его и считается хозяином до тех пор, пока какой-нибудь Иванов, поглаживая бороду, не скажет: «к этому месту гоже бы, ваше благородие!»! «Хозяин» недоумевает, широко открывает глаза, первое время думает, что это шутка. Но землемер серьезно берет цепь, серьезно начинает мерить; Иванов, серьезно-истово перекрестясь, берется за плуг и опахивает.

— Вот так законы пошли!.. — вырывается, наконец, у остоленевшего «хозяина». — С чем же я-то?

— Не мое дело, — равнодушно отвечает землемер.

— Зако-о-о-ны...

— Можешь жаловаться.

— Да уж, известное дело, так не оставим. Уж это, сделайте милость, извините! Тоже вам, ваше благородие, палец в рот не клади.

— Чт-о-о?

— Ничего. Мимо проехали. Там все разъяснится...

Через час «хозяин» сидит с компанией за бутылкой и в сотый раз рассказывает факт «денного грабежа». Все возмущены. Возмущены обидой, нанесенной бедному человеку и особенно явным и беззастенчивым покровительством богатею.

— Ты вот что, Максим, — ты, брат, этого дела так не оставляй!

— Я?! Я до царя дойду! Я им пропишу законы! Я им покажу!..

— Валяй!..

— А этому Ваньке — ох! Удружу я ему штуку!.. Будет он меня помнить по гроб жизни...

Я намеренно подробно остановился на этом примере, потому что он выясняет многие темные стороны деревенской жизни. Явное покровительство богатым в ущерб беднякам ведет к тому, что все более или менее зажиточные люди спешат захватить один-два надела и вырезать к одному месту. Начинается соревнование в скорости захвата наиболее унавоженных и удобных земель. Те же, чьи земли захватывают, — бегут в суды искать «закона». Никогда в деревнях не было столько сутяжничества, сколько теперь! Одни идут искать «закона», но когда оказывается, что и закон на стороне богатых, прибегают к «своим средствам» — поджогам, краже, порче скота и хлеба... За это тащат их в суд... В одном селе я

познакомился с крестьянином, который одновременно ведет 27 дел.

В деревнях появились «ходатаи по земельным делам»; ходатаи эти — люди малограмотные и невежественные — пишут просьбы, заявления и получают мзду с обеих тяжущихся сторон. Интересно, что люди, прежде чем приступить к «своим средствам», настойчиво пытаются отстоять свое право иным путем: двое крестьян, отец и сын, рассказывали мне, что они, проиграв дело в судах, подавали прошение и в Государственную Думу, и в Совет Министров, и даже в Святейший Синод; ничего не вышло. Дело их — по их словам — правое, а «раз так, то сами пропадем, ну да и ему удружим». Попробуйте разговаривать этих людей — ничего не выйдет. — Нам едино гибнуть-то, и в Сибири люди живут!..

— Что это за закон — богатому все, а бедный хоть умирай!..

— И кто это, братцы мои, такой закон выдумывает?!

— Известно, не наш брат. Свой, видно, для своего старанье прилагает...

III

— Все для богатых! — такое сетование слышится не только от общественников: к нему присоединяется большинство собственников и хуторян. И каждый шаг землеустройства подтверждает, что вывод этот — все для богатых! — создан не без оснований.

Когда живешь в деревне и знакомишься с такими деталями землеустройства, которые ускользают от беглого наблюдателя, то невольно поражаешься той картиной, которую пред-

ставляют собой все части землеустроительной работы. Происходит какая-то земельная вакханалия! Малоопытные, незнакомые с условиями деревенской жизни люди кроят и режут землю по каким-то причудливым, непонятым на взгляд планам, — а жадная толпа охотников до наживы, в большинстве своем ничего общего с крестьянством не имеющих, нетерпеливо ждет конца операции, протягивая руки за лучшими кусками. И в конце концов оказывается, что люди, кроящие землю, всегда почему-то режут землю именно так, чтобы обязательно получились жирные куски, которые обязательно и попадают в предназначенные руки. — В карман-то, в карман-то поболее норови! — вот что слышится в каждом шаге землеустройства...

По реке Птани в Ефремовском уезде Тульской губернии разбит под хутора довольно значительный участок. Отрубов понаделано больше сотни; все они разобраны; но переселилось пока 25—30 домохозяев. Даже человек, ничего не понимающий в разверстке земли, при взгляде на план этих отрубов поразится странностью нарезки: отруба по р. Птани, против деревни Любимки, по размеру больше других, имеют почти квадратную форму, с небольшим наклоном к реке; отруба вглубь участка начинают принимать причудливые формы трехугольников и многоугольников. Между ними встречаются отруба шириною 60 саж., длиной больше версты, отруба в виде буквы S и других художественно-фантастических форм. Среди этих всевозможных геометрических фигур кое-где попадаются почти квадратные участки, хорошо приспособленные для единоличного хозяйства.

Та же история в бывшем имении Мосолова, в Силине и других местах.

— Если бы я хотел компрометировать землеустройство, — говорило мне близкое к землеустройству лицо, — я бы безо всяких комментариев напечатал планы отрубных участков. Этого было бы довольно!

Чем объясняется эта беспорядочность? Может быть, различием качества земли, близостью воды, сообщением с местом сбыта? Ничего подобного! Участки по р. Птани — наилучшие во всех отношениях; самые же далекие участки, — участки и наиболее мелкие, — поставлены опять-таки во всех отношениях в самые худшие условия. Неужели просто преступная небрежность? Землеустроители именно так и говорят, оправдываясь необходимой спешностью работы. Крестьяне же утверждают, будто клинья получились потому, что необходимо было вырезать наилучшие участки, и их вырезали, не считаясь с тем, каковы будут остальные.

— Вот видишь ты участок с лощинкой-то?

— Ну?

— Так вот его выделять им надо было, а по сторонам, известно, остались клинья. Уж это обязательно так бывает.

— Почему же его нужно было выделить в первую голову, удивляетесь вы.

— А потому, что земля на ём жирнее и лощинка.

— Так что же? — продолжаете вы ничего не понимать.

— То же самое. Получился, следовательно, не участок, а яичко.

— За то ведь другие никуда не годны.

— Так те и пошли нашему брату, а получше — богатым.

— Разве для них вырезали особо?

— Особо или не особо — нам неизвестно, а только попали им что ни на есть удобные участки.

— Всем?

— Кто просил, тем дали.

И начинается длинный ряд примеров. Лучшие участки по р. Птани — напротив д. Любимки — получили мещане: Никита Соломатин, Александр Соломатин, Дмитрий Пантелеев, Петр Соломатин и др. Степень зажиточности этих мещан характеризует то обстоятельство, что всю плату за участки они предлагали внести сразу, однако, банк не согласился принять всю плату и назначил рассрочку на 10-13 лет. Все эти богатеи, предлагавшие внести деньги сразу, получили ссуды на переселение, а многие хуторяне-нищие (в дальнейшем приведу примеры) не получили ссуд, несмотря на слезные просьбы и ходатайства.

В СиLINE лучший участок получил богатый волостной старшина. Землевладелец Волков, имеющий два собственных участка в 75 и 40 десятин, и еще арендующий 340 десятин, получил два участка. Мельник Долгов — деревенский капиталист — получил прекрасный участок. Сам Долгов на участке не живет и целиком сдает его Волкову «под картошку». Волков это местный воротила. Он имеет крахмальный завод и, как 340 десятин арендованной земли, так и собственную засекает картошкой. Сын священника с. Владимировскаго, бывший виноторговец, Николай Вьюнов, получил хороший участок. На участке он выстроил амбар и холостые строения, обрабатывает его наемным трудом, а сам живет у отца. Господская усадьба в Любимке отдана мещанину. Сам он служит, а на участке поселил младшего брата... И т. д. и т. д.

Такими сведениями вас засыпают со всех сторон, и остается впечатление, что во время земельной вакханалии всем лучшим воспользовались присосавшиеся к деревне ловкие люди. Как видно, происходит это очень просто. Мещане, например, издавна занимаются торговлей. Разъезжая по деревням, они скупают скот, кожи; снимают сады. В тяжелое для деревень время за бесценок с торгов скупают крестьянскую рухлядь; потом все это продают крестьянам же с хорошей для себя выгодой. Одним словом, они извлекают из деревни все, что можно извлечь. Узнали они, что мужичкам предлагают участки земли, — дело выгодное! В ход пускается множество незаметных, но влиятельных винтиков и колесиков и — лучшие участки в их руках. Ухватив участки, они сознают, что получили их «не совсем по закону», что «могут отобрать» и торопятся закрепить сделку, предлагая сразу всю сумму.

— Покрепче так будет, ваше благородие!

— Пустяки! Аль деньги лишние?

— Оно точно, что в торговом деле капитал требуется, но опаско ...

— Пустяки!

— Так что не беспокоиться?

— Нисколько.

Успокоенный мещанин, которому «капитал», действительно, требуется, — становится смелее и просит ссуду. Дают и ссуду. То же происходит с сидельцами винных лавок, богатыми кулаками и иными господами, крепко впившимися в деревенское тело. «Дело, вроде, как выгодное. Надо попробовать!» Пробуют и получают лучшие куски...

— Почему такая странность? — спрашиваю одного из местных землеустроителей: ведь, действительно, лучшие участки попали деревенским хищникам!..

— Мужики сами виноваты: нам предписали понаделать возможно больше хуторов, а крестьяне ломаются. Тот же Терехин, который теперь кричит о беззаконии, тогда больше всех кричал, что брать не надо. Что же прикажете делать? Доложить, что нет желающих, — скажут: не энергичен; вот и раздавали, кому придется. Потом уже, когда лучшие-то участки повыбрали, полезли мужики. Ну и получили заваль.

Когда с подобным же вопросом обращаешься к крестьянам, то начинаются толки о «фальши в жеребий», о «прогусаривании деньжат», что «жеребий раньше обещали, т. е. на счастье — кому какой, а потом...» «Деньги-то оне, брат, огого!..».

— Вон он Никита-то... сунул...

— Болтают, что так...

— Сам хвалился, что хоть, говорит, и вошел в разор, за то теперь на одной бахче семьсот выручил.

— Се-е-е-мь сот?

— Как одну денежку!..

— Из таких денег сунешь...

— При таком обстоятельстве дела дашь... Да!

— Ну и порядки, скажу я вам, пошли...

— По закону объегоривают... Дел-а-а...

Чья тут вина, не берусь судить, но как бы то ни было, такие разговоры приходится слышать на каждом шагу: лучшие

участки попали деревенским хищникам, а деревенская беднота получила малопригодные клинья...

Вот еще несколько фактов из многих, собранных мной во время последней поездки. В том месте, где мещане получили лучшие куски по р. Птани, беднякам дали бесплодные клинья: участок № 104 — всего в 4 десятины — получил многосемейный бедняк, участок № 103 — 3 десятины — получил Корташов, по его словам, «не умерший доселе с голоду со всей семьей потому только, что в Москве сын работает и красных по шесть подает ежегодно». Любимовские крестьяне получили самые дальние участки, а участки, примыкающие к любимовским землям, получили мещане. В Овсянникове бывшее мосоловское имение роздано пришлым и богатым, а овсянниковцы, арендовавшие это имение, не получили ничего. Иван Михайлович Бородкин — деревенский банкир, «процентщик», снабжающий деньгами крестьян и помещиков, — имеет лавку и 10 десятин собственной земли. Отец его был старостой у помещика и «скопил денегу». Когда силинское общество решило купить землю у помещицы Соколовой, Бородкин был ходатаем этого общества — результатом «ходатайства» и явились собственные 10 десятин. Кроме того, Бородкин укрепил за собой три надела. «Не сделай я этой крепки, — говорит он, — ничего бы мне не досталось: плодится народ, как мухи!» Этот крестьянин получает прекрасный участок. Торговец и пчеловод Силаев — тоже, а деревенские нищие ходят, просят, кланяются и их «гонят в шею». Если же и дают, наконец, то отдаленный и негодный клин, «лишь бы заткнуть глотку!..»

— Вам предлагали — вы ломались: теперь земли нет!

— Точно что был предлог...

— То-то и есть...

— Все для богатых, как есть... — бормочет крестьянин, выходя от землестроителя.

И — повторяю — полная безвыходность, полная безнадежность хоть как-нибудь осмыслить, хоть что-нибудь понять в том, что творится в деревне, рождает в бедняках злобу и против законов, и против тех богатых, которых эти законы «лелеют и холят»..

— С законом, брат, я ничего не поделаю, а тебе уважу!..

— Наскрозь все дистанции прошел, а толку не добился, — рассказывает крестьянин Силин, — нет и не будет! — вот и все ответы. А все он, все Васька — везде был, навиялял хвостом, по его везде и делают... Ну, да погоди!.. — Дело в данном случае идет о свободном участке, на который было несколько претендентов и который попал «Ваське»... Десятки таких случаев разжигают злобу, «подливают масла в огонь» и достаточно незначительного повода, чтобы создался острый конфликт. Жеребенок, пробежавший по озими, попытка проехать «не по своей дороге», или «не по своему мосту», похороны на общественном кладбище, — все это ведет к схваткам, потом начинается сутяжничество и «свои средства»...

Крестьянская масса видит, что прямую выгоду от ликвидации помещичьих земель получили: банк, помещики и богатые люди деревни. В Тульской губернии банк купил земли в.кн. Николая Николаевича при сельце Травине по 148 р., а крестьянам продал по 180—200 руб. за десятину; земля Трухачева куплена по 153 руб., а продана по 180—200 р. и т. д. По общему отзыву земля эта не стоит и банковских цен, следовательно — банк, делает повышенную оценку, а этим вздувает

цены земель вообще. Помещик А.В.Афанасьев говорил мне, что за короткое время цена его земли поднялась с 138 руб. до 165, благодаря конкуренции банка с крестьянскими обществами, желающими купить землю.

Малоземельные же крестьяне остались совершенно не при чем: наделы малы, да и их разорвали вышедшие «в собственники»: арендовать негде. Если же и остались небольшие помещичьи имения, сдающиеся в аренду, то арендная плата такова, что с земли невозможно выручить даже ее. За четыре года операции банка повысили аренду с 14 до 27 руб. за десятину, — это второй плюс помещикам от землеустройства.

Как видно, крестьяне имеют все основания говорить, что «все это придумано только для богатых»...

IV

При описанных приемах ликвидации земель получились хутора двух совершенно противоположных типов: богатые, прочные, «на которые любо-дорого посмотреть» и нищенские, от которых приходишь в ужас и «дни которых сочтены».

Землеустройство затрагивает два крыла деревни: богачей, извлекающих от хуторов наибольшую выгоду, и умирающих с голоду бедняков, которые ищут «хоть какого-нибудь исхода». Средний крестьянин — как общее правило — землеустройством не затронут совершенно, а если затронут, то отрицательно — ликвидацией арендуемых им земель.

Типы богатых и бедных хуторов в каждом поселке резко бросаются в глаза.

Вот Петр Наумович Бочков. Красивый бодрый старик. Густые, белые, как снег, волосы падают на плечи. Одет в чистую казинетовую поддевку, смазные сапоги.

Хозяйство у него прекрасное, земли около 15-ти десятин. Скота много:

Лошадей	3
Коров	2
Быков	2
Овец	30
Телят	3

Как видно, навозу получается много, земля поэтому хорошо удобрена. Урожай до сих пор собирает хороший. Постройки прочные, красивые: банку платит аккуратно. Знает, что весь долг его банку 3345 руб., а ежегодная плата 150 руб. 30 коп. Надел не укрепляет, из боязни поссориться с обществом. Избу в деревне не продал.

— Кто ё знает, — говорит он, — дело с хуторами этими не сурьезное. Не прочно чувствуется. То на хутора гнали, а то возьмут метлу, да всех и сметут...

— Почему вы переселились на хутор?

— Тесно в обществе-то. Я-то, положим, и раньше много земли снимал, да цены одолели. Здесь сподручнее: платить меньше.

— Хорошо, значит, живете?

— Не гневим Бога — первыми людьми и в деревне считались!

Осматривая хутор, вы повсюду видите признаки зажиточного и прочного хозяйства: окованные железом телеги, запас-

ные сани, изобилие сельскохозяйственных орудий. Видно, что человек засел крепко и боится не того, что не уплатит, а что «там могут раздумать»; «для бедноты как будто сделано, а беднота осталась не при чем — это верно, этого не скроешь — всяк видит! Дойдет до верхов-то и низвергнут нас. А так бы жить можно!» Пока у него еще трехполье, но думает «раскинуть семь полей».

— Федору Петровичу Зенину агроном устроил — хорошо! Погляжу вот еще годок, как у него выйдет, а тогда можно и попытать.

«Попытает» и, несомненно, успешно.

— Семь раз отмерь, а один отрежь. С буху-то не всегда хорошо бывает... Да... Вот, говорят, бедность, бедность, а чуть обмолотили хлеб — на базар. По 53 рожь-то отдали, а она, Бог даст, до рубля дойдет...

— В банк людям надо платить.

— То-то и есть, что в банк! Как не рассчитают там люди! Одной рукой ссуду дают, а другой хозяйство разоряют. Нет, я пообожду — овец продал пар пять...

Почти рядом с Бочковым живет Прокофий Прокофьевич Соколов. Здесь вы встречаете картину совершенно противоположную. Живет он в землянке семи аршин в длину и шести в ширину. Треть землянки занимает печь, пол земляной, с крыши сыплется земля. Стол, лавка, кровать для женатого сына, — вот и вся мебель, но она занимает почти все пространство. Семья состоит из хромого старика 72-х лет, его жены, двух сыновей с женами, дочери-вдовы и шестерых ребятишек. Попробуйте втиснуть в землянку эту массу людей и вы поймете, каково им живется!

Старик с гладко зачесанными длинными волосами и длинной бородой раньше служил в помещичьей конторе. Сыновья — один портной, другой столяр — работы по специальности не имеют: портной живет при отце, а столяр живет караульщиком в саду.

Участок у них в 7 1/2 десятин, и даже в лучшие годы прокормиться с него нельзя.

— Откуда он хлеб-то, — сердито говорит старик, — голодали в прошлом году и теперь будем. В конторе хорошо было: 8 руб. получал и хлеба вдоволь. Бывало войдешь в общую застольную — рай!

— Как-же жить-то думаете, Прокофий Прокофьевич?

— Как хочешь, так и живи! Мое место видите какое — сиденье, да лежанье, — чужой хлеб ем... Нынче овес вон портится, почернел, цвету настоящего нет... С чего уплатишь? Прошлый год на еду постройку продал, и то не хватило!.. При участке лесок есть — рубить не велят. Сруб стоит — отделать не на что. Пять раз писал, а ссуды не дают.

Так несвязно и угрюмо жалуется старик. Понятнее и бойче объясняет дело его невестка. Молодая, красивая женщина с ребенком на руках подходит к делу прямо.

— Летом в салаше жили — день не евши, два дня так, а мужиков в острог посадили. Были тут колодезники и сказали мужикам, чтобы работать на колодезях. Мужики работают, а денег не дают. Пойдут просить — им говорят: вы пьяницы; они говорят: куда нам пьянствовать, когда нам есть нечего! А сами колодезники, действительно, — не пролей капли! Муж говорит мужикам: что же, говорит, ребята, ведь попьанствуют, да и были таковы; надо настоять. Выдай, да выдай деньги, а то

работу бросим. Мы, говорят, день и ночь работали, нам есть нечего. Не знаю, куда колодезники поехали и наговорили на мужиков. Взяли всех в острог и продержали две недели. А колодезники у Бениных напили, наели на 12 рублей, уехали и не заплатили.

— Заверни язык-то, — останавливает старик.

— Не правда, чтоль? Рабочее время, а мужики сидят, мы без хлеба. Тоже намыкались горя-то и конца ему не будет.

— А ты зареви!

— А ты, батюшка, не ревел?.. Законы теперь пошли — жить нельзя! Был у нас, господа, раньше другой участок. Оторвало здесь мужику ногу на молотилке, он умер. Жена и продала нам мужнин участок — куда, говорит, он мне теперь. Заплатили мы 150 руб., из ничего собрали, засеяли овсом — израсходовались. А она возьми да снова замуж выйди. Вот согнали нас и ничего не дали, и овес себе убрали. Тогда вот батюшка-то и плакал...

— Ребятишки вот еще все болеют, — продолжала невестка. — С мальчиком ездила я к доктору — от ноги пахнуть стало; они говорили — так, ничего, пройдет. Теперь до кости разъело, сами сделали лекарство, мажем, — не проходит. Ходить перестал мальчишка-то!

— Я говорил тогда фершалу, — вставил старик: — привить надо! Не стал прививать. Я ругал, ругал его... Болезнь такая повальная...

— Как же думаете прожить этот год?

— Как прожить? Ссуды ждем. Дадут — так уплатим банке и пропитаемся, а нет — что хошь, то и делай...

— Как прожить, господа, как хошь, так и живи, — добавляет невестка, — не было бы ребятишек и горя не было бы, а теперь прямо голод на нас прет. Чего здесь скрывать-то? Може умрем, а може и промаемся... Только жисти настоящей нет и не будет.

Я заинтересовался биографией Прокофия Прокофьевича, и вот что я узнал. После «крепости» он, как дворовый, земли не получил и начал искать работы. Специальностью его была «письменная часть», и после долгих поисков и скитаний он находит, наконец, конторскую работу. Получает гроши, но за то имеет возможность радовать свою душу «общей застольной». С помощью этой застольной он воспитывает дочь и сыновей. Между тем, времена начинают изменяться: на его место в контору предлагают свои услуги «люди с образованием» — недоучки из гимназий, духовных семинарий, городских училищ и много иного голодного народа. Старик не выдерживает конкуренции этих «молодых» и — остается без места. Женатые сыновья, существующие со своими семьями тоже благодаря кускам этой же «застольной», остаются лишь при зарботке, которого едва-едва хватает «на кашу ребятишкам». И вот — начинается период голода, нищеты, займов и попрошайничества. «Каждый кусок в ту пору — говорит старик, — поровну делили. Думали — пропадем. Глядь, эти участки и обозначились. Хуже не будет — думаем. Скопировали задаток и перешли сюда».

Здесь — как видите, — на участок погнала полная безвыходность. Здесь нет даже обычной для дворовых «тяги к земле», желаня хоть какой-нибудь оседлости; «хоть как-нибудь продовольствоваться некоторое время, а там видно будет», — вот мотив переселения на хутор. Мотивом этим руководству-

ется и вся деревенская беднота. Но этот мотив — «если некуда, то хоть на хутора» — характерен.

Приведу рассказ другого хуторянина.

— Сказал мне отец, — я сам с голоду умираю, иди, как хошь, так и живи... Что станешь делать? Говорю: давай выдел! — Вот тебе лошадь и телега. — Запряг я лошадь, положили женин сундук, выехали со двора, а куда ехать не знаем. Плачем в три ручья, а исхода нет никакого. «Поедем к батюшке», — говорит жена. Поехали, едем, молчим, слезы так и катятся. Семнадцать верст проехали — слова друг другу не сказали. Приехали. Отец ейный — старик сурьезный: что, — говорит, — объедать приехали. Мы в ноги. Ну, — говорит, — живите. Стали мы работать, но только дела нет никакого. Силы-то кажется гору своротил бы, а земли клин, вот и сидим без дела. Прямо стыдно ложку в руки взять. Посоветовались ночью с женой, — надо говорю, — идти в работники. Она плачет, а говорит — иди! Так мне после этих ейных слов стало горько, хоть в речку. Думал я, признаться, что жена отговаривать станет, — как-нибудь, мол, перебьемся, а она прямо: иди. Прожил я в работниках одиннадцать лет! Работы много, а прибýtка никакого. Если бы вам рассказать про всю мою жисть-то в работниках, так прямо бы ахнули. Одно скажу: за одиннадцать лет и тестю я не помог, и жене не подавал, и сам едва пропитывался. А тут дети пошли. Прямо хоть умирай. Вот в это-то, друг, время и пошли эти хутора. Призывает меня тесть: «не целый, — говорит — век жить тебе в работниках; случай подходящий, — бери участок». Как услышал я эти его слова, — веришь ли, — слезы так и полились. Опять мы с женой ему в ноги. Хот умрем, говорим, только на своем месте. Старик он хороший, тоже заплакал. — Умирать, — говорит, — вам нечего, а берите бычка

и лошадь. Пошел я после этого к отцу, рассказал все ему. Он малость поломался, — дал, говорит, я тебе лошадь, а ты ее проел. Я в слезы. В конце концов дал две овцы и он. Так вот и сконобожили мы денег на задаток.

— Ну, а потом?

— Взяли участок. Пришли мы на этот участок — прямо ни с чем. Прямо надо говорить, ни с чего начали! Пришли с женой на участок, ребятишки у тестя. Помолились, обошли его кругом, сели посередке и глядим друг на друга. Нет ничего, а на душе тоски как бы нет вовсе. Она поглядит на меня — засмеется, а я, на ее смех глядячи, прямо в хохот пускаюсь. А отчего смеемся — сами не знаем. Только скоро одумались. «Ну, — говорю, — надо начинать». Перво наперво снял я с себя сапоги и послал ее за котелком, да за ложками. Ушла она, а сам я тем временем палатку раскинул, набрал щепок, палок, помету коровьего, разложил костерик, — жду! Пришла она; за сапоги, — говорит, — лавочник дал руп двадцать. Ну и то, — говорю, — слава Богу. Сварили картошки, хлеба нарезали — едим, а на душе кошки скребут... Вот с чего я начал свой хутор. И если есть теперь у меня землянка; да кусок хлеба, то денно и ночью мы Господа за это благодарим!..

— Как же теперь?

— Теперь, если получу я ссуду, то укрепимся мы на этот год хорошо. А не получу, — смерть неминуемая. Потому дождик все испортил; прокормиться, Бог даст, прокормлюсь, но платежу нет. Это говорю прямо!

Участок этого хуторянина (фамилия его Семенов) — 6 десятин. Семья, правда, небольшая: он, жена и двое детей, но все же прокормиться на участке ему очень трудно. Вот уже два

года он сдает по одной десяatine за 11 рублей и одну десятину пускает исполу. В результате: прошлый, очень урожайный год он уплатил банку с помощью тестя, а этот год все надежды его возложены на ссуду, и если ссуды не будет, то он сам признается, что с участка «полетит турманом».

Я говорил уже, что богатые мещане ссуды давным-давно получили, а Прокофий Прокофьевич, Семенов и целый ряд других нищих ссуд до сих пор почему-то не получили. А между тем для этих людей ссуды — жизнь или смерть, мещане же совершают на эти ссуды коммерческие обороты!..

— Во-о-о-т! — говорит мне Петр Васильевич, показывая все эти, по его словам, «мерзости», — видите вот: мужик практику получает! Он, брат, видит... Хотя общинники хуторян и недолюбливают, но хуторяне получают свое просвещение мозга... Вся эта беднота с нами пойдет, не беда, что хуторяне. Уж вы мне это поверьте!..

V

С первых же шагов хуторской жизни между богатыми и бедными хуторянами резко наметилась линия раздела. У хуторян нет никаких общих интересов, общих задач, которые хоть временно объединяли бы их в стремлении к какой-либо общехуторской цели. В общине часто бывают случаи, когда она выступает, как один человек. При столкновениях с помещиками, с соседними деревнями в общине объединяются богатые и бедные, все дружно отстаивают общие интересы. У хуторян нет таких общих интересов. Здесь каждый за себя; поэтому здесь сразу начались конфликты и антагонизмы. Всякий старается урвать что-либо себе, не считаясь с тем, как это урывает

ние отразится на соседе. А так как урывать можно, главным образом, у землеустроителей, то всякий старается забежать раньше другого, «запекать» и выслужиться. Вообще процветающая на хуторах система подачек, наград «за хорошее поведение», развивает в хуторянах лесть, прислужничество и поддакивание. Всякое возражение, всякий протест ведет к тому, что землеустроитель «обходит» грубияна в дележе того или иного блага. Вот, например, комиссия «подарила» хуторянам описываемой местности несколько десятков яблонь. Началась беготня, поклоны. В конце концов яблони получили, те, за кем «были заслуги». В чем выражались эти заслуги — известно лишь землеустроителям, но подачка «избранным» вызвала завистливую злобу и ряд нареканий.

Ефим Леонтьевич Семин рассказывает такую историю.

— Приехал ко мне управляющий банковский, и дернул меня нечистый сказать, что пруд, мол, у нас неспособный. А ему это неприятно! Вот он меня и подселел. Как пришел срок — плати! Веем дал отсрочку, а мне запретил хлеб везть. Я просил, просил милости до 15-го — не моги! Как начнет кричать — места нет никакого! Пропустил я сроки, и оштрафовали на семь рублей. Вот как с начальством говорить-то!

Как видите, за участок берут человека целиком, запрещая даже иметь свои суждения о «неспособности пруда». В самом деле, может ли быть что-либо плохо у гг. землеустроителей?

У землеустроителей есть среди хуторян любимчики, которых «награждают» в первую очередь, есть «люди на замечании», которых «не ныне — завтра спихнут»; есть и шпионы, подробно докладывающие, кто и в чем «преступает» земле-

устроительные законы и наказания. Понятно, что все это ведет к взаимной ненависти, а порой и угрозам.

Часто к этим «хуторским» причинам взаимной озлобленности присоединяются причины старые, перешедшие в наследство от общины. Так что в общем большинство хуторян живет друг с другом «на ножах».

Хуторяне Модин и Зотов постоянно враждуют и судятся. Достаточно самого незначительного повода и каждый из них бежит с жалобой. Те самые «ходатаи», о которых я уже говорил, получили от них не один десяток рублей. Модин — дегтярь, человек зажиточный. На участке у него кирпичные постройки; скота — пятьдесят шесть голов; есть две веялки, молотилка. Вообще — типичный богатый хуторянин. Зотов живет в риге и строит землянку на зиму. Скота у него — один подтелок; землю отдает исполу. Одним словом — типичный бедняк. Ни с тем, ни с другим разговаривать мне не пришлось, и историю их я узнал от Петра Васильевича.

Как-то он пришел ко мне и пригласил к своему другу, Егору Силантьевичу Кидину, у которого остановился книгоноша. В избе Кидина собралось порядочно крестьян. Разговор шел о том, что жить в деревне «стало невыносимо», что «во всех смыслах хоть волком вой»: нищих расплодилось «тьма тьмушная», воров «сила невиданная»; парни «от рук отбиваются» — пьянствуют, безобразничают, воруют; почти ежедневно «то сям, то там убийство»; что земли поблизости распроданы и снимать приходится за тридцать верст; что «правительство только о хуторянах и думает» и т. д., и т. д. Вообще, картина деревенской жизни получалась мрачная и беспросветная. Объясняли эти явления различно: кто близостью «последних дней», кто слишком высоким жалованьем депутатам («нет,

кабы заставили их поголодать—они бы по-иному заговорили!»); кто отсутствием строгости; сам хозяин, гласный земства, находил, что «причина всего — мало училищ», но соглашался, что и «пороть тоже эдаких хулиганов не мешает»... Тема была унылая, но разговор шел оживленно.

— При эдаких порядках обидеть человека — плевое дело! А одинокого, вроде как я, — пустяк! Наш брат теперь должен ухо держать востро, — говорит книгоноша.

— Для них изуродовать человека — разлюбозное дело!

— Им это вроде игры...

— Возьми такой случай: прихожу в Тетеркино, село большое, и народ, можно сказать, образованный: три училища, город близко, две церкви, кажется, — могли бы иметь понятие? Прихожу — все вдрызг! Престол справляют. На улицах дым коромыслом: крики, песни, гармоньи; кто целуется, кто дерется... Обступили меня: «показывай!» Нечего делать — разложил книжки. — Картинками не торгуешь? — Нет, говорю, теперь нет. — Начали трепать книжки, передают из рук в руки, пачкают. Ну, думаю, теперь им не до книжек: продашь на два пятака, а растащат да перепортят на целковый. Начал укладывать. «Нет, ты. говорят, повремени!» «Завтра», говорю. «Сделай одолжение — уважь мужиков!» То, другое... Обступили, кричат... Вдруг два парня оттолкнули меня, схватили сумку, да в толпу; начали книжки раскидывать. Все закричали, загоготали, хватают, рвут... Бросился я было за ними, кто-то дал мне подножку — я в грязь носом... Хохочут. Им шуточки, а человек на месяц без куска...

— Ну, и как же ты?

— То есть что?

— Привлек их?

— Кого привлекать-то? Суд да дело — собака съела; мне с этим возится некогда. На утро собрали мне три рубля — вот и все! Досадно, что без толку все — и книжек-то ни у кого не оказалось: все перервали, замяли в грязь. На другой день ребяташки из грязи выбирали... Вот вам и образованный народ!..

Крестьяне посетовали на пьяниц, пожалели книгоношу, который говорил серьезно, отчетливо. Хозяин, к которому рассказчик, главным образом, обращался, ничего не возразил. Сняв с ног валенки, он потрогал подошвы большими пальцами, почему-то покачал головой и поставил валенки на печку.

Остриженный «под ерша», востроглазый парень хихикнул, но, увидя строгий взгляд книгоноши, замолчал.

На минуту водворилось общее молчание. Хозяйка начала накрывать на стол.

— Народ, дядя, у нас, действительно, бедовый: у нас в лесу недавно мужика ограбили, два рубля вытащили и сапоги сняли. Деньги, — рассказывал потом, — Бог с ними; три версты, говорит, по грязи в чулках бежал, до сей поры ногами маюсь.

Этот пример «народного озорства» привел другой парень — Андрейка, деревенский сердеед, ухарь и гармонист. В избу вошло еще несколько крестьян «послушать». Хозяйка поставила на стол чашку с кислым молоком и груду лепешек.

— Присаживайся, — пригласил хозяин. Книгоноша помоллся и сел.

— А ты, Петр Василич?

— Нет, я уже... Спасибо.

— А то закусил бы!

— Кушайте на здоровье.

— Откуда будешь? — спросил один из крестьян книгоношу.

— Как тебе, отец, сказать? Ходим от торговца Сытина, где день, где два... А если интересуешься родиной, то я рязанский...

— А тебе, Андрейка, — начал вдруг хозяин, — о таких вещах надо помалкивать!

— О каких таких?

— Да вот о мужике-то ограбленном.

— Почему это? — вызывающе спросил Андрейка.

— Так. Помалкивай в тряпочку, глядишь — оно и лучше будет. Вот они, — обратился хозяин к книгоноше, кивая головой на Андрейку, — они с тобой говорят, а потом сами же тебя и оберут.

— А ты видал?

— Это уж дело мое.

Андрейка замолчал.

— Все это точно бывает, но я скажу так, что и не озлобиться народу невозможно, — вступился за Андрейку Петр Васильевич, — не все на парня, скажи и за парня.

— Я к тому это, Петр Василич, что он про ограбленного в лесу упомянул. Известно, ведь, чьи это проделки.

— А я опять скажу, что народ накопил в себе большую злобу; не на ком ему горе-то сорвать, вот и ест друг друга.

— Ест! Да ты ешь-то хоть с разбором. Найди хоть прицепку какую ни-на-есть. А то так, по-волчьи, ни с того, ни сего,

взял да съел. Это хорошо говорить со стороны, а как самого начали бы кусать — по-иному бы заговорил.

— Кусали и меня, Силантич; большее блох кусали!..

— Кусали, кусали... Приехали к нам летом, — снова обратился к книгоноше хозяин, — два китайца. Как и твое же вот дело, торгуют, только не книжками, а ситцем. Народ смиренный, очесливый, никому вреда от них никакого.

Что же ты думаешь? Вот эти кошачьи-то обгрызки сделали им удовольствие: косы поотрезали! Нам-то это хи. хи, хи, да ха. ха, ха, а китайцу коса дороже жизни! Закон у них такой: без косы он, к примеру, не китаец, а так себе... Свои-то их, безкосях, не принимают. Слезами обливались китайцы-то! А ведь так, ни за что их избидели...

— Ты, Силантич, знаешь Зотова? — прервал хозяина Петр Васильевич.

— Это хуторянина что ли?

— Да. Высокий, черный мужик. Из Чулкова.

— Ну, знаю.

— А знаешь, почему он на хутор перешел?

— Почему?

— А вот почему: нагрянули к ним за податями; обыкновенно — у кого есть, отдали, а у кого опись имущества начали. К первому, к нему, к Зотову отправились за этим делом. Стражники с понятами начали вытаскивать из избы вещи, а он бледный, как мертвец, облокотился на плетень, стоит и молчит, словно язык у него отнялся. Урядник его спрашивать начнет, а он дергает себя за бороду, мотает головой, как лошадь, да бормочет: «Мое, мое... Вали все в груды!.. Валяй!»! Только от него и слов. Когда все повытаскали, он взглянул в окошко, да к

уряднику. Хочет засмеяться, а зубы стучат. «Иконы-то что же говорит, не вынесли»? Что-о?—тот ему. — «Иконы-то, мол, забыли, господин урядник». — Они у тебя в золоте что ли? — «Все равно уж... Очищайте все уж... За одно уж»... «Уж» да «уж» — только от него и слов!

— К чему ты клонишь, Петр Василич, не могу я взять в толк? — спросил хозяин.

— Действительно, вроде как бы не туда поехал... — заметил один из слушателей...

— Ведь цифра эта нам всем доподлинно известна...

— Слушайте дальше — оно и видно будет. Хорошо! Распоряжаются, значит, зотовским имуществом, а народ собрамши стоит, да ушами хлопает. Кто вздохнет, кто головой махнет, а кто руками разведет. — Дела! — вздохнет один. — Такие, братец мой, дела скажу тебе, что ай да ну, ну! Ах ты, Господи, твоя воля! Переговаривают так по-мужицки между собой, а соображенья никакого не делают. На дворе тем временем уж кур начали ловить. В это время вот и подбежал к ним ихний же мужик Илья Кузьмичев, человек умнеющий, и если бы не пил, — первая была бы голова в деревне. Хорошо! Подбегает он к ним и первое дело вопрос:

— Не началось еще?

— Что не началось?

— Продавать-то, говорю, не начали еще?

— Нет, говорят, — товар пока раскладывают. А ты покупать торопился?

— Не только, говорит, я не покупать, но и вам не советую. Даром, говорит, не берите. Пусть их себе все забирают.

Признаюсь, я тоже не мог понять, какое это имеет отношение к вопросу об «озорстве», но так как слышал уже о Зотове и его сутяжничестве с Модиним, то заинтересовался. Кроме того, я знал, что Петр Васильевич любит начать издалека, чтобы неожиданно «огорошить» выводом; поэтому решил, что все подробности о несчастиях Зотова он приводит не без оснований.

— Известно, народ сразу не уговоришь... Один кричит: «покупатели найдутся!» — другой: «не мы, так другие!» Кузьмичев на них: «братцы, кричит, не берите греха на душу. Сегодня, говорит, у него, завтра у вас!» Схватил одного богаченького за руку, оттащил в сторону, да на колени перед ним... «Чего ты ко мне лезешь? — кричит тот, — какой я покупатель? Шлею, разе, возьму»... «Ни шлею, говорит, ничего, ни синь пороха... Кровь, говорит, ведь это!..» Народ зашабутился, — «Известно не брать», кричат, — «пусть везут! — И подвод не давать! — Гони, робя, лошадей в лес!» — Пока они так кричали, глядь на дворе-то Зотова уж и продажа началась. Перво-наперво почти на руках вынесли трехнедельного жеребенка. Худенький, ноги тоненькие. Поставили его на пол, а он трясется, трясется, да бух на колени! Опять поднимут; пока за шею, да за зад поддерживают — стоит. Поставили середь двора. Им смех: «Вот конь—так конь! Кому нужен конь? Налетайте!» Все молчат, переглядываются. Зотов почти всю бороду выдрал себе, глядя, как добро-то расхищали. Известно, жеребенок он, может, хуже хорошей кошки, может, он и впрямь смеха достоин, да хозяину-то он дорог! Видит Зотов, что никто не берет, повеселел малость. Отошло от сердца-то. А те навязывают: — Ну, что же, говорят, — вы? Лошадь добрая, если четыре подпры, то и стоять может! Чья какая цена будет этому лихачу. Все

молчат. Те уже сердиться начали. — Вы, говорят, не больно форсите, — мы покупателей найдем. — Полтинник! — раздается вдруг из толпы. Все так и ахнули! Глядят, ан дегтярь Модин вперед лезет. Подошел к жеребенку, осмотрел, похлопал по шее, по брюху — Коли, говорит, хорошенько покормить, так и впрямь конь будет хороший. — «Что-ж ты, собака, в полтинник то ценишь? — кричит Зотов, — за жеребенка шутя, шутя пять монет надо дать». Тот мнется. Такое-де дело... Набьют-де еще... Ну, руп цена этому коню!.. — Дальше дело известно: «руп за жеребенка! Кто больше? Руп — раз, руп — два, руп — три... Твой жеребенок, заверни, брат, его в пеленки и неси домой»!.. Нужно сказать, что эту часть рассказа все прослушали с большим вниманием. Даже хозяин, который вначале усмехался и пожимал плечами, как бы удивляясь, к чему человек несет всю эту канитель, — даже он под конец заинтересовался. Книгоноша, который тем временем кончил есть и теперь пришивал ремень к сумке, изредка покачивал головой и произносил: «ай, ай, ай... действительно! ишь ты змей»!.. Оживленнее всех слушал Андрейка.

Когда шла речь о покупке жеребенка, парень не выдержал:

— Я бы такую ехидну... Я бы не потерпел!..

На что хозяин заметил:

— Ну, да ты, конечно... Про тебя все четыре говорили...

— Купил дегтярь жеребенка, — продолжал Петр Васильевич, — словно плотину прорвало: полезли один за другим. Зотов совсем осел. Жена и ребятишки ревут, с жеребенком прощаются, целуют его. А Модин опять к вещам. Выбрал двух циплаков, взял в руки по одному, похлопывает ими, как рука-

вицами. — Сколько за циплаков-то? — спрашивает. Те, известно, просят свою цену назначить. — Пятиалтынный, — говорит. — Ну, кто больше? Нет? Твои циплаки. Зажарить бы одного надо. — В какойнибудь час раскупили все вещи. Начальство уехало, а мужики около Ивана Кузьмича собрались. А Иван-то Кузьмич сидит на бревне, да горько, горько плачет. Кто утешает его, кто покупателей ругает, одним словом, идет разговор. И то, надо сказать, иной и не купил-то ничего, потому что не на что. Сам Иван Кузьмич говорил мне, что и такие разговоры были: — Ни за что, мол, пошли вещи! Вот кабы деньги — хомут совсем почти новый! — Передок вот тоже... У меня никудышный передок-то... — Известно, народ только что говорит, а в душе многие и завидовали... Есть, только, в Чулкове кузнец Кондратий, высокий такой, всегда молчит, ходит сторбившись; силищу ему Господь дал, что медведю; подкову сломать ему все равно, что два раза плюнуть. Так вот этот кузнец подошел вечером к дому дегтяря и стучит в окно. — Кто там? — Выдька, Яков, на минутку. — Это ты, Кондратий? Сейчас выду. — Как вышел Модин-то, кузнец со всего размаха как шаркнет его по роже. Тот кубарем!..

— Молодец! Это по-моему! — не утерпел Андрейка.

— И стоит...—раздался одобрителный гул.

Довольный Петр Васильевич продолжал:

— Это ты за что? — спрашивает Модин. — За что почтешь? — и ушел. А ночью парни выбили у Модина окошки... И гумно у него вскоре сторело... Теперь я спрошу тебя, Силантич, кто тут виноват: те, что Зотова грабили, парни, или Модин?

Закончив этим вопросом свой рассказ, Петр Васильевич, выпил квасу и — готовый к схватке, — посмотрел на хозяина.

— Во-о-от ты к чему вел...

— К этому самому. К тому и пришел, с чего начал: «не все на парня, скажи и за парня!» В Чулкове тоже нашлись такие: «галашничество, мол, хулиганство!» Кузнец-то вот и не молодой человек, да не выдержал! А в парне кровь горячая...

— По моему еще мало ему, — заметил Андрейка.

— Не в ту сторону загнул ты, Петр Васильич: мы про Фому, а ты про Ерему. Мы про баловство говорили... Примерно, китайцы, аль вот человек про себя случай рассказал... А ты... Это совсем другое.

— Озорства много, — вставил книгоноша.

— Разорили Зотова, ограбили и — за щеку! Что хочешь, то и делай. Начал он после этого пить, так закрутил, что спустил все, что осталось от расхищения.

— Здесь запьешь! — сказал один из крестьян, как видно прекрасно понимающий Зотова.

— Как еще загуляешь-то... Оно скребет, залить хочется, — добавил другой.

— Как пошли хутора-то, он и записался. Землю продал, избу продал — живет теперь в риге, да и оттель не ныне-завтра турнут... Разорить человека очень не трудно, а подняться...

— Модин тоже два участка взял.

— Как-же? Наш пострел — везде поспел!

— Говорят: «чужое добро в прок нейдет», а вот ведь шибко живет мужик!..

— Живет до время...

— Вот у нас тоже был случай...

Один за другим, крестьяне рассказали десяток случаев, один другого возмутительнее, один другого невероятнее. В каждом из них люди гибли жертвами «новых веяний», которых не могли усвоить и понять. Старик, продавший землю в расчете на то, что «все равно у них отберут», а потом понявший ошибочность этого расчета и повесившийся; парень, убивающий отца за то, что в отсутствие парня отец продал дом и землю и перешел к «полюбовнице»; мужик, посаженный в тюрьму за то, что продал участок трем покупателям по очереди; разорение из-за тюрьмы, тюрьма из-за «забастовочки», «забастовочка» из-за выдела в собственники... и т. д. и т. д. Чаще всего повторялись фразы — «вышел в нищие», «как пошли эти хутора», «продал он участок»... Везде оказывалось, что «чужое добро шло впрок», что пословица эта потеряла свое значение и что в силе иные пословицы: «от трудов праведных не наживешь палат каменных» и «на кого Бог, на того и добрые люди». Выяснилось еще, что рассказ Петра Васильевича бросил некоторый свет на «тёмные» стороны деревенской жизни, что всякое почти «безобразия» в виде убийства, грабежа, поджога имело в основании конфликт на почве продажи земли, выдела, разорения, доноса; что парни не всегда «с жиру бесятся», а часто бунтуют от духовной и умственной голодовки, часто протестуют. Другое дело — хороши, иль нет их элементарные формы протеста, но самый факт учащения этих протестов ярче всего говорит за необходимость коренного переустройства деревни... Так что — как ни странно — в конце концов договорились до того, что находили «отрадные» стороны во многих «темных явлениях». Слов нет — многие явления печальны, но побуждения к ним часто самые прекрасные.

— Нет, други! — кричал Петр Васильевич, — народ становится умнее! Терпеть перестает, и многим это не по вкусу! Подождите, как станет во весь рост-то, так... о-го-го!..

— А все-таки и лишнего озорства много, — настаивал хозяин, — чем виноваты китайцы?

VI

В Тульской губернии, как и в некоторых других, минувшим летом производилось статистическое исследование «единоличных хозяйств». Статистики приходили к единому выводу, что картина получается очень мрачная, и что представить им придется далеко не те сведения, каких от них желают получить. Приведу картину опроса хуторян статистиками, наиболее типичную из тех, которые мне пришлось видеть.

Большая крестьянская изба разделена на две части: в передней за столом сидят статистики, вызывают хуторян и опрашивают. В задней — десятка два хуторян ждут очереди, сидят на лавках, на полу; разговаривают шепотом.

— Чепеленков! — вызывает статистик.

Подходит высокий, худой мужик, без усов, без бороды; русые лохматые волосы; одет в вышитую рубашку, пиджак; в руках держит картуз с зеленым околышем. Говорит отрывисто, с лица не сходит виноватая улыбка.

— Сколько земли у тебя на хуторе?

— Надо быть, на двух-то участках 19 десятин.

— Когда переселился?

— Прошлого года к пахоте.

— Наделы где?

— Продал за год до высела, за 300 рублей.

— Ссуду получил?

— Сто рублей получили; с 14-го года, значит, пойдет платеж.

— Других долгов нет у тебя?

— Как не быть: тот год весь хлеб продал для банка; пришлось занять 75 пудов у купца Конькова, а платить чтобы деньгами по семи гривен пуд.

— Всю землю сам обрабатываешь, или часть сдаешь?

— Три десятины общественникам сдаю, по 13 рублей за десятину.

— Почему дешево? помещичьи земли ведь идут по 24 рубля?

— Не дают больше, то-то нужда-то наша!

— Что сеял этот год?

— Ржи три десятины; овса — четыре: картошки — одну; проса — осьминник; гороху — осьминник; гречихи полнивы.

— Навоз возил?

— Нет; где его возьмешь навозу-то? Одна лошадь, да и та на привязи; покосу нет, лесу нет — ходит по пару, да по жниве...

— Сад, огород есть у тебя?

— Какие у нас сады!.. Ничего нет. '

— Теперь скажи: какие у тебя постройки и сколько стоят?

— Изба без сеней, крыша соломенная, стоила сто рублей; рига, скажем, 15 рублей; привез из деревни.

— Игнат! Дороже цены, сгонят! — кричат из второй половины.

Тише там! Еще что у тебя есть?

— Соха, борона деревянная, телега, сани, хомут. Все из деревни, здесь ничего не нажил.

— Этот год прокормишься?

— Где же, барин, прокормиться, когда я все до зерна продал! Овес продал 48 коп., рожь — 50, — а Конькову надо платить по 70, вон какое дело-то! А здесь аренды 114 рублей!..

— Как же думаешь жить-то?

— На вас; ваше благородие, одна надежда... Овец по три рубля продал, все в эту прорву ушло, в банк!

— Заработки есть какие-нибудь?

— Какие у нас заработки? Одну жену с ребятишками зимнее время не бросишь, ведь у меня ближе шести верст человека нет. Один, как пень...

— Колодезь есть?

— Колодезь у нас, барин, хороший! — с довольной улыбкой тянет хуторянин.

— Землеустроители выкопали?

— Да, как же... Колодезь — не жалуемся...

— Когда его выкопали?

— Я=то не помню. Говорят, что лет тридцать.

— Когда?!

— При барине Вяльцеве еще, барин такой был... Мы его уж не застали...

У другого стола опрашивают Ефима Леонтьевича Семина, о котором я уже упоминал, говоря, как опасно заявлять о «неспособности пруда».

Это — молодой рыжий мужик; в зимнем полушубке, грязных лаптях. Говорит оживленно.

У него четыре сына, старший женат, младшему—7 лет. Участок в 16 десятин. Было посеяно: ржи 5 десятин, овса 5 десятин, картошки полнивы, проса осмина. Землю не навозит. «Навозу нет; солому не парим— продал всю»!.. Надел сдал на 4 года за 40 руб., повинности платит арендатор.

— Не продал. Летось было дело, нарывался один. — нет, утерпел! Не стоит из-за него колупаться — точно, да и денег недостаток, а все-таки в аренде 4 года пройдут, опять моя земля.

Зиму думает жить в деревне: «хату поставил, да не отдедал; не миновать зимовать здесь»!

Хлеб весь продал, оставив лишь «себе на пропитание». И цены и ссыпка дурная!.. Надо мной смеются — рано продал; это вот за погодкой, а то бы давно все его сбывли для заведующего. Дай лишь проведется, — так ой, ой как попрут.

— Сколько стоит твой участок?

— Да нешто я знаю!

— А если взыщут тысяч пять?

— С начальством что поделаешь? Меня вон управляющий-то за что оштрафовал? — Дальше приводится переданный уже рассказ о «неспособном пруде».

— Огород, сад есть?

— Когда тут заниматься-то этим? И так голова кругом! Ах ты, Господи Боже мой, — разве обзаведешься?! Картошки тоже почему мало сеял, управляющий спрашивает. Картошке не дешева цена — ей надо 12 мер на десятину. Дали бы окопироваться и картошку посадим!

— Слушайте начальства, а то хутор отберут, шутит статистик.

— Да мы бы и счастливы были, кабы не было-то их! Они нам голову вскружили! Какая нам от них польза? У меня два парня в Питере жили, по 150 руб. в год подавали, а теперь вызвал их сюда на работу. Ну и сидим, да ждем милости банка. Помилует — выдюжим, нет... — Он протягивает руку, показывая, как просят милостыню.

— На кого сделаны данные? — спрашивает статистик.

— Все на себя. Очень легко, почета не будет. Он те — сынот — так шагнет, что... Полнивы не даст... Все на себя! Запишите, ваше благородие, что управляющий-то оштрафовал, — я хотел на съезд подать, да боюсь, как бы там еще больше не наложили!..

Приведу еще несколько наиболее интересных показаний.

Тихон Гриненков, седой, борода обдергана, глаза впалые, лицо в морщинах. Одет в рваный армяк и лапти.

— Проели деньги все. Нечем платить, милости прошу.

— Да не мое это дело, — волнуется статистик, — в контору вызовут за деньгами.

— С деревней своей — шабаш теперь, ничего нет, куда я денусь?

— Скажи лучше, почему ты перешел на хутор?

— Все участки наши врозь и никакой общинности нет; у меня брат сам-четверт; у дяди семьи семь человек, да нас восемь... Вот какое многолюдство! А земля там никудышная; вот и перешли. Теперь взять негде — хлеб пророс... Оттяжку надо!

Дворовый Игнат Дорофеев, шорник. Человек веселый, не-унывающий. На положение свое смотрит с юмористической точки зрения.

— Почему перешел на хутор?

— Общество заело! Ведь нас, дворовых, они прямо грызут, что волки. Заведешь коровенку — плати им за выгон; платить — платишь, а всякий орет: «Ишь навел табун-то! Ишь распустил!»! Особенно эти горлопаны-то! — Передразнивал он горлопанов довольно удачно, произнося слова в нос. Хуторяне хохотали.

— И здесь не то, чтобы рай... Вода замучила — раз! Банк замучил — два! Никогда я без белого хлеба в праздник не бывал, а сегодня сел за стол с черным — инда заплакал!..

— Не боишься, что сгонят?

— Мне бояться нечего: наше дело мастеровое. Взял дратву, да шило, сел за работу и пошло дело: «сию минуточку-с! сию минуточку-с!» Глядь-к вечеру и полтина. Жалко одного — не достал образования! — Говоря это, Дорофеев жестикулировал и показывал, как начнет действовать шилом и дратвой, чем опять возбудил смех. Веселый человек, а положение его не из завидных: из опроса выяснилось, что «этот год не протянет».

— Эх, уж и закручу я, коли сгонют, ваше благородие!..

— Мастеровой где не пьет, — замечает кто-то из крестьян.

— Да, уж! Попытал, не вывезет—в галахи! Такова судьба видно!..

Степанов — низенький, щупленький; лицо красное: одет в рваную австрийскую куртку со светлыми пуговицами; из одной полы куртки вырван значительный квадрат.

— Земля в обществе клиньями; к одному месту, ваше благородие, общество не позволит; потому она, земля-то, у дворов у нас унавожена, а дальше нет.

— Вырежут!

— Хорошо бы тогда знать, а то голодал, голодал и продал. А как продал — совсем стал несчастным. Ну, и перешел на хутор.

— Что у тебя есть теперь?

— Плужок дали, как же! Эмильлипгартовский...

— А еще что?

— Пока его только и высидел. Нужда! Того мало, того не хватает! Спасибо, под вексель дал сосед, а то бы и сгибнул...

— Под процент дал?

— Нет, ради уважения... Ну поработали ему недели две...

— Скот есть?

— Всей скотины у меня, ваше благородие, поросенок, да лошадь. Была корова, да продал — 30 рублей не хватало банку.

— Урожай хороший?

— Нет, никудышный. Хлеб тоже никудышный... В обществе, ваше благородие, мне усадьбу не дают. Оно, общество-то, что хочет, то и делает: с ним разговоры коротки!..

Я беру наиболее интересные места из показаний крестьян, потому что общие условия у них, приблизительно, одинаковы.

Из богатых на этот раз был опрошен один Бочков, о котором я уже говорил. Через несколько дней в числе десятка бедняков нашелся еще Еремин, у которого хутор «процветает», который во всяком случае жалуется меньше других,

Еремин говорит горячась; руки то держит в кармане, то опирается ими на стул; довольно молод, крепок. Из его опроса выяснилось, что живет он хорошо, но хуторской жизни вообще не хвалит. Участок его — 15 десятин; плата общая 2990 руб.; в год 127 руб. 20 коп. На участке — дом, постройки и рига («на четырех парах — хорошая рига!!») Скота: лошадей две по 40 руб., две молодые по 35, корова 55 рублей, телка 15 рублей, овец («нынешний год они все перекотились») 16 по 4 рубля, свиней («пуда по полтора») 3 по 8 рублей. Инвентарь: плужок двухлемешный («летом купил!»); борона, дробач («дробач у меня форменный!»), борона с железными зубьями и веялка. Телеги две новые, сани, два хомута («по пятернику смело цени!»), пахотных 3 хомута. И т. д.

Для уплаты банку продал: ржи 100 пудов по 53 коп., овса 35 четвертей по 3 р, картошки 100 пудов по 13 коп., соломы на 6 р.

— Хлебом платил аренду, тотчас же выложил. Вот так, оправдаешь год и — слава Богу!

— Осталось самому на зиму?

— Голодать не буду. Ведь у меня сын в Царском Селе работает.

— Много высылают?

— Рублей 75 в год подает. Там тоже они знают, как их расходовать-то!

— Почему ты перешел на хутор?

— Снимал я раньше землю в Воскресенске, а теперь, вишь, она отошла банку. Вот и приходится бежать, где попросторнее. Тесно в деревне-то!

— Много раньше снимал?

— Рублей на 200—300 в год.

— Лучше здесь жить, чем в общине?

— Просторнее. А вообще не поймешь: голда, колгота, а прибыли особой нет. Так думаю, что даже при среднем урожае — трудно что-либо отложить.

— Землю навозишь?

— Вывез 20 возов... По малости навозим!..

Выходя после опросов немного вздохнуть, мы со статистиками уже на улице были окружены хуторянами.

— Помощи надо непременно!..

— Прошение пишите в комиссию.

— Без помощи, господа, не обойдешься... Трудно! Вот и дедушка скажет!

— Мне 77 лет, батюшки, — подошел к нам старик, — я прошениев этих написал — числа нет: и в окружный суд, и в съезд писал — нигде нет толку! Только на высочайшее имя Господь не привел. Я старшиной был; по милости Божьей от министра две благодарности получил...

— Да ничего мы не можем сделать! Толком ведь вам говорят. Наше дело переписать вас и — все!

Хуторяне недоверчиво посмотрели на нас и начали лениво расходиться...

VII

— Вон, они, лизоблюды-то пошли! — говорят общественники, показывая на проходящих хуторян, — им, брат, хорошо — им и Дума, и комиссии всякие, все для них... Они с голоду не помрут!..

— И хорошо, ей Богу, этим общественникам! — рассуждают хуторяне... — Придут за податями — дал трешку и повременят; голод — земство поможет, а здесь все аккуратно в срок подай. Не заплати и полетишь!..

Но «хорошего» мало, как у общественников, так и у хуторян. Да хуторяне и сами знают, что «трешка» не всегда спасает, пример Зотова па лицо. Но таковы уж люди: находясь в одинаково тяжелых условиях, они всегда стараются отыскать преимущества в положении других. Не знаю, как в других местах, но крестьян Тульской губернии этот год наградил лишениями и голодом: хуторяне многие полетят с хуторов «турманом», а многие из общественников превратятся в кандидатов на хутора. Ежедневно бедняки продают земли, проедают деньги: зимой же ожидается повальная продажа и разорение. И все это наделал несвоевременный дождь! Выпади он в другое время — сколько радости и счастья принес бы он людям!.. А теперь крестьяне ходят, безнадежно опустив голову. «Разор! Что тут делать? А? Не иначе, как в Сибирь, либо на хутор придется подаваться»!..

Получается порой странный круговорот: голод заставляет мужика продать общинную землю, он продает, бежит в город на заработки: в городе находит тот же голод, ту же, если не большую нищету, тогда он «подается» на хутор. Через год его стонят с хутора, он бежит снова в город, затем снова к земле,

куда-нибудь в другую губернию или Сибирь и т. д. Мне пришлось много встречать таких «постоянных кочевников», и в другой раз я остановлюсь на этом явлении русской жизни подробно. Не все, конечно, попавшие в город, возвращаются снова к земле: кое-кто находит место, кое-кто наполняет ночлежки, питается Христовым именем, а в минуты безвыходности крадет и грабит.

— Ну, укажите! Дайте хоть какой выход! Что делать-то?! Нельзя же так! Что же это? — Такие фразы приходится в деревне слышать то и дело. Никто, конечно, не может указать «выхода» и научить, «что делать». Мужик «своим умом» доходит до того или иного решения.

Иногда «оттягивает гибель», но чаще «гибнет». Даже такие люди, как Петр Васильевич, на всякой мелочи констатирующие «просвещение мужика», и они становятся в тупик перед сложными вопросами и твердят одно: «соображать надо»!

— Соображать-то, соображать, но и есть тоже охота... Пока соображаешь, ан ноги и протянул.

— Ну, думай...

— То то и дело, милый друг, надо думать. Все, как будто, ясно, а ничего не понимаешь?.. Запутали они нас хуторами, да отрубями... Разобрать ничего нельзя!

И вот эта «невозможность разобраться», это отсутствие перспектив, «угол» — злоба дня современной деревни... Как крестьянин разберется во всех вопросах деревенской жизни, как решит их — не знаю. С мучительным напряжением мужик старается «осилить», «преодолеть» путаницу, бросается на хутора, в собственники — иногда устраивается, а чаще, запутывается» еще больше. Некоторые кончают самоубийством. И

это характерно, потому что десять лет тому назад самоубийство в деревне было исключительным явлением...

1911 г.

Случаи

I

— За Федором послать надо, Тихон Михайлыч, для признания!

Волостной старшина, плечистый мужик, с широким лицом, на котором блестели маленькие, как горошины, глаза, — разделил ладонью надвое свою густую бороду, взял в каждую руку по половине, покрутил, поднес ко рту сначала правую часть, затем левую, обгрыз концы волос и тогда лишь лениво произнес:

— Отпусти, Ильич, чего же... Пускай к отцу идет... Обрадует отца-то... Я его, псенка, в зыбке знал. Помню, когда мать и брюхата-то им была. Пускай к отцу идет... Обрадует отца-то...

— Да, уж сюрпризец... Хе-хе... Франт... — Писарь подмигнул на Мироненко и сунул ему бумагу.

— Распишись.

Мироненко, сутуловатый человек лет 28-ми, одетый в потрепанное городское пальто, узенькие, короткие брюки, прилипшие к его ногам, в хлюпающих штиблетах, подошел к столу. Писарь еще раз окинул взглядом его продолговатое лицо цвета какао с молоком, с тощей растительностью, широким лбом и, отчеканивая слова, произнес — пишите:

— «Обязуюсь без разрешения надлежащих властей не выезжать за пределы села Славкина». И подпись вашу. Затем месяц и число...

Пока Мироненко писал, юркий писарь смотрел ему через плечо, изредка показывая на него большим пальцем старшине, подмигивая и покачивая головой.

— Можно идти?

— Можете... До приятнейшего свидания.

Мироненко напялил мокрую, помятую шляпочку, захватил с лавки узелок и направился к двери.

— Долго в узилище-то изволили пробить-с? — крикнул вслед писарь.

— Три года...

— Срок хороший... Иная баба за такой срок троих ребят родить успеваает... Хе-хе... Ну-с, с Богом.

Мироненко вышел.

II

Федор Силантьевич Мироненко сидел за столом и вел беседу с местным богачом Колодкиным и сыном Петром. Предметом беседы было намерение Федора Силантьевича продать надел и навсегда переселиться в город. Колодкин, скупивший уже в Славкине несколько наделов, одобрял это решение, Петр протестовал. Изредка из-за перегородки высывалась жена Федора и вставляла свои замечания. На столе стояла бутылка водки, блюдо с арбузом и хлеб.

— Пропадай видно, Федор Силантьич, было твое время, да прошло.

— А ты не суйся, куда не надо, — волнуется Петр. — Ты вот выпил вина и не можешь иметь понятия; проспись, подумай, да с людьми посоветайся... А то заладил...

— Тебе, Петр, шастнадцать лет, а мне скоро 60 стукнет... Так-то! Было время, когда и я первым человеком в Славкине был. По шести лошадей держал, овцам, бывало, счету нет... Тогда, видно, я имел понятие... А теперь что? Не верят люди, уважения не имеют... И хорошо! Так нам и надо! В свое время и я таких, как я теперешний, не уважал...

— Допивать надо, а то прокиснет, — сострил Колодкин, наливая рюмки.

Выпили. Федор Силантьевич подпер лицо руками и некоторое время смотрел на ломти арбуза. Петр бегал из угла в угол, мял крошки хлеба и бросал в лохань.

Колодкин, остриженный под ерша, приглаживал мокрой ладонью волосы. Из половины за перегородкой слышалось хлюпанье взмешиваемого кулаком теста.

— Ты вот, Петя, все как-то не по-людски говоришь: мы с твоим отцом не первый год друг друга знаем; росли вместе! Ежели — говоря к примеру — он пожелал продать землю — не я — другой возьмет; его товар — мои деньги. Здесь вольному воля!.. Мы по-людски, по совести, а ты говоришь—обман...

— Я не про обман, а вообще... Не дело он задумал, куда мы денемся?.. Тоже надо и об этом подумать. Ну, я в солдаты пойду, а Дунька с чем останется? Я вот про что!..

— И как все сразу рушилось! Одно за другим! Правду, видно, старики говорят — коли не повезет, так не повезет! Как опонкрутила меня эта бахча тогда на две тыщи, то и пошло... За что ни возьмись — разор! Потом Егора посадили там, перестал подавать деньги... Вот и докатился. А у меня, брат, характер такой: коли сидишь на земле, будь настоящий хозяин, а

так, голодранцем — это не кадрель... Ослобони другому землю и уходи... Продам, уеду, а там, как Бог...

— Думай, Силантыч, думай... В случае чего — скажи...

— И думать ему нечего — вмешалась Анна Гавриловна, — не уедем мы никуда. И ехать нам некуда. Не везло, а Бог даст, и повезет... Он ведь не без милости... Похуже нас люди живут, да не бегут...

— Не твое это, мать, дело... Меси там свои хлебы!..

— Вот и мое! Небось, как за большое-то заденет — мое дело, я бегай, а тут не мое... Не поедем мы с Дунькой...

— Ну и ладно, ну и Бог с вами; бросайте меня. Возьму котомку, пару лаптей, уйду на богомолье. Нет моих сил жить здесь при моем разоре. Живите одни...

— Понес!.. — сердито заметил Петр.

Колодкин вылил остатки водки. Петр злобно смотрел на него, но водку все-таки взял и выпил.

— А ты, Гавриловна?

— Спасибо...

— А то выпей одну...

— Нет, не надо...

Старик Федор совсем осовел, фыркал и утирал глаза. Колодкин поднялся, собираясь уходить.

— Будемте здоровы пока!

— Дай Бог здоровья...

— В случае чего, значит...

— В монастырь уйду, в монастырь... В тихую обитель... Будет, помаялся... Господи! Шесть лошадей имел, овцам счету не знал... Нищий!..

— Теперь затянул волынку, — тошно в избе сидеть. Я, мама, пройдусь...

— Куда ты, дождик-то какой!

— Я около избы.

— Ну, иди.

Петр надел картуз и вместе с Колодкиным вышел из избы. Дождь хлестал немилосердно. Простившись с Колодкиным, Петр стал под застреху, раздумывая, стоит ли мокнуть для того, чтобы навестить сорокинскую Марьку, или нет. Решив, что стоит, Петр двинулся вперед, но не успел сделать и десяти шагов, как к нему, шлепая босыми ногами и разбрасывая брызги, подбежала сестренка Дунька. Лицо девочки горело от быстрого бега, глазенки блестели, с волос лила вода. Схватив брата за руку, она взволнованно заговорила:

— Чу-ка, Егор приехал. Окол лавочки уж. Домой идет, а народ над ним смеется. Этапом пригнали... Иди, встретим.

Петр оттолкнул ее и пошел в избу.

III

— Да, оконфузил ты меня, Егор! Так оконфузил, что лучше бы я отдал последнюю корову. Говорил я тебе и писал — не послушал, теперь пеняй на себя.

Так на другой день за обедом говорил Федор Силантьевич. Он был с похмелья, разбит и говорил ленивым, упавшим голосом. Егор молча очищал картошки, макал их в соль и ел с хлебом. Анна Гавриловна стояла около перегородки, подперев рукой щеку. Петр смотрел то на Егора, то на хлеб, то на картошку. Вчера, когда Егор вошел в избу, отец уже храпел. Петр

встретил брата злой улыбкой. — Вот еще нахлебник! — сказал он матери. Мать долго плакала и причитала. Произошло именно то, что рассчитывал встретить Егор. Еще в тюрьме, когда кончился срок, и ему объявили, что он будет этапом отправлен на родину — Егор представлял себе эту большую, грязную комнату с земляным полом, лавками, столом, большой лоханью под глиняным рукомойником. Ясно видел он младшего брата — хмурого, высокого юношу, с черными глазами и шапкой курчавых волос. Петр давно сердился на брата: сначала он был недоволен отъездом Егора, затем упрекал его, что «мало подает денег». Знал поэтому Егор, как его встретит брат; знал, что отец будет говорить жалкие слова, а к вечеру напьется, начнет плакать и сетовать.

Все это Егор пережил и перечувствовал и в тюрьме, и во время этапа; теперь же, когда все это происходит в действительности, он почти не замечает этого, думая совершенно о другом. Как жить здесь? Что делать? Хватит ли терпенья переносить постоянное брюзжанье, постоянные попреки и укоры? Начиналась тяжелая тоска, сразу отравившая первые шаги свободной жизни.

— Так оконфузил ты меня, Егорка, что стыдно людям, глаза показать. Уйду я от вас. Живите, как хотите!.. — брюзжал Федор Силантьевич.

— Будет гудеть-то! И что это у тебя за привычка скулить?! — сердито сказал Петр, — Дело делать надо. Народу прибавилось теперь, работники есть, работу надо искать...

Он посмотрел на Егора; упорное молчание брата, медленное, ленивое пережевывание картошки, — злило Петра; ему хотелось придумать какую-нибудь особенно колкую, болезную

фразу, чтобы заставить Егора говорить, сердиться. Тогда Петр обрушился бы на него с грубой руганью, бросил бы кусок хлеба, взял шапку и вышел. За ним выбежала бы мать и стала бы упрашивать, но он — голодный и злой — не вошел бы в избу. — ешьте! — ответил бы он матери и — только. Но Егор молчал, приходилось сидеть, злиться. Горечь и обида подступали Петру к горлу, он боялся, что потекут слезы и злился еще больше.

— Не скусна пища-то? — бросил Петр брату.

— Я привык ко всему.

— Небось в городе-то... коклеты... Хи-хи...

— Картошка там дороже иной катлеты...

— Все-таки... супы... А здесь хлеб...

Петр силился вспомнить еще какое-нибудь название городских кушаний, чтобы уколоть брата, но ничего не вспомнил. Решительно поднялся из-за стола.

— Ну, я на гумно... Ты идешь, что-ль? — обратился он к отцу...

— Ох, спина ломит, полежу... Егор вот...

Егор пошел за братом... Ему хотелось уйти куда-нибудь, остаться одному и привести в порядок свои мысли. Обдумать все, решить, придти к какому-нибудь выводу... Запуталось все, переплелось... Идя за Петром, он силился что-то придумать, обратиться к кому-то за советом и помощью.

— Иди, что-ль! — крикнул Петр, — работник...

Егор вздрогнул, прибавил шаг. — Ничего не решишь, ничего не выдумаешь: бежать некуда, жить здесь — ужас!.. Первые шаги жизни здесь, первые встречи говорили о том, что дальнейшая жизнь превратится в сплошной кошмар.

— Иттить, так иди! — опять крикнул Петр; Егор заторопился и нагнал брата.

Выходя из села, они ' встретили группу крестьян с цепами на плечах. Крестьяне с большим любопытством смотрели на Егора, подсмеивались.

— Ишь ты, Егорка-то...

— Чисто барин, порази Бог...

— Люцинер... Ха-ха-ха...

— Чего вам надо, дурье! — крикнул Петр, — и ты — люцинер тоже, дай по загривку крайнему-то, он и отстанет...

— Попробовай, ишь ты, давальщик...

— Что же, глядеть, что-ль, стану?!.,

— Давальщик...

Егор поспешил уйти. Новая волна мыслей нахлынула на него. Хотелось понять, почему люди эти, так недавно сжигавшие помещицьи усадьбы и жертвовавшие жизнью для защиты агитаторов, — так скоро люди эти забыли все и смеются над ним. Забыли ли? Или просто ничего не понимали и не знают о тех переживаниях и порывах, которые привели его в тюрьму? Он не думал говорить с крестьянами, но почему-то уверен был, что они сразу полюбят его, будут с ним добры и ласковы...

IV

Целую неделю лил дождь. Сжатый хлеб гнил, прорастал и осыпался. Оторванные от работы люди ходили друг к другу, горевали, били о полы руками...

Казалось, что небо со всех сторон обложено толстым слоем серых солдатских шинелей, что вечно будет лить дождь, и

никогда не исчерпается бездонная масса. Улицы превратились в сплошные лужи грязи. Маленькая, почти высохшая речонка ценилась и бурлила; сорвала мост, мельницу и вышла из берегов.

Мироненко сидели дома. Петр злился, ругал дождь: старик охал, время от времени выходил в сени и подтягивал из бутылки, которую он прятал в мешок с рожью. Егор по целым дням лежал на лавке, стараясь справиться с роем мыслей, и не мог, даже не знал, что это за мысли — какой-то хаос быстро сменяющихся представлений, без конца и начала, безо всякой связи. Завод, товарищи, тюрьма, деревня... Затем — почему-то полеты на аэропланах, много денег... Опять деревня, брат, завод.

— Будет лежать-то, ведь пролежни будут, принес бы воды хоть, — обращалась к нему Анна Гавриловна. Егор приносил воды и снова ложился на лавку.

Тоска!

Как-то вечером он пошел в волость попросить почитать книжку. Писарь Ильич, увидя его, подмигнул сторожу, приторно-вежливо справился, чем может служить.

— Книжечек? Какие у нас книги... Законы, только законы-с... Нет, нет... Хе-хе... До приятнейшего... — Он снова подмигнул сторожу, а когда Егор вышел, залился звонким хохотом...

— Ишь, ты чтец!.. Ха-ха-ха... Нет, брат, поживи по-нашему...

С Петром произошло уже несколько схваток. Тоска озлобила и Егора; он перестал молчать, и часто они ругались злобно и едко...

— Будет вам... И без вас тошно! — говорил отец и шел в сени. Мать качала головой и утирала глаза.

В воскресенье дождь перестал. Небо не было ясно, но на нем появились светлые пятна и полосы... Ветер рвал тучи, бросал по небу клочья. Клочья таяли, светлые пятна сливались... На небе шла схватка, и ветер помогал вёдру...

Чем более светлело небо, тем более светлели лица крестьян.

— Слава Тебе, Господи!

— Хоть бы недельку подержалось...

— Дай ты, Микола Милостивый...

— Кабы такие-то дни, дяденька, в три дня высушит... — Как есть...

К Мироненко опять зашел Колодкин, опять на столе появилась бутылка водки, пирог с кашей, в сотый раз начались разговоры о продаже земли. Поднесли Егору, он отказался, но на вторую просьбу согласился, выпил рюмку, другую... Водка оживила его. Он начал вмешиваться в разговор, спорить... Еще несколько рюмок, и Егор почувствовал, что тоска начинает пропадать, яма, в которой он считал себя похороненным, имеет много выходов и не все еще погибло. Мысль, что он умнее и развитее родных и Колодкина, впервые мелькнула в голове Егора, и ему хотелось доказать это им.

— Земля, земля... А подумаешь, так земля для кого мать, а для кого и мачеха... Другой здесь расстроится, а переедет в город — глядишь, через год купец, — говорил Колодкин, потирая стриженую голову.

— Одно слово... Вот я — шесть лошадей имел, помещик наш по 500 у меня занимал, а теперь на те — вот...

— Решай, Силантич. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Что ты, не человек, что-ли? Посмотри, вон другие — знаешь Герасима?

— Как же?

— Открыл пивную в городе и живет... Теперь рукой не достанешь!..

— Не рука нам продавать, — замечает Петр.

— Стыдно тебе, дядя, на такое дело его подговаривать...

— Молчи, мать... Не твое дело! Что я — ребенок, что-ль? Сам понимаю!

— А вы много купили участков? — спросил Колодкина Егор.

— Мы-то? Да кто их считал!.. Просят вот так-то по знакомству, и делаешь уважение... У нас другое дело — мы косами торгуем...

— И земель не брезгаете, как видно!..

— Покупаем по знакомству.

— То-то, я вижу, вы больно часто отца-то начали посещать...

— С отцом твоим, друг, мы росли вместе... Спроси-ка его, сколько у вас делов-то было общих...

— Много было, Егор, много...

— Читал я, что вот такие кулаки всю землю по России заграбастывают, а народ нищает...

— Какие же такие кулаки?

— А вот в виде вас, — в Егоре что-то проснулось, поднялось, он подошел к Колодкину вплотную, — в виде тебя, вот! Такие, как ты, бывают кулаки и глотают народ. Широка у вас

глотка, а утробы ненасытны — вы не знаете конца... Ну, да подождите, лопнут утробы-то...

— За такие, брат, слова...

— Не пугай! Убирайся лучше к чорту!..

— Ну, ты не распоряжайся больно-то — вступился Петр, — ишь, распорядитель. Не твоя изба и не гони...

— Да видишь ты, зачем он ходит сюда...

— К отцу ходит, не к тебе... Нахлебник!

— Слушай, Петр: хлебом ты меня не кори, здесь моих денег не мало тоже село — знаешь, чай?

— На это ты старший сын, наследник.

— Мне ничего не надо ...

— Не надо, а жрешь...

— Я не про еду говорю... Кусок хлеба заработаю ...

— Работник... Волостной вон по всему селу смеется, как ты за книжками приходил... Читатель!... Заработал много, а приехал нищим!

— Будет вам, Христа ради, дайте уйти мне от вас, делайте тогда, что хотите...

— Будет, будет, ребята, я не сержусь... Выпьем вот... — уговаривал Колодкин.

Егор хотел убежать из избы, но рука как-то сама потянулась за стаканчиком, и он выпил вместе с другими.

— Так-то лучше! Тебе же, Егор, я вот что скажу — иди ты на винокурный завод, проси работы... Ты мастеровой, слесарь, там тебе и место. А у нас с твоим характером ты не проживешь...

— Не проживет... Говорил я ему...

— Разлюбезное дело: постукивай молотом, да получай де-нежки...

— Вот видишь, Егор! Ты обругал человека, а он тебе способствует...

Егор вышел на улицу. Небо было совсем ясно, кое- где лишь боязливо прятались реденькие кружева облаков, расплываясь и тая... Около избы толпился народ, слышался веселый, бойкий говор, смех, визг... Из-за церкви неслись отрывки песен...

1911 г.

Дневник агитатора

12-е мая.

Нервы мои снова начинают «пошаливать»... Каждое утро я встаю с больной головой, независимо от того, много или мало я сплю. Ночью я обычно переживаю то, что было днем — говорю на митингах и сходках, участвую во всевозможных совещаниях. Аппетит пропал уже несколько дней, и я питаюсь молоком и пивом... Настроение тоскливое... И самое скверное это то, что нельзя понять, отчего все чаще и чаще кто-то покусывает мое сердце... Я все более и более начинаю убеждаться в том, что мне не следует ни на минуту освобождаться от своих дел. Покуда завален ими, пока беспрестанная деятельность захватывает всего, тоски нет, напротив, чувствуешь себя очень жизнерадостно... Может быть, потому, что нет времени о чем-либо думать. Не думаешь и покоен. Но вот освободился на день-два, и начинается какое-то мучительное самоковыряние... Является беспричинная тоска и недовольство... В такие часы необходимо быть одному — присутствие других увеличивает страдания. Изволька ответить хотя бы Герасиму, отчего скверное настроение. Он не поймет, да и не захочет понимать. Ведь, мы — официальные пропагандисты жизнерадостности. И вдруг беспричинная душевная боль! Разве это не пережитки буржуазности, не находящей точки приложения своих сил?!.. Герасим, наверное, сказал бы что-нибудь в таком роде и начал бы подтрунивать... Надоедает все это страшно! Как это не хотят понять люди, что в душе моей отцепился какой-то крючочек, сорвалось что-то, и трудно все пустить по-старому. Ведь, я великолепно вижу, что какой-то перелом случился с большинством из нас. Мы, правда, недо-

статочно искренни друг с другом, мы притворяемся, но каждый по себе понимает другого. Когда Герасим начинает говорить мне о буржуазной разочарованности, я великолепно понимаю, что, как только выберется свободная минута у него, он тоже будет лежать на кровати, грызть ногти, и проклятое «что-то», беспрестанно укалывающее меня, несомненно, и его не оставляет в покое... И, придя к нему в эту минуту, я непременно говорил бы ему о буржуазной разочарованности... А он смотрел бы на меня и досадовал, что я пришел... Непонятно, почему мы оба лицемерим... Очевидно, потому, что каждый стыдится сознаться, что в его душе существует неудовлетворенность...

Когда бываешь завален делом, только и думаешь о том, как бы освободиться скорее, отдохнуть, почитать. А когда освобождаешься, обычно ничего не успеваешь сделать... Ходишь из угла в угол и стараешься привести в систему свои мысли... Сегодня целый день не читал ничего, кроме Шерлока Хольмса, а сейчас, ночью, не могу простить себе, что бесплодно провел день. Весь день подгвазживая себя, теперь стараюсь успокоиться и заснуть.

13-е мая.

Сегодня вид у меня, очевидно, было особенно скверен, потому что я обратил на себя внимание моих товарищей. Теперь мы настолько заняты, что обращать внимание на состояние друг друга некогда... Очевидно, я чертовски переутомлен, раз на меня внимание все-таки было обращено.

— Вы больны?

— Кажется, я совершенно здоров.

— Он переутомлен, как и многие из нас... Помимо шуток, нам нужен отдых... В конце концов, мы свалимся!..

— «Подожди немного, отдохнешь и ты...»

— Плоская шутка!

— Но что же делать? У нас очень мало сил... Момент важный... Устали мы все... Не бросить-ли уж работу всем и поехать на дачу?

— Нужна замена!

— Совершенно справедливо. Но, может быть, она у вас имеется в виду?

— Что же, значит, идти до тех пор, пока не падешь, как коночная кляча. Мы не хотим понять, что деятельность наша малопродуктивна. Ну, какие мы вожди?!.. Посмотрим серьезно друг на друга... Все мы больны и нервны. Да и не удивительно, если принять во внимание, что такой жизнью мы живем четвертый год... Мне кажется, что все мои нервы кто-то наматывает на кулак и не сегодня-завтра вырвет их с корнем...

— Это, милый мой, философия, психология, психиатрия, но не исход. Дай нам замену, и мы отдохнем, может быть... Говорю: «может быть» потому, что уверен — многие из нас не смогут отдохнуть...

— Почему?

— Почему? Да по той простой причине, что без революции, без постоянной жгучей атмосферы мы не сумеем жить... Не сумеем! Каждый из нас мечтает об отдыхе в деревне, где ничего нет, кроме природы и книг, но, когда судьба посылает нам этот отдых, мы не особенно долго им пользуемся...

— Значит, мы, подобно некрасовскому герою, можем «жить, пока на ходу»?

— Конечно. И, чем быстрее, чем отчаяннее ход, тем лучше наша жизнь... Слов нет — усталость в нас замечается, но она проявляется всё больше в зависимости от того, что мельчает наше дело. Перефразируя Маркса, я скажу: мы нервничаем и хандрим не от излишка нашей деятельности, а от невозможности действовать так, как бы мы хотели. Уж как, кажется, не изнервничаться в 1905 году, когда мы спали по 3 часа в сутки, а, насколько мне помнится, никто об этом и не заикался, а теперь — усталость заметна на всех... Мне кажется, это объясняется еще тем, что мы самые чуткие барометры политической атмосферы и лучше других понимаем, что грозы и бури в скором времени не предвидятся...

— Поэтому?

— Поэтому... Поэтому надо стараться сгустить тучи...

Я не вступал в разговор товарищей, но слушал его внимательно... «Ага, — думал я, — червячок-то, как видно, всех вас точит»... Хотя я это знал и раньше, но мне стало несколько легче от того, что я нахожусь в довольно обширной компании «неспокойных»...

День прошел незаметно, и к вечеру в душе водворилось безразличие... Это обычно. Ум заполняется целым рядом задач и вопросов нашей обычной жизни, и некогда думать о чем-либо другом. Вечером мы возвращались вместе с Герасимом и молчали почти все время. Мне не хотелось говорить о том, что делалось днем, а больных струн я боялся коснуться.

Молчание нарушил Герасим.

— Как тебе нравится принятое решение?

— Мне все казалось, что вопрос не настолько важен, чтобы так долго ломать по поводу него копыя... Ведь, в конце концов,

практического значения он иметь не будет... Резолюция так и останется резолюцией...

— Конечно, это так. Поэтому-то, кажется мне, мы и чувствуем усталость. Силы тратятся, нервы натягиваются, а в результате — пустота... Раньше была деятельность, а теперь суетливость...

— Но, ведь, есть же в этом известный смысл?

— Боюсь, что только для нас... Нам нужно что-нибудь делать, иначе мы останемся не у дел. Без революции мы, как рыба без воды... Мне думается все, что наша теперешняя деятельность не что иное, как борьба за существование...

— То есть?

— Да взять хотя бы меня. Я — конторщик по своей профессии и агитатор... О первом я забываю очень часто, а последним живу. Без последнего не представляю себе жизни хотя бы на полгода... А теперь сознание все больше и больше мне подсказывает, что скоро я останусь в действительности только конторщиком, а агитатором в потенции... А это равносильно смерти... И вот я голосую за резолюцию, в которой говорится: необходима широкая агитация...

— Значит, ты не веришь в революцию?

— Глубоко верю; иначе я не стал бы жить ни одной минуты!..

— Так работай для нее, как возможно в настоящее время.

— Чудак. Весь вопрос в том, хватит ли у меня сил ждать... А ты уверен, что движение начнется в скором времени?

— В очень скором — нет...

— Мне бы хотелось, чтобы ты ответил утвердительно, — сказал он, немного помолчав. Мы простились.

Удивительно, что я только сегодня узнал, что Герасим — конторщик... Все время я его знал, как блестящего агитатора...

14-е мая.

Герасим — конторщик! Вот мысль, с которой я никак не могу освоиться. Человек, который произносит такие великолепные речи, которого встречают всегда громом аплодисментов, которого частенько укалывает буржуазная пресса, вдруг занимает такую скромную должность. Я почему-то никак не могу представить его за работой в конторе... Это наводит на странные мысли... Но кем же, в конце концов, он должен быть? Ведь, все мы представители пролетариата... Но нет, все-таки не то... Лучше бы слесарь или литератор... Итак, в период революционного затишья он останется только конторщиком... Странно, хотя так естественно. Так понятно. Цинциннат тоже после великих подвигов шел заниматься скромным трудом. Смешно. Нет, все это ерунда, ерунда... Я не знаю, какова профессия Нила, но слышал, что он приказчик... Бывший приказчик... Что же, он тоже должен тогда идти отмеривать ситцы или взвешивать колбасу... Но разве это «стыдно»? Не в этом дело. Дело в сопоставлении... Какая-то [пропуск в оригинале]

Вопрос этот меня более, чем поразил. Я никогда не разговаривал с товарищами на подобные темы.

— Вот где отгадка твоей хандры! Уж не влюбился ли ты безнадежно?!

— Брось шутить. Это и скверно, что я не влюбился. Но еще сквернее кажется мне то, что до сих пор я об этом не думал.

— Что же тебя заставило думать?

— Чорт знает, что! Скорее всего тысячи беспорядочных мыслей, которые последние дни сводят меня с ума. Но, ты, ведь, увильнул от вопроса...

— Да что тебе сказать... Кажется... За последние годы нет... Лет семь тому назад было что-то в этом роде. Но, говоря по совести, я об этом не думал тоже — не приходилось и не было времени.

— Этого ответа приблизительно я и ожидал. И тебя не тяготит это?

Вопрос был для меня неожидан. Тяготит ли меня это? Кажется, нет. Хотя бывали минуты, когда как будто хотелось полюбить, но жизнь забрасывала мысли об этом слоем других...

— До сих пор, по крайней мере, нет.

— А сколько тебе лет?

— Двадцать четыре.

— Ты не считай меня сумасшедшим за эти вопросы. По-моему, это очень важно. И, чем больше я по этому поводу думаю, тем больше кажусь себе человеком несколько односторонним. Жизнь, что ли, так складывается! Ведь, мы уже не смотрим на вопрос о браке подобно героям Мордовцева. У нас другие идеалы, другие точки зрения. А, между тем, получается что-то неладное. Я немного неправ был, когда сказал, что до сих пор я по этому поводу совершенно не думал. Был даже такой случай, когда мне мучительно хотелось с кем-либо на эту тему побеседовать... Но стыдно было... Произошло это в разгар революции... Все силы направлены были в определенную точку, а здесь вдруг... эта история.

— Ты что же, полюбил, что ли?

— Вот в том-то и дело, что не знаю сам. Ты, конечно, помнишь тот период, когда все хотели быть революционерами. Был митинг в консерватории... Ну, я был там, говорил... А потом... Чорт знает, какие дурацкие сплетения... Потом у меня не было ночевки... Одна из консерваторок согласилась приютить меня у себя. Знаешь, что тогда дело за ночевками не стояло. Любой либерал охотно отворял двери для нашего брата... Всю дорогу мы молчали, я даже не обратил внимания на ее лицо...

— Не за лицо же ты полюбил ее?

— Опять казенная фраза... Действительно, я отступил в данном случае от программы и полюбил ее, совершенно не зная ее убеждений и партийности. Хотя, по всей вероятности, у нее не было ни убеждений, ни партийности. Итак, мы пришли в ее комнату. Обычная комната курсистки. Только рояль указывала на некоторое отличие,.. Я был усталый и хотел спать... Ей же хотелось побеседовать со мной... Я, конечно, осилил сон, и мы беседовали... Некоторые мысли ее заинтересовали меня. «По-моему, — говорила она, например, — коли отдаться чему-либо, так всей душой, всеми силами... Чтобы каждый атом был пропитан этим... Я вот люблю музыку, но, если бы не она, так я все силы свои отдала бы революции... Потому что это тоже поэзия»... Не помню, что я говорил. Очевидно, какие-либо казенные фразы. А, может быть, что и дельное... Не помню совершенно. Но вдруг она сказала фразу, которая далеко отбросила мой сон. «Я могла бы полюбить, например, вас, но в этом случае музыки не бросила бы, с ней я переплетала бы мою любовь и в музыке бы ее выражала». Вот

те и на! Я осмотрел ее с ног до головы, и мне она показалась красавицей. «Я тоже мог бы полюбить вас», — брякнул я.

— Ну, а она? — заинтересовался я.

— Она? Она ответила мне одним словом. «Полюбите!» — Чем же кончилось?

— Кончилось тем, что на другой день я ушел, обещая зайти. А потом... зайти как-то не удалось... Постепенно все это изгладилось, а вот теперь воскресло... Воскресло с такой яркостью, с такой силой, что порой доставляет мне страдания... И удивительно то, что тогда я не разглядел ее как следует и скоро почти совсем забыл ее лицо, а теперь она стоит передо мной, как живая...

— Отчего же ты не сходишь к ней?

— Теперь поздно: она вышла замуж...

— Однако, она поторопилась!

— Так вот, тогда мне частенько хотелось с кем-либо поговорить на эту тему. Один раз я тебя хотел позвать к ней вместе с собой, но... уроды мы какие-то!..

— Другую полюбишь.

— Если бы это зависело от меня, полюбил бы... Теперь стыдиться не стану. Но сознание, что то нужно ликвидировать, мучительно.

— Да, ведь, ты же ее все время и не вспоминал.

— Очевидно, бессознательно, не давая себе отчета, я любил ее все время... Впрочем, все это ерунда...

Я посмотрел на Герасима и впервые понял, что он очень красив и строен. Черты его лица очень тонки, а глаза выразительны и нежны. Удивительно, что, зная Герасима более трех

лет, я только в первый раз как следует рассмотрел его лицо. А каков из себя Нил? — подумал я и не мог ответить.

— Как, по-твоему, Нил красив?

— Не знаю. Вот Павел, тот несомненный красавец.

Однако, какой пустой и ненужный разговор! Тем не менее, меня он невольно заставил много думать о прошлом. Как я ни старался воскресить прошлое, найти там хоть что-либо похожее на любовь, ничего не было... Впрочем, нет, нет! Кое-что все-таки было... В Самаре я работал в нелегальной технике вместе с Марусей. О ней говорили, что это девица аристократического происхождения. Отец ее — князь какой-то древней фамилии, и к нам в технику она попала почти случайно. Желая оказать революции хоть какое-нибудь содействие, она в княжеских хорах хранила бомбы. Дело это раскрылось, и ей пришлось скрываться. Работа в подпольной технике самая скверная из всех революционных работ. Она скорее всего расстраивает нервы и истощает силы. Кроме того, мы работали в период безденежья. Касса комитета пустовала, и нам приходилось вести полуголодную жизнь. Все это, конечно, не располагало к идиллии. Однако, исключительность ли обстановки, то ли обстоятельство, что мы лишь в неделю раз имели возможность выглянуть на свет Божий и кое-кого увидеть, сблизил нас настолько, что между нами начали создаваться какие-то особые отношения. Выражались они в пожатии рук, в мелких услугах друг другу... И я все больше и больше начал сознавать, что я люблю Марусю. Курьезно, что я сказал ей об этом во время печатания срочной прокламации. К утру нам необходимо было изготовить десять тысяч.'

— Вы не устали, Маруся?

— Нет, во время работы я становлюсь какой-то бесчувственной. А вы?

— Я с вами не устаю никогда!

— Почему же со мной?

— Не скажу! Это касается чувств. А вы сейчас бесчувственные.

— Говорите, говорите: я вся — одно чувство.

— Что же, вы хотите формального признания? Разве вы не замечаете, что я вас люблю!

Квартирка наша осветилась особым светом, стала уютной и радостной. Работать было весело. Мы смеялись, строили планы будущего... В ту ночь я был счастлив, как никогда. «Я люблю тебя, Виктор, — говорила она, — люблю так нежно, так страстно и мучительно. С тобой я готова идти всю жизнь, готова умереть хот сейчас... Мне любовь наша особенно дорога еще потому, что она скрепляется светом нашей общей идеи. Не смейся, но мне кажется, что от этого станка светят на нас лучи нашей идеи. Ведь, не даром же мы работаем. Что-нибудь да приносит наша работа. Я всегда думаю о том, что листки, которые я набираю, попадут темному человеку и, может быть, пробудят в его голове новые мысли, смягчат его огрубелость... И это одухотворяет мою скучную работу, а теперь это будет одухотворять и мою любовь, глубокую и страстную, как море». Нас арестовали через неделю после этого, мне удалось бежать, а где она? Помню, ее приговорили к двум годам крепости: куда она делась потом, не знаю. Вот любовь — первая и единственная... Герасим заставил меня вспомнить об этом, и мне досадно, что в моей душе воскресло то, что было забыто. А вдруг, как у Герасима, и у меня воскреснет любовь... А вместе с ней

тоска и муки? Нет, нет, только не это... Не могу же я страдать за далекое прошлое... Не хочу! Уж если период безделья неизбежно рождает потребность в любви, то можно полюбить другую...

Но как не хорошо, однако, то, что я вдруг занялся какими-то пустяками. То ломаю голову над вопросом, как мы переселимся в подполье, то вдруг о любви... Ну, первое понятно — это, так сказать, вопрос дня... Да и здесь нечего вдаваться в особые подробности... Но почему же. чорт возьми, опять какие-то когти начинают рвать сердце? Почему хочется кричать от какой-то боли? Тоска, доходящая до боли физической! Почему?

16-е мая.

Порой, как и сегодня, все мои мысли о подполье и прочем начинают казаться мне смешными и странными. Я их склонен просто считать временной нервной усталостью. Сегодня у меня день необычайного подъема. Рано утром ко мне приехала мои друг Роза. С Розой у меня давнее знакомство. Я впервые встретил ее гимназисткой в одном из поволжских городов. Она много помогала нам в нашей работе, и все любили ее за серьезный и вдумчивый характер. Приезд ее был меня приятным сюрпризом. Она уже совсем взрослая девица, много читала и теперь поступает в университет... В характере ее, кажется, произошла резкая перемена: ко многому она относится критически и далеко не склонна принимать на веру суждения авторитетов... Мы долго говорили о прошлом, а потом вместе отправились на митинг.

Митинг был очень удачен. В лесу собралось довольно много рабочих. Обстановка очень поэтична. Лощина на краю обрыва заполнена была народом. Кое-где мерцало тусклое пламя костров. В отверстия между сплетшимися вершинами деревьев глядело звездное небо. Обстановка создавала повышенное настроение... Отсутствовал обычный страх приезда казаков, все воодушевились, пели и строили широкие планы. Говорят, что речь моя была очень хороша, но мне больше нравилась речь Герасима. Он говорил каким-то надтреснутым, рыдающим голосом, и в речи его было столько красоты и силы, что все мы были загнипнотизированы. В лесу совершенно темно. Все слились в какую-то темную, таинственную массу, из середины ее вылетают страстные звуки его речи... Одну минуту меня кольнула неопределенная мысль, почему так внимательно смотрит на Герасима Роза... Но я тотчас же засмеялся сам над собой и прогнал эту глупую мысль. Митинг продолжался до утра, а с рассветом мы всей массой двинулись в город. Разошлись воодушевленные и радостные с пением песен... Мы пошли с Розой, и я совершенно не чувствовал усталости.

— Часто в Петербурге бывают такие митинги?

— Раньше были довольно часто, — неопределенно ответил я.

— А теперь?

— Несколько реже. Полиция рыщет всюду, и собраться удается с большим трудом.

— Хорошо, очевидно, быть агитатором?

— После митингов я чувствую себя хорошо.

— А кто тот, что так красиво говорил о развитии индивидуальности при социалистическом строе?

Этот вопрос снова уколол меня. Мне почему-то стало очень неприятно, что Роза заинтересовалась Герасимом. Явилось желание затушевать сильное впечатление его речи, но я своевременно подавил это желание.

— Это наш агитатор, Герасим.

— Он бывает у вас?

— Иногда.

И чего она так заинтересовалась им? Впрочем, какое мне до этого дело? Не могу же я заставить ее интересоваться только мной! Она свободна в выборе... Но в каком выборе? — ловлю я себя на мысли, и мне становится смешно. Везде и всюду виноват Герасим! Внушил мне необходимость влюбиться, и вот я хватаюсь за первую встречную... Впрочем, она, ведь, очень красива... Ерунда, братец мой! Прочь, дьявольское наваждение! Ха, ха, ха... Получается настоящий роман в подполье. А Маруся? Но что же Маруся? Что было? Ничего не было... Тоже роман в подполье за типографским станком... Но почему же тогда эта колкая боль от ее вопросов о Герасиме? Вопрос... Впрочем, это, очевидно, обыкновенное самолюбие, соревнование... Главное, меньше думать на эту тему... Гораздо полезнее обдумать речь для завтрашнего митинга... Тем более, что там будет Роза... Но почему «тем более»?

17-е мая.

Целый день спал, а вечером произошла следующая история: митинг собрался на старом месте, начались обычные речи, страстные и возбуждающие... Во время речи рабочего неожиданно появилась полиция и неожиданно же открыла стрельбу по убегающим. Я бросился к начальствующему офи-

церу, но был сбит прикладами. Говорят, много раненых. У одного из них мы сейчас были с Розой на квартире. Это уже пожилой рабочий. Он лежит на грязных лохмотьях деревянной кровати. Жена и дети не плачут уже — «все слезы выплаканы». Удивительное дело, когда мы вошли, раненый улыбнулся, и первыми словами его было:

— Смотрите, в грудь ранен... Не бежал... Не в спину... Известное дело, голые руки, что с ними поделаешь... В грудь, на вылет... Может, как-нибудь еще смаюсь, оправлюсь... Кто знает!.. Сергей был у меня сегодня... Немного раньше вас ушел... Так я все ему передал — связи и все такое... На всякий случай... Вот, ведь, какое дело — боли особой нет, а силы слабнут...

Я крепко пожал ему руку, почему-то взглянул на Розу и тотчас поймал себя на некрасивой мысли... Мне стало досадно и стыдно... Раненый не выпускал моей руки и тихо гладил ее... Хотелось, рыдать, рыдать без конца...

Утром он умер...

18-е мая.

Был у Нила. Я попал к нему в первый раз, и меня поразила его обстановка. На стенах десятки снимков с картин известных художников. Этажерка завалена книгами новейшей русской и иностранной беллетристики... Обычных для нас брошюр почти нет, зато последние номера почти всех журналов, сборников и альманахов... Я пришел к нему по делу, но странный подбор книг заставил задать несколько вопросов, и завязался разговор.

— Неужели ты читаешь все это?

— Конечно. Почему же не читать?

— Какой смысл тратить время на чтение этой декадентщины. Я понимаю — Гауптман, Метерлинк, но наши русские писаки едва ли дадут много нового... Да за ними и не угоняешься... Все они очень плодovиты...

— Кого ты называешь нашими писаками?

— Да вот все эти Зиновьевы, Сологубы, Чулковы, Блоки...

— Они, по-твоему, совершенно не годны и не нужны?

— Почти. Особенно мало проку от них теперь... Помимо них, у нас существует широкая литература. Пишут все они по определенному шаблону, и тратить время на прочтение этого вороха и скучно и нецелесообразно.

— С чьих слов ты высказываешь эти суждения?

Этот вопрос меня кольнул.

— Вопрос, кажется, не Бог весть какой важности: можно иметь и свои суждения.

— Ты не обижайся. Я спросил так потому, что нахожу в повторениях тобой обычных у нас рассуждений некоторую неполноту... Нужно было добавить о разложении буржуазного общества и о писателях, как выразителях вкусов этого разлагающегося общества. Тогда все было бы в порядке.

— Но, ведь, это не возражение!

— Совершенно верно. Но что же прикажете возражать против этого? Разберем аргументацию по пунктам: эти писатели однообразны и бессодержательны. Но, ведь, ты делаешь такой вывод, не прочитав ни одного из этих писателей. Да если бы ты и прочел одно-два произведения, этого было бы недостаточно: худы ли, хороши они, но каждый имеет свою соб-

ственную индивидуальность. Значит, чтобы выводить заключение, нужно все-таки произведения перечитать. Это раз. Если они выразители вкусов разлагающейся буржуазии, читать их тем более необходимо, хотя бы для изучения вкусов и привычек своего врага. Но главное, конечно, не в этом. Я думаю, односторонность не только не полезна для агитатора, но и вредна. Вредна потому, что нам приходится сталкиваться со всеми слоями общества, и мы должны быть всесторонне подготовлены, а не высказывать трафаретные мысли. Да, кроме того, и в среде нашей стихии — пролетариата — все больше и больше начинают раздаваться такие вопросы, которые не укладываются в рамки трафаретного мышления. Не дальше как вчера мне задали, знаешь, какой вопрос — объяснить «Балаганчик». Задал его знакомый тебе Федор. Что же, потвоему, я должен был просто сказать, что это ерунда!.. Поверь, что Федор не удовольствовался бы подобным толкованием...

— Но где же время для всего этого? Ведь, мы же так чертовски заняты?

— Для чтения беллетристики времени нужно немного. Я, например, читаю ее между делом — на конках, во время обеда, вечером... По совести говоря, натолкнул меня на это по существу незначительный случай. Я присутствовал при споре одного нашего товарища с художницей. Все время мне мучительно стыдно было за товарища, который свое невежество в этой области старался замаскировать резкой критикой. Стыдно, в конце концов, стало и ему, потому что он понял, что одной статьи Луначарского для спора со специалистом мало... Не думай, что люди так наивны, что не понимают, в чем тут дело!

— Уж не поэтому ли ты и навешал эти картинки?

— Нет, не поэтому. Навешал их я еще раньше. По-моему, — да это и по чьему угодно, — агитатор должен быть человеком всесторонне образованным. Правда, мы находимся в таких условиях, при которых все достигается с громадным трудом, но это не дает еще нам права на все махать рукой со словом — «ерунда»!

— А с чьих слов говоришь ты? — уязвил я его.

— Очевидно, все это сказано раньше меня, но я «дошел своим умом».

— Ты и не замечаешь, что сам впал в другую крайность: обложил себя кучей беллетристики, навешал два десятка фотографий и вообразил, что все это всестороннее образование. Сознайся, что это наивно. Другое дело, если бы мы имели возможность систематического изучения. У нас дорог каждый час, и тратить его теперь, полупроизводительно даже, мы не имеем права: это — преступление. При лучших условиях политической жизни мы будем смотреть иначе.

— Только смотреть?

— Конечно, и поступать. Я, ведь, не отрицаю важности знакомства с искусством, признаю великое значение его; но раз у меня нет возможности, раз это идет во вред моей революционной деятельности, я говорю, что надо ждать.

— Ждать и быть невеждой?

— В этой области, да!

— А читать все брошюры, которыми завален книжный рынок, ты находишь время?

— Поскольку это необходимо для моей деятельности.

— Ну, так я скажу тебе, что некоторые из художественных произведений обогатили бы твою речь в десять раз более, чем десяток иных брошюр.

Спор затянулся, и я ушел с каким-то тяжелым сознанием, что я не разбил аргументации Нила. Что он прав во многом, это так, но что же делать, раз органически нет возможности стать человеком образованным всесторонне? Сил так мало, а дел, хотя и мелких, так много, что времени совершенно не хватает... Разве по примеру Нила вдаваться в крайность? Смешно... Нет, лучше уж буду урывать, поскольку возможно... «Применительно к возможности»... Любопытно поговорить по этому поводу с Розой!..

Сегодня у нас крупные аресты... То и дело сообщают о новых пленниках... На оставшихся дела все прибавляется... Вот тут и занимайся изучением!..

19-е мая.

Аресты продолжают... За ночь арестовано более двадцати человек. Герасим едва спасся и ходит понурый и задумчивый. Хотя последние дни, вообще, он редко бывает весел... По всему видно, что ему необходим отдых... Похороны убитого товарища едва не привели к новому столкновению. Все мы как будто несколько растерялись и едва успеваем смыкать свои ряды... Думать о чем-либо некогда. Все мысли заняты одним — сохранить организацию... Должен был прийти домой в 8 ч. вечера, чтобы поговорить с Розой, но не мог, и вернулся лишь в 2 ч. ночи.

Все уверены, что надвигается полоса событий... Ждем и лихорадочно готовимся... Герасим перестал верить всему...

— Ты думаешь, что на самом деле начнутся события? — Глубоко верю в это.

— И они приведут к победе?

— Может быть.

— «Блажен, кто верует»... Хотя я сомневаюсь в твоей глубокой вере... Как и в вере всех вас... Не с закрытыми же глазами смотрите вы на положение вещей?...

— Что же думаешь ты?

— Я говорю о том, что вижу... Настроение самое скверное... Нужно что-либо из ряда вон выходящее... Нужны такие гигантские силы, каких у нас нет!..

— Чего ты волнуешься-то?

— Меня все волнует... Все! Понимаешь ты — все! И волнуется, что я слышу много пустых слов... Верю в события! Но что же, в конце концов, это за события будут такие при вялой массе и вождах без политической проницательности!.. Ведь мы — вожди пассивного настроения, не что иное... Зачем же болтать без толку и смысла...

— Ты устал!

— Не болтай вздора. Устал не один я... Я не обманываю себя и открыто заявляю: близок период, когда придется только начинать все сначала... Только начинать!.. И я могу доказать это! Да и вы все чувствуете, понимаете это, но боитесь сойтись!..

Окончательно человек растрепал свои нервы... От меня он побегал какой-то качающейся походкой... И мне показалось, что он зарыдал... Я начинаю понимать, что с ним творится... События, несомненно, втолкнут его в прежнюю колею... А теперь ему нужно успокоиться...

20-е мая.

Наши обычные занятия принимают серый и суетливый характер. Нет огня, который одухотворял бы деятельность и создавал бы особую притягательную силу к ней. Это вполне понятно, впрочем. Хотя на очереди и есть один серьезный и важный вопрос, но теоретически, так сказать, он уже решен, а практическое решение его зависит не от нас. А в ожидании практического решения этого вопроса мы вертимся вокруг вопросов мелких и пустых... В самом деле, сегодня несколько часов потратили на разговоры о недостатке сил и необходимости отстранить одного товарища, провинившегося в том, что резко отозвался по поводу последних решений партии.

Вечером у меня была Роза, и я беседовал с ней на тему, затронутую Нилом. Она во всем соглашалась с ним, а потом разговор перешел на общие темы.

— Чем больше я развиваюсь, тем становлюсь более пугливой... Раньше я ни о чем не думала, просто отдавала свои силы революции—на что-нибудь, мол, пригодятся... А теперь вот начинаю думать и чувствую, что, серьезно говоря, я мало на что годна. Ну, что, в самом деле, я могу делать теперь? Быть секретарем какого-нибудь подрайона меня уже не интересует: хочется работы более живой и творческой. Для пропагандистки у меня мало сил и знаний... Вот и стоишь в нерешительности... Со мной совершается странная история: жизнь беспрепятственно меня обгоняет... То, что я знаю теперь, вполне было бы пригодно два года назад. А теперь то, что известно мне, стало известно всем, в том числе и рабочим; жизнь выдвинула новые вопросы, с которыми мне нужно снова знакомиться... А когда я

усвою новое, опять будет поздно: оно ни для кого уже не будет новым...

— Много дел, в которых вы были бы очень полезны. Нужно только поменьше философствовать, а делать, что посильно, веря, что и это приносит свою пользу.

— Плохой ответ. Ведь, так, как я, теперь рассуждают тысячи... Вот, мол, сначала научимся сами, а потом начнем других учить... вспомните наших старых товарищей: большинство из них «ликвидировали первый период» и засели за серьезную подготовку ко второму... Этим, пожалуй, и объясняется, что интеллигенция теперь отхлынула...

— В конце концов, она и должна была отхлынуть.

— Конечно, но каково многим из ее членов? Ведь, временно отстраняешься не потому, что не хочешь делать, а потому, что чувствуешь свое бессилие и бесполезность. Ну, на что годна, например, я? Технические функции, посильные мне, может исполнить любой рабочий и знает он не меньше моего. Значит, буду я пятым колесом в телеге, лишним человеком... А мысли о том, что ты человек лишний, отравляют жизнь и убивают силы... Вы знаете, в нашем городе образовалась «коллегия самоубийц». Между прочим, состояла в ней и я. Мы пришли к заключению, что в жизни мы лишние люди, и что самое лучшее для нас очистить место для других. По очереди мы должны были отправляться на тот свет. Двое кончили самоубийством, кажется, на днях кончит еще один... Значит, это не пустая болтовня, а вопрос жизни и смерти...

— Вот в том-то и беда, что мы слишком много философствуем... Вы вот почему-то утверждаете, что для революции вы бесполезны. А я думаю, что это не так, и вся ваша аргумента-

ция гроша медного не стоит... Ведь, работают же у нас тысячи подобных вам и находят себе дело! И посмотрите, как их любят рабочие!.. Как они довольны своими более сознательными товарищами... Главное дело не в том, чтобы практически заткнуть собою какую-нибудь дыру в партии, а в сближении с рабочими, в понимании их психологии и стремлений... Идите к ним, отдайте чистосердечно и искренно свои силы — тогда они полюбят вас, и в вас явится жизнерадостность... Смешно, в самом деле, собралось десяток усталых и разочарованных голов, создали какую-то нелепую теорию и давай стреляться... Это выход слабых!

— В том-то и дело, что все мы принадлежим к числу этих слабых. Ваши слова для меня не удивительны. Я согласна отдать свои силы, искренно и чистосердечно, но при условии, что от этого будет хоть какая-нибудь реальная польза... А без этого ничего не получится...

— И вы будете ныть и любоваться своей тоской?

— О себе я еще не решила: ведь, я член «коллегии самоубийц».

Она сказала это с улыбкой, но я ужаснулся при мысли, что она может покончить с собой. Неужели у меня не хватит сил возбудить в ней жизнерадостность и приохотить к работе?

— Знаете что, Роза? Мне думается, вам не мешает посидеть немного в тюрьме... Это далеко отбросит все ваши «кислые мысли», — пошутил я.

— Скверно, что нас не за что туда сажать! — серьезно ответила она.

Чорт знает, что такое! Как повсюду начала хныкать публика! Один Меньшиков только не унывает... И меня опять

начинает покусывать червячок беспричинной тоски. Нет, нет, да и занает... О чем? Почему? Что случилось? — начинаю я спрашивать самого себя и не могу дать определенного ответа...

21-е мая.

Возмутительнее всего то, что отдельные моменты моего скверного настроения начинают сливаться в одну непрерывную линию... Тоскливое состояние теперь начинает появляться и во время работы. Только па митингах оно улетучивается совершенно. Митинги вливают в меня новые силы и бодрость. Я как бы оживаю от соприкосновения с рабочими... А митинги устраивать труднее и труднее... В некоторых местах совершенно невозможно: рыщут казаки, пешая и конная полиция... Настроение рабочих неопределенное, озлобленно-выжидательное... Неизвестно, во что это выльется!..

22-е мая.

— Ты, Герасим, говорил вот на-днях, что следует полюбить...

— Говорил, ну, и что же?

— Мне кажется, что ты не обдумал условий нашей жизни. Предположим, я полюбил; что делать дальше?

— Смешно! Люби ее, дай ей бездну счастья, женись!..

— Вот, вот... Я полюбил, дал счастье, женился... Последствия женитьбы известны — появляются дети... Что мне делать тогда? При благоприятных условиях, положим, я с трудом прокормлю жену и детей, но это отнимет у меня большую половину времени... А если меня арестуют, посадят, вышлют — тогда что?

— Вот ты раскладываешь все, как по картам, у тебя и получается чепуха. Конечно, если тебе при женитьбе необходим уютный угол, обстановочка, ты должен или вечно быть холостяком или бросить революцию. Но разве обстановочка уж так необходима? Разве без нее не может быть счастья? Не тебе доказывать это. Заяви своей будущей жене о том, что может произойти, предупреди ее заранее... Спроси, согласна ли будет она кочевать с тобой по Сибири или, может быть, голодая с детьми, ждать, пока ты благополучно вернешься. Скажи и о том, чему посвящена твоя жизнь, докажи ей необходимость посвятить жизнь этому же... Да ведь, это же так понятно... Посмотри, вокруг нас немало женатых...

— Но не все они хорошо живут. Счастливы немногие.

— По своей же глупости. Не сговорились раньше, не проверили сил и привычек друг друга. Если ты женишься на девице, которая не может жить меньше чем с тремя горничными, конечно, ты будешь самым несчастным человеком: тебя убьет вечная погоня за рублем... «Руби дерево по себе»!

— Но, ведь, любовь-то не спрашивает, сколько кому нужно горничных!

— Тогда старайся изменить ее характер и привычки до женитьбы... Потрудись над этим. Чем сильнее будет твоя любовь, тем легче удастся тебе переродить будущую жену. Если же не сумеешь, откажись, задуши любовь, забудь...

— Боюсь, что чаще всего нам придется душить любовь и забывать!

— Кому как... Может быть, мы, агитаторы, особенно требовательны, — смеясь, закончил он. — Да ты что, жениться, что ли, хочешь?

- Не думаю. Просто хотелось узнать твой взгляд. А дети?
- Что дети? Многого они не спросят...
- А как ты смотришь на предупреждение?
- Вопрос субъективный... Мне думается, здесь не может быть принципа. Лично я высказываюсь против...
- При всяких условиях?
- При всяких...

23-е мая.

Когда я начинаю думать, для чего я веду с Герасимом такие беседы, как, например, вчера, то мне все кажется, что скоро в моей личной жизни должен наступить какой-то переворот... Какой — я не знаю пока сам, но предполагаю, судя по тому, что так часто выдвигаю вопросы житейского характера... Ведь, то, что вчера мне говорил Герасим, для меня далеко не ново. Все это я и сам говорил неоднократно и говорил менторским тоном... Теперь так же говорит Герасим...

Едва ли мне придется когда-либо применить к делу его советы, но все же они как бы распутывают одну нить из общего узла странностей... Как-то не хочется думать ни о чем, что касается лично тебя, гонишь эти мысли, а они надоедливо лезут в голову... Сегодня два часа думал о прошлом, ворочался на постели, нервничал... Все искал логических путей, которые привели меня к революции... И, конечно, ничего не нашел, кроме общих мест.

Отец мой — бывший полицейский. Теперь он служит лесником, получая 6 руб. в месяц. Когда родился я, у отца было уже четверо детей, и я далеко не был желанным. Жили мы в маленьком уездном городишке и в большинстве случаев жизнь

вели полуголодную. Понятно, какое воспитание мог дать нам отец. Мы росли под постоянным страхом голодной смерти, непосредственно следующей за увольнением отца... Не удивительно, что отец дрожал за свою должность, низкопоклонничал, приучая к этому и нас. То и дело мы носили надзирателям и их женам букеты ландышей, корзины грибов и ягод, которые нам удавалось собрать в лесу. Семи лет я поступил в приходскую школу, а потом, по наставлению учителей, и в городское училище. Учиться я любил, но еще более любил читать и думать о прочитанном. Отец тем временем выдал замуж старшую сестру, влез в долги, загубив в то же время и ее жизнь. Сестра вращалась в кругу полубуржуазных подруг, много читала и строила радужные планы. Сапожник-муж, конечно, скоро выколотил из нее все иллюзии... Изломанная и разочарованная, она превратилась в плохую жену и хилую мать... Карьера моя имела очень определенный путь. По окончании училища передо мной было два выхода: или писец в полиции или почтово-телеграфный чиновник. Я избрал последнее. Служил, получал награды и повышения, но доволен не был... Вот здесь-то и является вопрос: откуда взялась та беспричинная, мучительная тоска, которая съедала меня беспрестанно? Почему все мне казалось немилым и отвратительным, а жизнь совершенно ненужной? Ведь, помимо меня, в конторе было полдюжины других товарищей, которые ничего лучшего и не желали. Почему же меня терзал какой-то непонятный демон?! Это задача, решение которой не в моих силах... Но, ведь, только это, одно это и толкнуло меня на путь революции...

Отец строил широкие планы. Его идеалом было приобрести кусок земли и заняться земледелием. Он не мог себе представить, что настанет, наконец, момент, когда он будет есть

хлеб, собранный со своего поля, когда он сбросит с себя «полицейскую шкуру»... Этот момент пока еще не настал. Одну шкуру он заменил другой, едва ли не худшей... Тоска заставила меня искать утешения в книгах. И им я посвятил все свободное время... А потом? Потом все пошло обыкновенным путем. Я познакомился с умными людьми, понял, что надо делать, и делал... По неопытности я скоро попался и более двух лет сидел в тюрьме... Затем стал человеком нелегальным, подпольным... Жизнь шла периодами: половина в тюрьме, половина на воле... Была одна цель, которая и преследовалась с неумолимой настойчивостью...

Но вот теперь почему-то опять начинается тоска, которой не было и в помине целых шесть лет! Опять рисуются смутные образы, и нет сил понять их и осмыслить... Чего, в самом деле, мне нужно? Меня любят в нашем кругу, жизнь моя не бесполезна... Чего же не хватает? Вот этого-то я и не знаю... Вот это-то и способно привести в бешенство. Отчасти причина кроется в том, что деятельность суживается и не способна захватить всего... Остается пустота, которую нечем заполнить... Кругозор становится шире и шире... А потом, очевидно, я не на шутку устал... Это, наконец, нужно принять за данное... И, с этим необходимо считаться... Ха, ха, ха! Я уловил себя на скверной мысли: отдохнуть с кем-нибудь, заняться изучением науки и искусства... Ну, да, конечно... Не хватало еще дачи в Ялте, с роскошной обстановкой!.. Комизм!

Сон был тяжелый и тревожный... Снилось, что земля вдруг оделась черной пеленой, и в воздухе летали зловещие крикливые птицы... Они соединялись в причудливые стаи и готовились на кого-то напасть... Я проснулся больной и усталый...

27-е мая.

Все эти дни были заполнены спешной и нервной работой... Мы были заняты день и ночь; некогда было думать о чем-либо, не относящемся к революции... Говорить пришлось много, так что под конец мы говорили хриплыми и разбитыми голосами... Настроение, кажется, начинает подниматься... Это очень заметно, и только пессимисты в роде Герасима относятся к этому подъему недоверчиво. Вчера мы над ним немало смеялись, но он все твердит, что «посмеется тот, кто будет смеяться последним... Хотя тогда будет не до смеха»!

Словно солнце выглянуло из-за туч... Пока как-то робко и недоверчиво, но уже в достаточной степени приветливо... Приготовились мы, кажется, довольно хорошо. Все на своем месте и все по своим местам...

Два раза виделся с Розой. Первый раз мельком, спешил по делу и едва успел поздороваться. Второй раз — сегодня — вели довольно продолжительную беседу о надвигающихся событиях. Мне досадно, что Роза так же мало верит в них, как и Герасим.

— Я, конечно, мало в курсе дела. Но я чутьем слышу, что едва ли что выйдет. В воздухе чего-то не хватает: недостаточно наэлектризована атмосфера...

— Ну, это слишком субъективный показатель.

— Может быть. Но, ведь, я и высказываю свое мнение.

— Скажите, Роза, — неожиданно спросил я, — как вы смотрите на брак?

— Не понимаю... Конечно, я не против брака...

— Не в том дело. Могли бы вы стать женой человека, который заранее не обещает вам обеспечить средства к жизни

ваших детей, за которым, наконец, вам пришлось бы, может быть, ехать в Сибирь или ждать его возвращения?

— Я не думала на эту тему. Отчего же, однако... Если бы я полюбила, то, конечно, вышла бы за него, не считаясь ни с чем...

Мы пробовали читать «Сад пыток» Мирбо, но усталость помешала мне, и я поспешил домой...

Мне кажется, я не шутя начинаю любить Розу... Действительно, это был бы сюрприз довольно неожиданный... Но что, однако, говорит за это?.. Мне приятно с ней встречаться, создается нежное, хорошее чувство... Пустое, брат, пустое... Это тебя Герасим загипнотизировал!.. Настроение сегодня очень хорошее... Пустого места как будто нет вовсе... Авось, все уладится...

28-е мая.

Рано утром сегодня ко мне прибежал взволнованный Герасим.

— Случилось нечто чертовски скверное... Нил сошел с ума!

— Нил?!

— Нил, Нил!... Проснись, пожалуйста, нужно немедленно идти к нему.

— Да что с ним? Он, ведь был так спокоен всегда...

— О чем здесь говорить?! Спокоен, спокоен... Ты, влезал, что ли, в его душу? Почему ты знаешь, что происходило в нем под маской внешнего спокойствия?.. Ведь, мы не знаем друг друга... Мы знаем одно—кто голосовал за какую резолюцию.... Старая, непоправимая история!..

— Чего ты кричишь на меня, как будто я виновен в сумасшествии Нила?!

— Все мы виноваты... Эта наша общая вина. Нил — одна из самых чутких и нежных натур среди нас... Нежных, — говорю я и повторяю это! Нежность его — не сентиментальная нежность, старающаяся всех облобызать, а тонкое понимание души товарища, участливое отношение к его страданиям... Ты вот не знаешь, кто я и что я... А Нил знает... Две недели назад у меня заболела дифтеритом сестра... Денег ни гроша... Не знал, что и делать! Если бы я обратился к тебе, ты не понял бы, пожалуй, как это можно в такое время возиться с больной сестрой... А Нил... Ну, да чего там говорить... Идем...

— Недавно я был у Нила, и он доказывал мне необходимость перечитывать все декадентские писания...

— Идем же!..

В квартире Нила было много товарищей... Сам он сидел около стола, как мне показалось, по обыкновению спокойный и рассудительный. Только глаза говорили о чем-то болезненном и ненормальном.

— Здравствуй, Нил...

— Ага! И вы... Очень рад... Чем больше, тем лучше! — Ты здоров?

— Более, чем когда бы то ни было... Я развиваю маленькую теорию и охотно выслушаю оппонентов... Ей Богу, наконец, удивительно, что люди, исписавшие все эти горы бумаги, не додумались до такого пустяка... Пустяка, всем ясного и понятного... Но этот незамеченный умными людьми пустячок... хе, хе... несомненно, сыграет громадную роль в деле освобождения народов... Я говорю: для перерождения челове-

чества нужно только девять миллиардов рублей! Только — и больше ничего!.. Уровень сознания, концентрация и все прочее, это — дело десятой степени... Девять миллиардов, и больше ничего не нужно... По-моему, большинство давно доросло до понимания новых общественных форм... Просвещать и агитировать бесполезно. Необходимо начать практическое дело... Меня поймет каждый, чуть-чуть знакомый с четырьмя правилами арифметики... Неужодно ли, я сделаю маленький подсчет?

— Ваша теория вполне ясна, — нерешительно прошептал кто-то.

— Ясна? Ну, конечно, теперь она понятна всякому простаку... Но, поверьте, сделать ее понятной было довольно трудно... Вы видите эти груды исписанных бумаг? Это я подводил итоги, делал подсчеты... Я работал целые ночи... Честное слово! Я не только выработал цифровой фундамент, но и наметил общий план выкупа... Да, выкупа!.. Подождите, подождите... Нужно понять, как и что... Нужно соразмерить время ликвидации и трату сил... Ах, Боже мой! Я так и знал, что начнутся бесконечные споры... К делу! К делу, Бога ради! И так много было ненужных страданий... Ведь, голова шла кругом от той неразберихи, в которой мы запутались... У меня часто мозг жгло, как будто вместо него голова- наполнялась расплавленным железом...

— Успокойся. Нил. Ложись спать, а завтра мы приступим к делу.

— Спать?! Благодарю покорно! Глубоко признателен! Да кто вы, наконец, товарищи или уличная сволочь?! Кто вы? После этого вы хотите, чтобы я вас уважал! Неужодно ли; они

меня посылают спать теперь, когда все кончено, налажено... Когда достаточно одного дружного усилия...

Нил нервно зашагал по комнате.

— Идите спите вы, я знаю, куда мне обращаться за помощью... Идите, залезьте в ваши норы, забейтесь под шубы и почивайте... Может быть, вы заснете очень крепко... Так крепко, что не услышите и грохота революционной бури... Идите, спокойной ночи...

— Да успокойся же, Нил... Никто не уходит...

— Вы просите революцию! Я клянусь своей жизнью... Просите! А я... Я уже слышу ее громовое приближение... Я вижу богатырские схватки смелых и гордых... Закройте глаза — разве вы не улавливаете приближающегося гула?! Разве он идет мимо ваших ушей! Говорите же, иначе я перестану уважать вас... Что вы какие-то бесчувственные, как старые тупфы... И лица ваши ничего не выражают... Решительно ничего!..

Что делать?.. Я видел беспомощность на всех лицах... Все думали одно, но каждый боялся первый высказать это. Ведь, ясно, кажется... Человек психически болен, его нужно лечить... Нужно свезти в больницу... Но когда я начинал об этом думать, когда сознавал, что он уже выбыл из наших рядов мне было невыразимо больно. И это проклятое слово: «везти»!.. Как будто вырезает кусок мяса из твоего тела...

Нил волновался и становился беспокойнее и тревожнее... Он то беспорядочно рассуждал, не обращая никакого внимания на нас, то что-то шептал и размахивал руками...

— Хе, — вдруг озлобленно-иронически обратился он к нам, — спать? Значит, спать?! Молодцы! История вспомнит вас

за это! Спать накануне великих событий! Что вы смотрите на меня, как совы?! Вы уже проспали один подъем! Проспите и еще, проспите второй, третий... Будете спать, пока и вас не сметут вместе с прочим историческим хламом... Мы же спать не будем... Нил не заснет! Вы помните мою «дружину Нила»? Я удивляюсь, как у нас все скоро забывается... А, ведь, когда я показывался с ней на Невском, нас провожали бурей энтузиазма... Я помню наши схватки. Нил всегда был впереди... Мы наводили ужас на казаков... Нил — стало нарицательным словом... Все хотели быть Нилом... Как скоро, однако, у нас все это забывается...

Он смеялся озлобленно, а потом рыдал и жаловался на головную боль.

Пришел знакомый психиатр. Все облегченно вздохнули. Почему? Ведь, никто не верил что он вылечит Нила.

— Есть ли надежда?

— Трудно сказать... Нужно поспешить отправить в лечебницу.

— Это необходимо? — неизвестно для чего спросил Герасим.

— Необходимо... Если и есть надежда вылечить, то только там...

— Но как сказать об этом ему?

— Нужно пригласить на какое-нибудь собрание...

Мы с Герасимом вышли. Мучительная тяжесть давила душу. Хотелось рыдать, упасть на землю. Мне не раз приходилось видеть как люди умирают под пулей, страдания их вызывали злобу и жажду мести... А здесь какой-то непонятный, тоскливый ужас...

— Я думаю, болезнь Нила имеет связь с грядущим засто-
ем, — заметил Герасим.

— Ты думаешь, что его «изыскания» хоть сколько-нибудь
серьезны...

— Мне кажется, он мучительно искал новых путей...

29-е мая.

Политическая атмосфера сгущается... Реакционный разгул
переходит границы мыслимого... Собираться почти невозмож-
но. Повсюду войско, полиция и агенты охраны.. Аресты про-
должаются непрерывно. Хватают без разбору правых и ви-
новных. Мы собираемся по несколько человек под постоянной
угрозой провала... Нервы натянуты до высших пределов...
Скорее бы хоть какой-нибудь выход... Сегодня ходил на ми-
тинг, но, по обыкновению, его разогнали. Нам долго пришлось
лазить по кочкам и болотам... Вернулись усталые, с тяжелым
чувством бесцельно потраченного времени...

Учесть настроение рабочих немислимо. Все они озлобле-
ны, но озлобленность загадочная и нерешительная... Удиви-
тельно, что в этот момент в большинстве проснулось стремле-
ние к саморазвитию... Много читают, приобретая книги на
последние гроши. Полубуржуазная пресса обсуждает настро-
ение на все лады... Смешно, до какой степени мало она понима-
ет это «настроение»...

30-е мая.

После бессонной ночи и делового дня вечером катались на
лодке... Настроение было хорошее. Шалили, брызгали водой,
пели песни... Промокшие и усталые пили чай у Петра. Хотелось

быть веселым, отрешиться хоть на минуту от проклятых вопросов дня и чувствовать себя просто человеком...

— Не к добру, кажется, мы развеселились не в меру...

— Веселье всегда хорошо...

— Вы не чувствуете, что у нас как будто кого-то недостает?

— Нила!

— Кто слышал, как он себя чувствует?

— Скверно. Болезнь принимает тяжелые формы...

Все нахмурились...

— Не правда ли, здесь его отсутствие мало заметно?

— Оно очень заметно там...

— Да... Это порой меня бесит. Вышвырнет судьба человека из наших рядов, и на другой день он уже забывается... Изредка вспомнит кто, — вот хороший, мол, был агитатор. И все... А такой чистосердечной боли в нас нет...

— За всех не говори...

Опять все молчали и хмурились.

— Нил был не только хороший агитатор, но и красивая, чарующая личность... Быть может, даже слишком красив для нашей среды... Конечно, я говорю о красоте душевной.

— Он, кажется, понимал кое-что в искусстве, — заметила Роза.

— По сравнению с нами, даже очень много понимал... Да главное дело не в этом! Он говорил только то, что чувствовал и переживал. Главное достоинство агитатора — искренность и отсутствие фальши!.. В нем это достоинство было, как ни в ком из нас...

— У нас на заводе его очень любили, — горячо заметил Кирилл, умный и образованный слесарь. — И любили именно за то, что он всегда говорил то, что думал, и первый бы пошел на то, что советовал другим.

— В моей жизни была одна минута, которую я называю не иначе, как подлой. Меня послали на громадный завод агитировать за забастовку. Я был против забастовки, против всеми силами моей души — и пошел, подчиняясь решению большинства. Все, в том числе и я, знали, что, если завод забастует, его закроют на неопределенный срок. Люди останутся без куска хлеба... Хорошо в этом случае тому, кто верит, что это голодание принесет революции пользу, но я этому мало верил. И вот при таких условиях я начал свою речь. Судите сами о моей искренности... Мне хотелось, чтобы рабочие схватили меня, избили, выгнали... А они вместо этого доверчиво прислушались к моим словам... Забастовка прошла. Завод закрыли... Всякий раз после этого, когда я проходил мимо этого завода и видел его темные стекла, мне хотелось рыдать, и я проклинал себя.

— Нил бы на это не пошел.

— Да как разсуждать-то здесь? Забастовка, действительно, принесла пользу, а, не подчинись я большинству, этой пользы могло бы не быть...

— Нил был агитатор-художник... Я думаю, что потеря его незаменима...

— Тем более, если интеллигенция будет продолжать свое повальное бегство.

— Дело не в интеллигенции; у нас появляется своя, рабочая интеллигенция. Мне думается, вопрос в том, имеем ли мы,

вообще, возможность посвятить хотя бы сколько-нибудь времени на изучение того, что в данное время второстепенно. Я говорю о художестве.

— Кирилл прав, — сказал я, — надеяться на приток интеллигенции извне нужно перестать. Она отхлынула, и Бог с ней... Многого, чего-либо нового она уже не даст. А недостаток интеллигентных сил ускорит развитие их в среде рабочих...

— Положим, дать-то она кое-что и даст... Ведь, нельзя закрывать глаза на то, что среди интеллигенции вообще, а буржуазной в особенности значительно больше всесторонне образованных и развитых людей, чем у нас... Я не говорю — почему... Причины вполне понятны, но считаться с этим следует...

Кирилл нервно поднялся с места и начал ходить. Он обдумывал возражение на последние слова Герасима.

— Я не согласен с тобой, Герасим... Можно говорить, конечно, об отдельных лицах, но отнюдь не о всей массе... Правда, у буржуазии больше ученых, но процентное отношение невежд значительно больше пролетарского. Вот я перечту тебе наших капиталистов... Где здесь интеллигентность? Туши из мяса, жира, и пошлости... Какие у них знания? Все почерпнутое из учебных заведений забыто, а вновь ничего не приобретено... Литературу они читают только порнографическую, картины покупают, на которых много голого тела... Знаю я и учащуюся молодежь. Но, ей Богу, и там сплошное невежество... Конечно, в области специальных вопросов они во много раз развитее нашего, но политическая зрелость их порой ниже нашей.. Есть исключения, конечно. Но и среди учащейся молодежи исключения эти заметны, как мухи в молоке... И —

что мне кажется особенно важным — в этой среде мало потенциального стремления к широкой образованности, среди рабочих значительно, несоизмеримо больше... Мне думается, достаточно чуть-чуть измениться политическим условиям, и пролетариат опередит все классы... Отдельные же лица у нас есть уже и теперь... И так в каждой среде лишь отдельные лица, может быть, среди нас их меньше, и они не так развиты, но зато в нас больше, чем где бы то ни было, неудержимого стремления к саморазвитию...

— Мы живем в буржуазном строе. Вполне понятно, что среди буржуазии больше людей с широким образованием... У нас же интеллигентных сил мало; вполне понятно, что без прилива интеллигентных сил извне нам в настоящее время обойтись трудно...

— Слава Богу, никто не говорит, что от нас убежала вся интеллигенция... Пролетарская интеллигенция останется с нами. Бегут временные попутчики — ну, и скатертью им дорога...

В конце разговор опять принял характер ожесточенного спора по вопросу, будет ли новый подъем в скором времени... Герасим захандрил.

— Мне надоело спорить... Ваши аргументы я слышу не первый раз... События покажут, кто прав... Последнее мое слово—в близком времени нового подъема могут ожидать лишь люди, политически близорукие...

— Так же решительно молено сказать обратное...

— Сколько угодно...

Роза ночевала сегодня у меня. Что я люблю ее, в этом сомнений нет... Любовь созрела совершенно незаметно... Но вот

теперь я и не знаю, что делать дальше... Теоретически, конечно, вопрос решается просто. Вот она сидит — подойти, взять ее руку и сказать все... Если ответит отказом, встретить это гордым спокойствием и т. д. Но вот сейчас, когда нужно это сделать, оказывается, вовсе не так легко... Что будет? Предположим, она меня любит... Что же делать? Идти отдыхать вместе с ней «в благовоной древесной тени»? По тогда она перестанет любить... Ведь она меня может любить, лишь как энергичного, деятельного революционера... Работать вместе с ней? Но, ведь, ее взгляды мне известны; сейчас она не хочет работать... Работать одному, предоставив ей жить, как она хочет? Единственно возможный исход... А вдруг дети?.. Фу, чорт возьми! Что за дурацкие мысли! Думать, куда деть медвежью шкуру, не убив, медведя. Сначала нужно поговорить с ней...

1-е июня.

Когда мне сообщили сегодня, что Павел расстрелян, я несколько не удивился. Но потому, что ожидал чего-либо подобного, а просто потому, что я перестаю чему-либо удивляться... Прежде всего, во мне заговорило чувство самосохранения: я немедленно уничтожил карточку, на которой был снят вместе с ним... Но, ведь, у него остался такой же экземпляр... А вдруг он найден .. Но не безразлично ли, в конце концов?.. Вперед наука—никогда не следует сниматься вместе с товарищами по работе...

За что же, однако, расстреляли Павла? Был молодой, талантливый, жизнерадостный человек и погиб, несомненно, случайно... Имя его потонет в общей цифре казненных, прибавив к ней единицу... И все... Странно. Говорят, что он произно-

сил речь на улице около заводов... Затем началась перестрелка, и его захватили раненого... А затем судили и... расстреляли... Чорт знает, что такое... Хорошо, однако, что не повесили... Впрочем, все пути ведут к Риму... Интересно, какое впечатление произведет это на Герасима...

Полиция то и дело нападает на группы рабочих и беспощадно избивает их... Публика частью трусливо спряталась в свои норы, частью озлобилась и собирается, не обращая внимания ни на что. Участились террористические акты... Жизнь обесценена до крайности... Заметно, что в рабочих разгорается жажда убийства и мести... На собраниях более всего приветствуются речи резкие и беспощадные... Каждый террористический акт повышает уровень возбужденности... Во что же, наконец, во что это выльется?!

Мне поручено было произвести митинг на улице, между двумя рядами фабрик. Я пришел ранее назначенного времени. На улице — обыкновенно в это время тихой и безлюдной — замечалось некоторое оживление... Необыкновенный наплыв полиции и «агентов». Долгий опыт приучил узнавать их с первого взгляда по рысьим глазам и искусственной беспечности... «Очевидно, сметили», — подумал я и боялся, что митинг не состоится...

Устало и глухо пытели фабричные трубы... С фабрик несся беспорядочный гул, который возбуждал и наэлектризовывал...

За минуту до звонка вышла фабричная администрация... Мастера трясли друг другу руки и поспешно расходились... Какой-то толстый господин в котелке и белом кителе с мас-

сивной цепочкой шептался с приставом... Я тихо шел по тротуару...

— Все меры приняты...

— Я указываю на то, что теперь, именно в настоящее время, это было бы особенно вредно, — многозначительно подчеркнул он.

«Очевидно, директор», — мелькнула у меня мысль... Один за другим проревели фабричные гудки... Тревожно забил колокольчик... Сторожа широко распахнули ворота фабрик... Первыми во всю прыть выбежали фабричные подростки...

— Пришел?

— Здесь...

Густой толпой повалила рабочая масса... Женщины с котелками и узлами, очевидно, предупрежденные о митинге, конфузливо теснились на тротуаре.

— Тише! Не расходись никто!

— На середину улицы... Товарищи, сюда...

В одну минуту улица была запружена пятитысячной толпой народа...

— Тише! Оратор будет говорить...

Я успел успокоиться... «Товарищи», — начал я, и сразу все умокли. Я видел тысячи устремленных на меня доверчивых глаз, ожидающих совета и призыва... Я говорил на обычную тему. Через полчаса все разошлись бы, и на улице снова водворилась бы сонная тишина.

Но они не хотели этого...

— Полиция!

— Тише, провокатор!.. Продолжайте, товарищ...

Задние ряды оттесняли полицию... Я говорил во весь голос...

Но настроение было нервное и тревожное... В задних рядах начался шум... Все поминутно оглядывались туда...

— Рразойдись!..

— Ни с места... Тише... Продолжайте, товарищ...

Но продолжать при таких условиях было невысказано... Невысказано было и скрыться...

— Товарищи, казаки!..

— Тише расходитесь...

— На фабрики, товарищи! Запирай ворота! — успел крикнуть я... Полиция бросилась в мою сторону.

— Оратора, оратора защищай... Это подлость... Трусы!

— Где оратор?!

— В середину его... На фабрики!..

Неизвестная рука сорвала с меня шляпу и заменила ее засаленной фуражкой... Я в момент был затерт в толпу и вместе с ней втиснут на фабричный двор...

Улица опустела... И я не знаю, в кого давали залпы... Во весь опор казаки промчались по улице, потом вернулись обратно... Вернулись и начали обстреливать фабричные ворота...

— Расходись задними воротами...

Но люди были озлоблены и нервны... В казаков полетели поленья, камни, куски железа...

— Они уходят... Ускакали... За артиллерией поехали...

— Теперь расходись...

— Песню!..

— Песню! Песню!..

Пели нервными, взвизгивающими голосами...

Постепенно все разошлись...

Оказывается, немного позднее прибыла не артиллерия, правда, но рота солдат...

Около фабричных ворот я встретил Розу...

— Боже мой! Зачем вы здесь?!

— Я здесь была все время..,

— И не скрылись за ворота...

— Нет... Ведь, я же из «коллегии самоубийц»

У меня мелькнула мысль сказать ей о своей любви... Но обстановка была слишком необычайна, да и я взволнован...

На улице нас встретила какая-то пьяная женщина с бутылкой водки...

— Вот он, оратор-то... Ге... Ораторствуй... Ну?

Вблизи стояла полиция. Мы уехали на извозчике.

2-е июня.

Наконец, становится досадно... Герасим, как злой гений, на все кладет печать своей разочарованности... Если ты устал, перестал верить, если силы твои выдохлись и размякла энергия, иди отдыхай... Отстранись на время и не наводи тоски на других. В верхах наших идет усиленная и деятельная работа, мы тоже лихорадочно готовимся... А он бродит, как тень, твердя везде и всем: ничего не выйдет!..

Это же он доказывал и на собрании рабочих. Конечно, нельзя насильно заставить человека молчать, но его речи,

несомненно, вредны... Они действуют охлаждающе, как ушат ледяной воды...

События идут с такой быстротой, что не сегодня-завтра может произойти Бог знает что... Все, решительно все чего-то ждут... Мы, агитаторы, готовы... К чему, однако? Готовы идти, куда угодно... Все силы распределены... Все на стороже... Времени свободного совершенно нет... Роза два раза была у меня, ждала, но я не мог прийти...

Герасим доказывает, что вчерашний митинг только подтверждает его слова... Что же тогда должно подтверждать наше мнение?..

Ей Богу, он озлобит против себя всех!..

На конке, в пивных — всюду разговоры о сегодняшних, событиях... Все чего-то ждут... Только близорукий может, не заметить этого...

— Говорят, готовится забастовка.

— Слышно...

— Озлоблен народ... Будет дело! — ежеминутно слышишь со всех сторон...

Наверное, будет...

Поэтому-то особенно и досадно, что нет, нет, да и кольнет сомнение... А что, как Герасим прав... Что делать тогда? Все начинать снова? Ого... Пет, этого не будет... Не будет!

Впрочем, если даже и снова — ведь, это не так уж страшно.

Несомненно, период будет более короток... Ведь, сознание проникло в самые отдаленные углы. Но, ведь, и они готовятся,

и они учатся... Духом, конечно, не падаем, как говорит Кирилл... Снова, так снова... Отдохнем и опять за дело...

Отдохнуть же нужно несомненно... Устали решительно все...

4-е июня.

— Ну... Ну, кто был прав?! Кто, черт бы вас побрал!.. Учли настроение масс... Барометры.. Старые туфли вы, а не вожди...

— Да, ведь, еще ничего неизвестно... Не выяснено.

— Будет вам, господа... Перестаньте дурачить себя и других... На кого вы рассчитываете?! Кто те, наивные, которые поверят вам теперь?..

Герасим был взволнован в высшей степени.

— Но чего же ты-то горячишься!.. Ты, ни минуты не вевривший, в возможность иного исхода?! Ты кажется, более других должен быть хладнокровен...

— Я горячусь потому, что оказался дураком в собственных глазах... Я видел и великолепно понимал, что вы для определения температуры пролетарских масс щупаете свой собственный пульс... Но я, поддаваясь вашему гипнозу, обманывал себя... Строил иллюзии и жил ими... Я сознаю, что это было глупостью... А теперь я вдвойне озлоблен на вас, как на бесталанных болтунов, и на себя — за наивность на минуту поверить вам...

— Но, ведь, конференция еще не вынесла решения...

— Довольно, товарищи... Пролетарское настроение не каучуковый шар, который можно раздувать, приложивши к собственным губам. Если бы настроение было, если бы в

массах ярко бил огонь борьбы, они не ждали бы вашего решения... Помимо вас они давно были бы на улице, и никакие силы не способны были бы их сдержать... Раз этого нет, раз они почти спокойно снесли оплеуху, раз они ищут решений конференций и собраний, значит, настроения для победоносного восстания нет... Согласитесь с этим и поставьте временно над вопросом точку.

— Неизвестно... По всем сведениям, забастовка пройдет и будет приличной.

— Ого! Шутники... Приличной—очень скромно!.. И то хорошо. Но, ведь, вы лучше меня знаете, что отвечать на происшедшие события приличной забастовкой очень неприлично... И если этого не понимаете вы, пролетариат это превосходно понимает...

— Что же ты думаешь?

— Что я думаю, я говорил много раз... Вероятней всего, не будет ровно ничего, и это лучший исход... Может быть, произойдет «приличная» забастовка... Тогда получится грандиозный скандал... Конечно. Первая волна схлынула... Нужно готовиться к новому, может быть, к девятому валу...

— А скоро он будет, по-твоему?

— Не думаю, чтоб очень... Кризис промышленности, по всем видимостям, проходит. Наступает расцвет... Пролетарское море временно войдет в чисто экономическое русло... Но это же подготовит следующей волне особую силу... Я не знаю одного только, годны ли мы будем тогда... Вероятнее всего, явятся новые силы, которые используют наши ошибки и наш опыт...

Ничего, решительно ничего... Не верится этому, не хочется верить. В городе так тихо, так обыденно, как будто бы не произошло ровно ничего... Все идет своим чередом... Утром я встречал, как и всегда, десятки занятых обычным делом, делом житейским и мелким... Все это как-то странно для сегодня...

Еще вчера утром, когда я выходил из дома мне все казалось, что я опоздал... Что улицы уже покрыты баррикадами, что гул мести воодушевил тысячи... Честное слово, я серьезно верил в это и удивился, найдя все по-старому... Я доказал себе, что весть не разнеслась еще повсюду, что не все еще узнали о происшедшем, и отложил «события» на сегодня... Но сегодня тоже ничего... Ничего!

По-прежнему дымят фабричные и заводские трубы, и тысячи рук бьют, вертят, стругают... Но почему же они не схватились за оружие и камни?.. Почему вместо обычного мурлыканья заводских песен из уст их не вылетают нервные звуки борьбы и мести... Я уже не верю, что завтра не будет похоже на сегодня... Будет то же самое... Скучный, томительно-скучный рабочий день, полный суетливости и мелких нужд. И ничего нельзя поделать... Нет сил, которые заставили бы вздрогнуть и раскачаться спокойную массу... «Настроение пролетариата не каучуковый шар, который можно раздувать, приложив к собственным губам».

Все вошло в старое русло... Герасим стал только конторщиком, Нил только приказчиком... Впрочем, Нила нет... А чем я? Однако, чем же? Человеком с нелегальным паспортом и без определенных занятий... Без определенных... Но, ведь, не прекратится же решительно все... Разве уж так сразу все замрет

и нас выкинет за борт?! Конечно, нет... Дела много, много... Лишь бы были силы...

Однако, уж приходится, сгибаясь, лезть в подполье... Хватают, хватают и хватают без конца... Если даже мы и сумеем снова втиснуть себя в подполье, то ползет ли туда за нами пролетариат? Не захочет ли он искать новых путей?!

6-е июня.

Ничего не произошло нового... Мы разбросаны в разные углы и не можем отыскать друг друга... Герасим застрелился, но это прошло почти незаметно... Все силы заняты сохранением организации... Если это удастся, будет превосходно.

Застрелился Герасим сегодня утром, очевидно, окончательно убедившись в правоте своих предположении. В правоте их теперь уже не сомневается никто. И удивительно как-то: застрелился он, оказавшийся правым, а не мы, над кем так жестоко смеялись события... Не произошло ровно ничего: все по-старому, даже значительно хуже... Говорят, что массы недовольны пассивностью партий... Как будто события зависят только от партий...

У меня не хватило сил пойти к гробу Герасима: я боялся увидеть на его мертвом лице укор нам всем... Говорят, что этот укор на его лице сохранился... У него хватило сил выпустить в себя две пули... В записке, оставленной им, всего несколько слов: «Революционная волна, которая давала цель моей жизни, умерла. Вместе с ней умираю и я. Ждать другой нет сил... Крепко жму руки товарищей». Красиво, но неправильно. Если обобщить эту мысль, то, ведь, всем нам придется отправляться на тот свет. Ошибочно и то, что только эта революционная

волна давала цель и смысл его жизни... Это очень узко. До цели, может быть, будет десяток волн...

Мне думается, что борьба, каковы бы ни были ее результаты, должна живить и закалять... А поражение — лишь вливать энергию.

Что касается лично меня, то я устал... Без отдыха я буду мало полезным работником... Этой чисто физической усталостью я объясняю и все усиливающееся тоскливое настроение... Действительно, и во мне временно как бы пропала цель... Но эта цель непосредственная, вопрос дня... Но далеко не цель всей жизни...

Но все же какой-то недостаток в моем механизме имеется... Вот над определением его и следует подумать... А в голове какая-то путаница. Мысли' вертятся в беспорядочной пляске, и нет сил придать им хотя какую-нибудь систему.. Как только закрываю глаза, вижу тысячи огненных кругов, которые вертятся с одуряющей правильностью... А в ушах шумит беспре- станно...

Телом Герасима завладела полиция, и мы не знаем, где он схоронен, и куда деть купленный нами венок..

Троих уже нет из нашей тесной агитаторской семьи — Нил, Герасим, Павел... На смену им, конечно, явились новые товарищи, но... все же что-то тяжелое и грустное наполняет душу... не сегодня-завтра каждого из нас ожидает участь одного из выбывших... Не это страшит... Нет... Страшно то, что люди гибнут, погружаясь в неизвестность... Скоро улетучатся их имена... Выдвинутся новые силы... И все забудут нервного и страстного Герасима с его больной, но жгучей и сильной речью... Забудут художника-агитатора Нила, забудут Павла...

Но что-нибудь все же после них останется... Ведь не даром же они произносили речи, не напрасно имя Нила пока еще не сходит с рабочих уст?..

7-е Июня.

Как случилось то, что я сегодня сказал Розе о своей любви, для меня непонятно. Произошло это как-то неожиданно, случайно... Мы разговаривали о смерти Герасима. Разговор носил характер спора. Роза доказывала, что Герасим поступил, как герой, как натура тонкая и чуткая... Он сознавал, что сил до нового подъема у него не хватит, а жить без борьбы он не мог... Выход самый благородный... Я не соглашался, что у Герасима не хватило сил, объясняя его самоубийство разочарованностью...

— И вы увидите, что по его путям пойдут и некоторые другие...

— Вполне верю... Но все же сказать, что буржуазная разочарованность коснулась Герасима, смешно. Ведь это не случайный попутчик ваш, а чистокровный сын пролетариата... Как более чуткая личность, он лучше других понимал пролетариат и умер вместе со смертью пролетарского подъема... Вам не жутко сознавать, что он умер, а мы живы?

— Нисколько... Я начинаю привыкать к гибели товарищей...

— А мне так очень жутко... Не знаю, почему...

— Вы жалеете его?

— Помимо этого, я понимаю его... Понимала, то есть.

— А меня вы не понимаете?

— Вы — характер другого рода.

— Который характер более близок вам?

— Конечно, Герасима... Вы же знали это...

Несколько минут мы молчали...

— А как вы думаете, Роза, различие характеров может мешать любви?

— В семейной жизни, говорят, это приносит большие несчастья...

— Я вас спрашиваю это потому, что... я вас люблю... Т. е. я люблю вас, как женщину, как любят жену и невесту... А не как друга...

— Признание?

— Не шутите... Мне мучительно тяжело...

— Что же, вы решили обзавестись семьей и хозяйством?

— Зачем вы шутите?... Будьте, Бога ради, серьезны... Вам, ведь, нужно сказать о ваших отношениях ко мне...

— Мои отношения? Да они же понятны — очень хороши... А вот ответ на признание я вам дам через несколько дней... Хорошо?

— Вы как будто смотрите на это недостаточно серьезно?

— Нет, я очень серьезна...

Я чувствовал себя ужасно глупо. Сыграл какую-то мальчишескую роль и сыграл ее неумело... По-школьнически... Ведь, когда я думал об этом, в моей голове было так много мыслей... Хороших слов... Я думал говорить о счастье, о совместной работе.. О совместном чтении и развитии... А получилось чорт знает что!.. Да и момент выдался самый неподходящий — едва остыл труп Герасима, неудачи последних дней...

Глупо! Ужасно глупо! За кого она теперь будет меня считать?! Да что же это, чорт побери, за нерешительность такая, неуменье искренно и просто спросить!.. Но ведь, я же и спросил искренно и просто... Вольно ей было придавать разговору шутовской характер...

Что же она ответит?.. Конечно, что-нибудь о несвоевременности и т. д. А я, дурак, воображал, что она бросится ко мне на шею... Может быть, заплачет... Скажет: я горда твоей любовью! Теперь я счастлива! А потом? Да не все ли равно, что было бы потом... Одно мгновение это влило бы в меня новые силы... А теперь? Глупая неопределенность!..

Новая волна тоски... Кажется, я начинаю понимать Герасима...

8-е июня.

Я начинаю понимать, что моя любовь создавала мне надежды и иллюзии. Не отдавая себе отчета, я видел в этом некоторый выход из создавшейся душевной путаницы... Мучительно сознаваться в этом самому себе, но это так... Я иронически думал об отдыхе вместе с кем-либо, но в то же время страстно желал подобного отдыха...

Свою совесть, протестующую и негодующую, я старался усыпить проклятыми словами: «мне нужен отдых»... А теперь потеряна и эта смутная, неопределенная надежда... Нужно искать что-либо иное, другой выход...

Реакция не парализовала нашей деятельности, но сузила ее до крайности... Растеряв друг друга' мы собираем небольшие группы, не зная, о чем говорить и что предпринять... О каком-либо широком размахе деятельности не может быть и

речи. Самые отчаянные попытки ведут к неудачам... Как будто в городе остались полиция, войска и шпионы, а прочие люди попали сюда случайно и чувствуют себя неловко в незнакомом месте... Я пробовал устроить митинг на одном из самых беспокойных заводов. Но натолкнулся на апатию рабочих, отсутствие энергии и желания... Собралось мало рабочих, вялых и торопливых... Было только скучно...

А когда возвращаешься к себе, острая тоска охватывает всего... Как раненый зверь, мечешься по комнате...

Мелькают мысли, что все погибло... Что не нужен ни я, ни другие... Мысли, ясно указывающие на слабость...

И вот я стараюсь приободрить себя, указывая себе на то, что подобные думы — проявление слабости и усталости... Но здесь, как искра, мелькает новая мысль... не нужно закрывать глаза на то, что есть... Не следует закрывать себе глаза...

А затем вдруг всплывает Роза... Любовь... И все перемешивается в расплывчатый хаос из отрывков и воспоминаний...

Сегодня вдруг я начал жалеть себя... Ведь, я не жил вовсе чисто личной жизнью... Я не знаком с целым рядом сторон ее... Чувствуя себя, как рыба в воде, в революционном море, я беспомощен при иной житейской мелочи... Подполье дало одностороннее развитие, почти атрофировав некоторые стороны души... Герасим, Нил были поставлены в лучшие условия: они жили в семье, среди своих... Они не порвали так беспощадно со всем, что не касается революции... А я?! Шесть лет в подполье и тюрьмах... Кругозор сузился до тюремных стен...

Вздор все это! Досадно за такие мысли! Право, кажется, я начинаю презирать себя... Ведь, думать так, это значит... Чорт знает, что такое!..

Роза... Любовь... Но что Роза? Что любовь? В несколько дней создал сам себе глупый каприз и теперь ковыряюсь в своей душе... «Но, ведь, она тебя не любит... Сознайся в этом!» И ладно, и превосходно... Нет никакой помехи... Отдамся весь революции, брошусь в ее грозное море снова... Ведь, лишь благодаря ей я до сих пор не сошел с ума и так крепок физически.. «А где революция? Где это море? Она в твоей голове, мой милый! Она одна из тысячи твоих бесконечных иллюзий! Ты обманываешь сам себя... Теперь нет революции, нет Розы, нет любви... Остался только уродливо-развитой «человек без определенных занятий»!.. Ложь! Гнусная, проклятая ложь! Понимаешь ты, проклятый искуситель?! Понимаешь? Я верю, верю и буду верить... «Верь... Блажен, кто верует»... Я верю, да... И понесу эту веру другим... Огненным, страстным словом я растоплю лед разочарованности, огнем зажгу сердца усталых... Верю, страстно и глубоко верю... «Иди, говори... Тебя не будут слушать... Над тобой посмеются, как над фанатиком... Иди»!.. Будут слушать... Будут...

Хочется рвать на себе волосы, кричать и мстить беспощадной местью...

Читать нет сил... Прочитанная страница тотчас забывается... Получается какой-то вздор...

10-е июня.

Я не знаю, для чего Роза повела меня в этот богатый, буржуазный дом... Мне не хотелось идти, но явилось желание

посмотреть, как живут там, и я пошел... У Розы, я думаю, была мысль поставить меня в растерянное положение... Коварная мысль, скверно характеризующая Розу... Мне кажется, попытка ей не удалась... Или, по крайней мере, удалась не вполне...

Роскошь обстановки не произвела на меня никакого впечатления... Я не оглядывался по сторонам, не показывал никакого восхищения...

В гостиной было довольно многолюдно... Кроме хозяина и хозяйки, вся молодежь из категории «маменькиных деток». Девицы в нарядных платьях, с цветами в волосах. Зачем я попал в эту компанию?

Встретили меня очень радушно... Предложили чай, вино и закуски.

Разговор у них не клеился. Перекидывались отдельными фразами. Полный не по летам гимназист рассказывал о том, что он видел в театре.

— Начала она ломаться и сбрасывать с себя по штучке. Поломается — сбросит, поломается — сбросит... А потом осталась совсем без ничего...

— Хе-хе-хе...

— Брось, Владимир... Не рассказывай гадостей.

— Ей-Богу... Ну, здесь и началось: кто свистит, кто хлопает... Шум поднялся...

— А ты что делал?

— Я хлопал...

— Вам скучно? — шепнула мне Роза.

— Любопытно...

Ко мне подсели две девицы-хозяйки... Очевидно, с целью развлекать меня...

— Нам о вас говорила Роза...

— Что она вам говорила?

— О странностях всей вашей компании...

— Я, к сожалению, не знаю ни одной из этих странностей... Странностей в вашей компании, мне кажется, значительно больше...

— Какие же?

— Смотрите сами...

Мы замолкли... Кто-то сел за рояль и начал брэнчать.

— Вы любите музыку?

— Такой, как эта, не люблю...

— А какую же?

— Хорошую...

— Исай Исаевич играет недурно...

— Может быть... Значит, у нас разные вкусы...

Другая все время молчавшая девица начала с глупости:

— А у вас разве носят воротнички и галстуки?

— Что вы, господа, с неба, что ли, свалились? Или Роза наговорила вам всякого вздора, или вы шутите...

— Нам говорили, что все революционеры ходят в блузах и шляпах с широкими полями.

— А вы где учились?

— В Смольном.

— Недавно вышли оттуда?

— Недавно...

— Ну, вы еще не раз станете в неприятное положение. «Воспитание» не скоро выдохнется...

— Нам говорили, что социалисты грубы, неопрятны. Они отрицают науку, искусство. Их идеал — пиво и водка...

— Глупцы вам много могли сказать вздора... Но кто мешает вам самим познакомиться с учением социалистов... Ведь, вы грамотны?

— Конечно... Ведь, я же...

— Мне тоже пришлось слышать, что институтки — сплошные невежды...

— И теперь вы убедились в этом?

— Я вас совершенно не знаю...

— Виктор, вы невозможно резки, — шепнула Роза.

Мне неприятно стало, что я пришел сюда, что Роза учит меня такту.

— Я знаю, как вести себя, Роза... Вам не придется за меня стыдиться...

— Да чего вы злитесь?..

Я кивнул головой присутствующим и вышел...

Чудная, месячная ночь... Как хорошо теперь в лесу!

Но и в лесу, как и дома, терзал и рвал рой неотвязных мыслей.

Ночевал у рабочего. Утром дома нашел записку Розы: «Вы нервничаете... Вчера ваш уход взволновал всех... Девушки думали, что вы обиделись... Спешите отдохнуть и долечиться».

Ладно, ладно... Теперь меня, кажется, ничто не способно «задеть». Я окончательно решил сдать все свои дела, отдохнуть и подзаняться. Решил без чьих-либо советов..

Мне становится досадно, что я говорил Розе о любви... С той минуты ее отношения ко мне изменились. Как будто она начинает смотреть свысока... Не рано ли, милая Роза? Посмотрим!..

13-е июня.

Организация сохранена... На смену павших стали новые силы.. Аппарат, следовательно, готов, и, хотя делать ему покуда почти нечего, мы довольны и веселы... Переключка сделана—все в сборе... Снова за труд! Пусть нет широкого размаха: капля по капле камень долбит... Радуюсь, что не удались планы реакции... Что организация цела... Радуюсь тому, что хоть маленькая работа, но все же есть... Я беру на месяц отпуск... В месяц работа разрастется... А тогда я, отдохнувший и успокоившийся, «снова брошусь в бой кипучий».

Я снял себе маленькую комнату на краю города, около леса... Все дела свои я сдал другому и теперь хожу на собрания, как гость. Посмотреть, послушать. И все... Сразу неудобно как-то бросить все и заняться самим собой. Вот я и отвыкаю постепенно, понемногу... Мне кажется, что теперь и нервы мои понемногу приходят в порядок... Страдания же я объясняю тем, что все еще довольно близок общему делу, что все еще живу пм... И, когда на собраниях обсуждается тот или другой более близкий мне вопрос, я волнуюсь, начинаю горячиться, чего бы, как «гостю», делать не следовало...

Читать тоже еще не начал... Хочу сначала «отдышаться», регулярно поесть... Вообще, пожить чисто животной жизнью...

Товарищи вполне понимают меня... Живы ли еще перед ними образы Нила и Герасима, или на мне очень заметна

усталость, — не знаю. Но все так ласковы, так близки... Ни одной шутки... Никто не подтрунивает над моим «отпуском»...

Иногда даже говорят комплименты...

— Бы, товарищ Виктор, навещайте нас время от времени: без опыта наших «старших» братьев нам будет трудненько.

— Я же лишь на один месяц.

— Все-таки... Кто знает, что может случиться в месяц!?

Милые, дорогие друзья!... Они, наверное, меня любят так же, как я их... Как только снова начну «работать», постараюсь всех узнать поближе... Кто они, откуда... Буду знать их, как людей, а не только, как партийных работников... Тогда создастся еще большая близость... Еще дружнее, еще единоклубнее будет труд... Интересно, как это я проживу целый месяц без дела... Давно я не жил так... В тюрьме, конечно... Но, ведь, тюрьма — другое дело... Хотя и в тюрьме живешь или стараешься жить той же атмосферой...

А теперь целый месяц совершенной свободы... Делай, что хочешь, иди, куда желательно... Читай, гуляй, поезжай в деревню—никакого запрета, никаких обязательств... Но вот—тоска... Почему же она не уходит вместе с прошлым? Почему не является светлая жизнерадостность?! Ну, да явится и все это... Нужно несколько свыкнуться с новым положением... «Старый кот на покое»... Но какой же старый? 24 года... Да и, наконец, все признают, что мне необходимо отдохнуть... По капризу же это, не лень.

В окно моей комнаты виден лес... Видны улица и сады... Воздух чудный... По вечерам я долго сижу на окне и прислушиваюсь в отдаленному городскому шуму... Роза не была у меня несколько дней... Историю с «любовью» я считаю конченной...

Тяжело и больно в этом сознаться, но это так... Не надо думать об этом...

7-е июня.

Сегодня я выходил лишь на два-три часа повидать товарищей... Все остальное время был дома... Ходил в лес, но почему-то стало скучно... Вернулся через полчаса и застал Розу.

- Здравствуйте, отшельник... Чего это вы спрятались?
- Отдыхаю и наслаждаюсь жизнью...
- Вот как мы!.. Хорошо?
- Недурно...

Пили чай и болтали о разных разностях. А, уходя, Роза бросила мне:

- Вы еще не забыли, что сделали мне предложение?
- Розочка... Я живу вами... Я так люблю вас...
- Ну, смотрите же... Не забывайте этого...
- Могу ли я забыть?! Роза, останьтесь... Поговорим...
- Мне нужно идти...

Я схватил ее руки и сжал их в своих... Мне хотелось целовать их, целовать Розу...

Она загадочно, нерешительно смотрела на меня!.. Чуть заметно улыбалась...

- Останьтесь...

Она освободила одну свою руку из моих и гладила мои волосы... Так ярко, так светло было на душе...

- Милый мой, хороший, славный друг... Наивный только.

— Останьтесь, Розочка!.. Неужели вы уйдете сейчас?..

— Не могу. Меня ждут..

— Ну, хоть скажите что-нибудь.

— Что?

— Ответьте, о чем просил тогда...

— Скоро вы узнаете все...

Она ушла. Я видел, как она торопливо шла по улице и села на конку... Деревья так ласково шелестели листьями. Дышалось легко. Разочарование сменилось уверенностью...

Но почему же я «наивный»? Милая, искренняя девушка...

16-е июня.

Нет, мне решительно не годится жить здесь... Решительно... Едва уснувшую на минуту тоску беспрестанно будят всевозможные события и столкновения... Порой какой-нибудь ничтожный случай воскрешает в душе тоску, такие муки, что решительно не знаешь, что делать...

Сегодня, бесцельно шляясь по улицам, встретил знакомого рабочего... Радостно поздоровались.

— А мы, товарищ Виктор, все насчет митинга подумываем... Посоветоваться с вами хотели. Казаки у нас в заводе-то, только немного их и кое-кого из них мы приручили. Так что, думаем, если минут на пятнадцать — вполне возможно... Публику расшевелить.

— Конечно, это хорошо...

— Так вы дайте свой адресок. Мы, в случае чего, сообщим... Вы подойдите к воротам, а то прямо на завод с утра можно... Так походите по мастерским.

Я дал адрес...

Есть ли возможность сказать, что я в отпуску, отдыхаю?.. Нельзя... Ни в коем случае... Рабочий удивленно и странно посмотрел бы на меня, и в голове его обязательно мелькнула бы мысль: «тоже обуржуазился»...

Можно с уверенностью сказать, что митинг этот не удастся, как не удались сотни других, проектируемых в последние дни... Неудачи озлобляют, заставляют публику нервничать... Но попытки все-таки продолжаются...

Мысли снова принимают нежелательный оборот, направляясь к перспективам... Вместе с невозможностью решить их вливается тоска и горечь... Пет, нужно ехать куда-нибудь вдаль, изолироваться на некоторое время, иначе отдых превратится в невыносимую полосу страдания...

Настроение настолько не спокойно и не уравновешено, что до сего времени я положительно не могу читать... Мысли путаются, и книга валится из рук. Хожу по комнате, как в одиночке, и думаю неизвестно о чем... Беспорядочно мысли перескакивают с одного вопроса на другой, и, когда спрашиваешь себя, о чем же ты думаешь так лихорадочно и нервно, какие решаешь вопросы, — никакого ответа дать нельзя... Так себе, о чем-то разном, непонятном... Уж не схожу ли я с ума?

21-е июня.

Завтра еду на Волгу... Далее жить так нет сил... Пустая, бестолковая, мучительная жизнь... Вот четыре дня не выходил никуда из комнаты... Живу, как зверь в берлоге, и страдаю от бессодержательности собственной жизни... Тоска неизвестно о чем грызет беспрестанно, пропал аппетит, и, по выражению

моей хозяйки, я «стал похож па шкелет»... Что же это за самоистязание такое!..

Нужно привести в порядок свои мысли, последовательно ответить на каждую...

Кончилось ли всё? Пет, несомненно, нет... Настроение масс, повысившийся уровень их политической требовательности, озлобленность на экономические неурядицы — все говорит против этого... Глубоко ли я верю во все это? Убежден ли? Несомненно. Постоянное столкновение с рабочими подтверждает теоретические выкладки...

Если так, в чем же дело? Тоска после неудачи, что ли? По, ведь, неудача разочаровывает лишь слабых. Это я говорил тысячу раз, и себя слабым никогда не считал... Если, тем не менее, тоска на лицо, значит, или я слабейшая дрянь, вопреки всем моим мыслям, или не удача может повергнуть в тоску и не одних только слабых...

Но, ведь, это не ответ, не объяснение... Оно не уменьшает мук, а лишь увеличивает путаницу мысли. Ясно одно, что эти дьявольские муки вызваны не нашими неудачами или, верней, не одними этими неудачами.

Чем же, в таком случае?

Неудачей в любви? Но, ведь, и это же не так уж важно... Да и что, серьезно говоря, это за любовь, внезапно явившаяся и не давшая ничего, кроме глупого положения?.. Да и люблю ли я Розу? Что значит любить? Когда я думаю о Розе, во мне создается мучительно приятное настроение, хочется видеть ее, ласкать... Когда думаю, что она меня не любит, — мне больно, досадно на себя... Не видя ее долго, я начинаю волноваться, мне чего-то недостает... Начинаются страдания... Любовь ли

это? Не знаю... Нужно с кем-нибудь поговорить или почитать побольше на эту тему...

Любит ли Роза меня? Мне хочется думать, что да... Я не могу заставить себя думать иначе, и если иногда начинаю думать «на всякий случай», то получается пустота... Как будто без Розы нет ничего—ни жизни, ни природы, ни цели. Конечно, все это пустяки, и я спешу выбросить их из своей головы...

Неудачи в любви я пока еще не вижу и не знаю, как на мне отразится эта неудача...

Значит, существует что-то еще, чего я или не знаю, или скрываю от себя намеренно... Но что же, что же, наконец?

Вчера и позавчера находился под впечатлением ужасной сцены... Это маленькая ничтожная страничка жизни... Мне только теперь пришлось столкнуться с ней, а потому она потрясла меня, па минуту парализовала все мои мысли...

Инстинктивно как-то я забрел в один из заводских кварталов. Шла работа, пыхтели паровики, ожесточенно били паровые молоты, визжало и стонало железо... Улица наполнена дымом и гарью... По обыкновению, здесь никого не было, кроме полиции и людей, «одержимых холопским недугом»...

Вдруг улица оживилась... Наполнилась толпой народа... Наполнилась криками, шумом и выстрелами... Это произошло неожиданно-быстро... Словно все эти кричащие люди упали из воздуха или появились из земли!..

— Держи, эй, держи!..

— Сторонись, с дороги прочь!.. Уходи!..

Отрывисто и резко звучали выстрелы...

Я прижался к стене... Мимо меня пронесся мальчик с большой копной белых, вьющихся волос... Лицо — бледное, как полотно, глаза блестят болезненно...

Машинально, но верно он стреляет в перегородившего ему путь полицейского перескакивает через его труп, на бегу стреляет в преследователей...

Я не знаю, зачем присоединился к бегущей за ним толпе... Всех нас влекло не желание схватить его, а простое, низкое любопытство узнать, чем это кончится...

— Держи грабителя!

— Эй, эй, эй!.. Грабитель!.. Держи...

Околоточный один за другим произвел полдюжины выстрелов. Стреляли полицейские и добровольцы...

— Шустер...

— Ишь ты, все мимо да мимо...

— Он ранен, да крепится... Жисть свою спасает...

— А, ведь, уйдет...

— Пожалуй!

— Нет, он устал... А их, вишь ты, все новые да новые...

Юноша на минуту остановился, прицелился и свалил прибившегося к нему околоточного...

— Здорово бьет!..

— Не по-ихнему...

— Третьего человека сваливает...

— Уйдет!

— Догонят... Где тут уйти!..

— Пари на целковый, идет?

— Дурак! Здесь человек гибнет, а он пари... Чучело!

— А ты что, аль из их компании?

— Целы у тебя зубы-то?

Экспроприатор заметно отставал... Впереди толпы за ним неслись мальчишки... Некоторые из них догоняли его и отбежали на тротуары... Всем становилось ясно, что он погиб... В перерез ему бросились двое на извозчике...

— Мальчики, палку ему под ноги-то, палку бросьте...

— Поди, брось сам... Прыткий какой!..

— Камнем его, сукина сына!..

— Еще одного свалил!.. Ах, Господи!..

— Дорого жисть свою человек продает...

— Всякому дорога!

— Не воруй...

— Это верно...

— Время-то какое, Господи Боже ты мой... Сегодня цел, а завтра Бог весть...

— Да, уж времечко...

— Экое дело!..

Сделав еще два выстрела, экспроприатор упал... Преследователи кучей навалились на него... Началась кровавая свалка...

— Убьют!.. Убьют...

— Убили уж... Чего там убьют!

— В котлету обратили человека... Звери!..

— А он-то четверых... У них тоже дети...

— Ты суди, предай казни... А не зверствуй!..

— Теперь готов...

— Конечно. А то «уйдет»... Где уж тут уйти...

— А бывает, что и уходят.

— Бывает... А этому где уйти, когда такая погоня.

— Совсем еще молоденький...

— А стрелять мастер.

— Стрелять, ой, ой... Хоть в стрелковый батальон...

Труп положили на извозчика... Дворники начали замы-
вать кровь...

— Расходись... Чего не видали!

— Как держать, так иди, а теперь расходись...

— Иди, иди...

— Был, человек и нет... Вот она, жисть-то наша...

Меня и сейчас преследует испуганное и энергичное лицо
этого юноши...

Мне вспомнился рассказ Короленко: «Мгновение»... Оче-
видно, и этот юноша в последней схватке испытал минуты,
которые стоят целой жизни...

22-е июня.

Я еду на Волгу... Поезд стучит, трясется и взвизгивает...
Вагон полон люда чуть ли не всех возрастов и сословий...
Жарко, душно... На площадку выйти невозможно: через мину-
ту покрываешься густым слоем пыли и копоты...

На лицах всех нервозность и усталая сосредоточенность...

В одном отделении со мной поместилось несколько кре-
стьян и два дьякона. Один довольно молодой, полный и креп-

кий мужчина. Круглое, блестящее лицо его ежеминутно покрывалось потом, который он смахивал полотенцем, приговаривая всякий раз:

— Ну, и жара! Никак в аду и то легче будет!..

Другой дьякон — старый, низенький старичок, суетливый и словоохотливый. Тонким голоском он все время жаловался на «время», на «порядки»: «Сборов совсем нет... Жить скоро станет нечем»!

27-е июня.

Волга на меня производит тяжелое впечатление. Она, кажется мне, лучше, чем что-либо другое, показывает нашу обнищальность, хищничество и дикость... Видно, что гибнет эта могучая река под медленным, но беспрестанным натиском песков. Все больше и больше наносов и мелей. В беспрестанной борьбе с песками гибнет растительность берегов.

Леса уничтожаются, частью уничтожены уже беспощадно и хищнически... Десятки пароходов и барж гуськом пробираются друг за другом... С каждым годом суживается линия плавания, чаще и чаще приходится измерять глубину, замедляя ход судна... Жалкий вид имеют эти суда, жмущиеся друг к другу, не имеющие надлежащего простора и шири. Сквозана свобода хода, возможность широкого и вольного удара. А давно ли воды Волги не имели конца и предела? Трудно было измерить их бездонную глубину, и суда беззаботно летали по ее волнам, не боясь песков и не зная мелей... Но пришел хищник, наложил свою лапу на великую реку, опустошил ее берега, и река гибнет в гневном и злобном бессилии...

Вода серая и мутная... Кажется, что собраны здесь все слезы народа, вся кровь, вытекшая из его жил, и несутся в неведомую даль народные стоны и злоба...

Я пристально смотрю в воду, и мне начинает казаться, что Волга таит что-то злобное и могучее... Что она намеренно притворяется разбитой и бессильной, ожидая момента, когда можно будет собрать все силы своих волн и разразиться могучей, всеокрушающей бурей... И разорвут эти мощные волны цепи, сдерживающие вольный полет, губящие и мертвящие... Широко и свободно польются светлые воды...

— Вишь ты, гибнет река-то...

— Что и говорить... Мельчает...

— Дать бы ее вот теперь в руки американцев... Господи Боже мой! Чудеса бы сотворили...

— Куда тут... Броненосцы бы ходить стали...

— Ау нас...

Начинаются долгие и скучные, как серый день, рассказы о грабежах и хищениях...

— Вот тебе и землечерпалка... Да-с! С одного места выкачивает, на другое валит... А потом наоборот... Пользы ни на грош, а деньги тают...

— А карманы толстеют...

— Да... Вот у нас, может знаете, Иванова Петра Лаврентьевича... Этим нажил капиталы...

Начинается рассказ про Петра Лаврентьевича, про его грабежи, обманы и надувательства, наполнившие золотом его бездонные карманы. И в рассказах этих не было ни досады, ни ненависти к грабителю, а преклонение перед его умом, ловко-

стью и зависть, что все эти подлости придумал он, а не говорившие, и что наполнены его карманы, а не их...

Тоска наполняла душу... Создавалось мучительное, безисходное положение... Когда же люди станут лучше? Когда станут понимать они, в чем настоящее счастье?!.. Много еще нужно сил, много слез, много страданий...

Когда я после двухгодичного одиночного заключения был выпущен на свободу, то чувствовал себя очень странно и неловко. Мой жизненный кругозор сузился до тюремных стен, и я долго не мог освоиться с жизнью вне тюрьмы.. Просыпаясь, я некоторое время лежал на постели, ожидая звонка, и лишь потом сообщал, что я на свободе и никаких звонков здесь не может быть... Подходя к окну, я удивлялся, почему нет решеток, и минутами являлось желание выпрыгнуть в окно и скрыться... Мне трудно было ориентироваться среди улиц и домов, и долгое время без путеводителя я был человеком беспомощным. В голове перепутывались все улицы и перекрестки, дома сливались в общую громаду... Не без труда стал я снова нормальным человеком...

Нечто подобное испытываю я и теперь... Для меня, например, очень странно, что окружающие меня люди мало заняты вопросами партийного характера, что вопрос этот не играет сколько-нибудь значительной роли в их жизни... Люди пьют, едят, любят солнечным закатом, страстно спорят о вопросах мелких и незначительных, а политика для них что-то или очень далекое и второстепенное или вовсе постороннее. Я, конечно, понимаю, отчего это. Могу убедительно и красноречиво объяснить это, но, все-же, смутное удивление то и дело рождается в моей душе, и приходится изгонять его, убеждать себя, смеяться над собой...

«Что же, ты предполагал, что все, с кем бы ты ни повстречался, будут так же пропитаны партийным духом, как люди твоей среды? Что они, подобно вам, интересуются всеми мелочами вашей жизни?.. Может быть, обсуждают резолюции и директивы?! Ха. ха, ха»...

«Да нет же, нет... Я вовсе не думал этого... Не думал ни одной минуты, но раз были такие могучие общенациональные подъемы — должно же в сознании людей остаться что-нибудь! Должны же они хоть немного интересоваться тем, каковы результаты этого подъема, что дал он и что делать дальше... Ведь, теперь тоже особое время... Происходит настойчивая ликвидация всех приобретений народа. Отобрано почти все... Да не почти, а совершенно все... Что же, разве это для них безразлично?!.. Разве это не их дело?»

«Но нельзя же беспрестанно твердить об этом... Ведь, теперь период паники при отступлении... Люди боятся друг друга... А ты хочешь, чтобы они всем и каждому твердили о своих политических взглядах... Смешно»...

«Но на что же тогда рассчитывать? Где твердая опора дальнейших событий? В чем же залог успеха?»

Опять снова и снова встает старый вопрос... Следует ли поставить крест надо всем или нет?.. Какие данные за и против... И так без конца...

С мучительной настойчивостью сегодня встает передо мной моя жизнь... Досадно за себя за многие свои поступки... Все, что не касается дела, проходило у меня вяло и некартинно.

В думах все рисовалось значительно сильнее, красивее... А когда я старался осуществить свои мысли, даже когда имел

возможность делать это, получалось что-то тусклое, а порой и смешное...

Взять хотя бы мою любовь к Розе. Когда я думаю об этом, хочется сказать ей много хорошего, красивого и сильного: самую любовь обставить такими условиями, чтобы она была чарующе-привлекательна, чиста и глубока, как борьба за идею... Но почему же, черт возьми, почему получается что-то уродливое и смешное? Встает картина моего объяснения, и становится стыдно, и больно... Почему получилось так... грустно?..

Вот что я писал сегодня Розе: «Друг мой! Ненаглядное дитя! Все мысли мои с тобой; я мысленно ласкаю тебя, честное, дорогое создание! Мне хочется быть вместе с тобой и снова сказать тебе о моей любви, о том, как тяжело мне не видеть моей дорогой девушки! Я хочу реальной ласки, хочу видеть твои чудные глаза и забыться на минуту в обаянии твоей чистоты... Как богиня, стоишь ты предо мной, чистая и ясная, далекая всего обыденного и прошлого... И мучительно кто-то твердит мне, что ты — идеал светлый и недосягаемый... Ты начинаешь говорить, и я слышу твой голос. Он ласкает мой слух, и в словах твоих я ловлю чарующую прелесть... Роскошная и чудная, как весна, ты достойна такого же совершенства, как ты сама, и я боюсь за свою любовь, нежную, как лепестки весенних цветов... Клочке неба с двумя звездами виден сквозь узкое окно моей каюты, и чудится мне, что это ты смотришь на меня и улыбаешься мне ласково и дружески... Дорогая! Мне хочется взять часть своих сил, своего счастья и бросить к твоим ногам, чтобы ты была весела и счастлива... Мучительно тянется однообразное время... Только ты разнообразишь его, давая материал моей мысли. Картины счастья рисует мое

воображение... Пропадает охота ехать дальше... Хочется вернуться к тебе, быть с тобой»...

Я отослал Розе это письмо, а потом раскаялся... Имею ли я право писать ей такие письма? ведь, она ничем не дала понять, что любит меня... Ни одного намека! Может быть, она любит другого? Может, это письмо попадет ему в руки... Создадутся необоснованные предположения, страдания... Зачем? Чего я добиваюсь? Если даже она любит меня, имею ли я право связывать ее жизнь со своей, заставляя ее переживать все невзгоды и лишения, свойственные моей профессии?.. Чорт знает!..

Но какое, впрочем, мне дело до того, что ее кто-то любит? Разве я не могу, не должен любить?! Разве счастье этого рода не отведено на нашу долю... Чорт возьми! Она не любит меня? Тогда я буду бороться за ее любовь! Я приложу все силы к тому, чтобы завоевать эту любовь... Страдания другого... Подумаешь!.. Но разве я не страдаю от одних предположений? Разве не буду страдать в тысячу раз сильнее, когда узнаю, что предположения — факт? Почему должен страдать я, а не другой? Что за дурацкое, бессмысленное самоотречение? Нет, этого не должно быть и не будет... Не будет!..

29-е июня.

Мой «отдых» принимает довольно странный характер... Тоска и спутанность мыслей с каждым днем не только не уменьшаются, но принимают более и более убийственный характер... Каждый день я жду, что новое, все разъясняющее наступит на другой день, что на завтра все изменится, все станет хорошим и ясным... От Рыбинска до Ярославля, от

Ярославля до Нижнего... Все кажется, что неопределенность зависит от парохода, от пассажиров... Что достаточно сесть на другой пароход, перевалить какую-то черту, и все пойдет по-новому, по-хорошему...

Но день идет за днем... Все те же лица, скучные, серые мысли и слова... Тоска и однообразие...

Должно же привести это к какому-либо концу... Не может это продолжаться всегда...

Досадно то, что здесь у меня как-то ни с кем нет общих интересов...

Вот учитель семинарии... Высокий, сутуловатый мужчина с карими бегающими глазками, широким лицом и огромной черной шевелюрой. Он очень словоохотлив. Охотно рассказывает о семинарии, об учителях... Приводит много интересных фактов и анекдотов... Рассказывает о целом ряде столкновений с дирекцией и высшим начальством. Его охотно слушают, смеются... Для всех он — желательный собеседник... Сельская учительница, зубной врач находят много общих тем... Беседуют, спорят... Время у них проходит разнообразно и весело... Человек пять учащейся молодежи всех заражают искренним — беспричинным, кажется мне, — весельем... Играют на рояли, поют... Бегают по площадке, наталкиваясь на пассажиров, хохочут... Целые ночи проводят на носу, прижавшись друг к другу, молчат, смотрят на Волгу и берега... А я как бы оторван от всех... Начинаю разговоры с учителем, и скоро мне становится скучно, досадно... Мысли учителя начинают казаться мелкими и ненужными, анекдоты его пошлыми и некрасивыми... Злоба приливает к сердцу... Хочется обличить перед всеми его пустоту и невежество, его пошлость и забитость.

— «Один немец путешествовал по России по железной дороге. По-русски он читал плохо: только то, что написано крупными печатными буквами. И в свою записную книжку заносил названия всех станции, через которые проезжал... Необычайно было его удивление, когда, подводя итоги своей поездки, он увидел, что все станции, записанные им, носят названия «Для мужчин» или «Для женщин». Экий бесталанный этот русский народ! — печально заметил немчура: — даже названий станций придумать не может... И как это они разбираются?!»

Учитель кончил. Неудержимый взрыв хохота...

— Чорт знает... Ха, ха, ха... И придумает же человек...

— А потом пишут в своих газетах о нашем невежестве...

— Свое невежество на нас переносят...

— Да... «Для мужчин»!.. Чудак...

Меня душит злоба... Анекдот этот я слышал давно. Еще тогда, когда в почтово-телеграфной конторе старались убить время праздной болтовней... И теперь здесь, среди более или менее развитых людей, учитель, воспитатель юного поколения, не находит иной темы для разговора... Неужели же и ему чужды вопросы политической жизни? Неужели и он стоит в стороне от борьбы за новую счастливую и светлую жизнь? Неужели довольствуется впечатлением, которое производит на слушателей рассказами дурацких анекдотов? Хочется унижить его, пристыдить...

— Да, ведь, это же старо, как мир...

— Старо!.. Хе, хе... Не все старое плохо... Не все... Есть и хорошее...

— Но ваши анекдоты уже совсем не хороши... Вы думаете сказать остроумное, а говорите глупости.

— Может быть... Хе, хе... Для кого как...

— Удивляюсь, как это у вас нет иных тем для разговора...

— Не все же заниматься философией... Наконец, станет скучно...

— Но вам, воспитателю юношества, кажется, не мешало бы быть немного серьезней... А вы все играете какую-то шутковскую роль...

— Не всегда серьезность хороша... В данном случае вы — не юношество, и вас не нужно, ведь, воспитывать.

Я смотрел на окружающих и видел, что сочувствие их не на моей стороне. Все они более благосклонны к учителю, который смешит их и доставляет им удовольствие... А на меня бросали подозрительные и недоверчивые взгляды... «Кто его знает, — говорили эти взгляды — может быть, это хороший человек, может быть, шпион, который «подъезжает»?.. Вообще, с ним нужно держаться поосторожнее»... Осторожно держались они, скучен и досадлив для них был я... Мы подозрительно смотрели друг на друга и молчали, изредка обмениваясь ничего не значащими фразами.

Пробовал я подойти и к учащейся молодежи. Вот здесь, думал я, несомненно, есть светлые порывы и широкие задачи... Ведь, это люди, в которых есть зародыш будущего, это носители этого будущего... С ними у меня, агитатора до мозга костей, найдется много общего... Они скорее всего поймут меня, и я пойму их... Я подходил к ним, начинал разговор...

— Куда вы едете?

— Никуда... Совершенно никуда... Вот едем до Астрахани, а потом обратно.

— А потом?

— Потом?.. Не знаем... Может быть, опять в Астрахань...

— Вы отдыхаете, значит?

— Да, конечно... Ведь, целый год, представьте себе, учение, политика... Нервы ни к чорту не годятся... Теперь обо всем забыли... Отдыхаем, стараемся быть веселыми и успокаиваем свои нервы...

— Но, ведь, теперь очень серьезный политический момент...

— Что прикажете делать?.. Определенных задач у нас нет, а так себе, вертеться в области желаемого, не интересно и бесполезно... Ведь, теперь никто ничего не делает...

— Кое-кто кое-что все-таки делает...

— Да что же... Убеждают себя люди, что делают что-то... Только убеждают, а так, вообще, ведь, ничего нет... Настроение повсюду упадочное...

— Ну, и что же?

— Да ничего... Мы вот отдыхаем... Отдыхают и другие... А что будет потом, не знаем... Нужно будет что делать — будем делать, утихнет все — будем учиться...

Они отдыхают, но, ведь, отдыхаю и я... Разница, очевидно, в том, что они умеют пользоваться отдыхом, а я не умею... Я и к отдыху стараюсь примешать задачи политического момента... У меня получается путаница... Ведь, нужно же, в конце концов, признать, что теперь все отдыхают... Отдыхают крестьяне. Отдыхают, занятые своими хозяйственными дела-

ми, от политической жизни... Отдыхают рабочие... И, если мы стараемся показать, что не отдыхаем, а что-то делаем, то деятельность наша — понятие условное... Мы выдумываем себе деятельность — и она, выдуманная, непонятна массам... Массы считают ее лишней и ненужной... Но, может быть, это не так... Может быть, это только предположения человека уставшего, с развинченными нервами?... Ведь, я уехал, я вдали от людей, которые работают, которые находят точку приложения своих сил...

А Герасим? А Нил? Почему погибли эти люди? Почему они ушли, решив, что теперь точку приложения их сил найти нельзя?... Почему?!

Но разве Герасим для меня авторитет? Ведь, помимо него, остались десятки, сотни, тысячи других, которые иначе смотрят на вещи, которые хоть что-нибудь да делают... Несомненно, ведь, что Герасим человек разочарованный, усталый... Он погиб потому, что исчерпал все свои силы, что у него не было нового запаса... А у меня разве есть особый запас? Почему же я тогда так чужд людям, которые меня окружают? У них совершенно иные интересы, иные задачи... Они отдыхают и только... И смеются надо мной, когда я к своему отдыху стараюсь примешать что-то особое... Они находят это искусственным... Они понимают, наверное, что это особое я стараюсь применять так себе, для себя... Что особого, серьезного значения это не имеет и не может иметь... Что же делать? Ведь, я еду отдыхать и сейчас должен отдыхать... Значит, нужно забыть все, кроме того, что касается отдыха... Нужно постараться слиться с ними... Но как отбросить от себя все вопросы? Как забыть их? Как выкинуть из головы проклятое «а если»? Как!

Вот на это-то и нет сил. Вот этого-то я и не могу решить в ту или иную сторону... Если они спокойно могут говорить: «будем ждать», то я не могу этого сказать...

30-е июня.

Весь день провел внизу, «в артельной»... Здесь легче дышалось... Чувствовалось что-то родное и близкое... Пассажиров здесь очень много: преимущественно едущие на заработок рабочие и крестьяне... Лежали на нарах, пили чай, играли в карты... Веселый парень с громадной копной перепутанных волос играл на гармонике, присвистывал и припевал...

— Бросил бы ты пилить-то

— Заткни уши, коль не охота слушать...

И снова на минуту остановившийся музыкант, наклонял голову и заводил бесконечный ряд веселых частушек...

Пожилой крестьянин вслух читал газету, комментируя и разъясняя отдельные места... Это был типичный деревенский патриарх, с длинной бородой, красивым открытым лицом, медленными, обдуманными движениями. Вокруг него сгруппировалось человек двадцать слушателей, которые поминутно делали вставки и замечания... Здесь было жарко, пахло потом, грудными детьми, но я чувствовал себя лучше, как в родственной атмосфере... Здесь легко ориентироваться... Эти люди скорее поймут меня, и я пойму их... На душе становилось легче. Просыпалась нежная любовь к этим оборванным бородастым людям. Какая-то скрытая, могучая сила таилась в них, манила и притягивала. Я чувствовал, что во мне существуют какие-то нити, которыми я крепко связан с ними, что мне нельзя уйти от них, что без силы, которую они вливают в меня,

без надежд, которые я возлагаю на них, — я лишний и ненужный человек... И все больше и больше я сознавал, что я не могу уйти от массы, что я, как и все мы, люди подполья, без массы лишние люди... Что теперь, в настоящее время, мы не в силах, не сумеем построить себе какую-либо личную жизнь... Поэтому-то, да, поэтому я и смешон в своей любви к Розе, смешон, в своих столкновениях с людьми «надполья»... Я похож на человека, долго жившего на необитаемом острове, который попал бы в общественную среду... Герасим говорил, что мы—односторонние уроды... Кажется, это правда. Но правда только относительно известных общественных слоев... Ведь, вот с рабочими и крестьянами я свой человек...

— Пятьдесят пять человек, говорят, уже повешены... Не знаю, правду говорят, аль болтают зря... В Вольске весовщик рассказывает...

— Пишут вот, судить их будут... А насчет казни ничего...

— Под суд, значит, отданы?

— Вот, вот... Разборка делу будет...

— Болтают зря, значит... Насчет казни, то-есть...

— Болтают...

— Я и то подумал, как же это, мол, можно без суда?.. Значит, зря?

— Зря...

— А если не повесили, то повесят еще... Да и следует! — заметил человек с брюшком, в красной рубахе и черном жилете. Он сидел за столиком, пил чай, закусывая яйцами и белым хлебом... Круглое, красное лицо его блестело от пота, глаза бежали ехидно и подозрительно... Такими я рисовал себе палачей...

— Следует, говоришь? — оторвался от газеты деревенский патриарх.

— Не то, что повесить, а четвертовать мало...

— За что же, к примеру, должна последовать пм такая казнь?..

— А за то — не совращай народ... Вот за что!

— Та-а-а-к...

— Ведь, они, мошенники, против чего пошли? А?!.. По-твоему, помиловать, что ли, таких надо? А?

— Я не про то... Я спросил только, какая, мол, их вина...

Меня бесил этот жирный, самодовольный человек... Несомненно, думал я, это деревенский кровопийца, довольный своей особой и своей грабительской деятельностью... Ему достаточно и того, но эти-то, оборванные и полуголодные, для чего они должны довольствоваться его рассуждениями?!.. Неужели они сами, наконец, не понимают, что он говорит лишь то, что желательно ему, что оберегает его интересы?..

Я высказал свое мнение. Указывал, кто чего хотел... Вокруг нас собралось довольно много пассажиров... Слушали и молчали. Никаких протестов или одобрений...

10-е июля.

Мой «отдых» принимает своеобразный характер. Все мысли о том, чтобы отдохнуть, забыться, почитать, свелись к простым иллюзиям... Время проходит или в бесцельных скитаниях или в мелких столкновениях, мучительных, ненужных... Вопрос о перспективах освободительного движения

всплывает беспрестанно. То и дело наталкивают на него всевозможные, порой мелкие и ничтожные факты, и встречи...

Пять дней уже живу в деревне... Встаю рано, шляюсь по лесу, по полям... Беседую с крестьянами, оказываю им мелкие услуги... То и дело вступаю в мелкие столкновения с сельской администрацией, начиная от лесника и кончая стражникам... Споры и столкновения носят в большинстве случаев мерный характер: та и другая сторона высказывает свои мнения, обсуждает их и спорит... Я держусь очень осторожно, но все-таки успел обратить на себя некоторое внимание...

Факты деревенской жизни — тяжелые и мучительные — заставляют порой сбросить маску благонадежности, кричать, бичевать и звать...

В первый день моего приезда сюда я натолкнулся на одну из таких мучительных сцен... Десятка полтора крестьянских детишек бежали за молодой, обтрепанной и грязной женщиной... Она время от времени останавливалась, махала на них руками и грозила. Но, очевидно, угрозы мало пугали ребят... Они тотчас окружали женщину, теребили ее костюм, смеялись...

— Марька, покажи, как тебя...

— Отстаньте... Уйдите...

— Марька, покажи, что ль...

Женщина делала неприличный жест, хохотала и бежала дальше... Дети хохотали, подражали ее жестам и бежали за ней...

— Чего вы, окаянные, ее одолеваете! Пошли прочь!

Дети остановились на минуту, посмотрели на кричавшего старика и конфузливо разбрелись...

— Что это за женщина, бабушка?

— Да Марья хуторская... Помешана малость, ну, они ее и одолевают...

— А что с ней?

— Да так... Вишь, здесь забастовка была у нас прошлый год... Так потом... напугали бабу... Знамо дело, и то сказать, баба работающая была, тихая... Муж в городе хорошее жалованье получает... Испугалась, что ли, в обиду ли больно вошла — неизвестно... А помешалась с того самого дня...

— Ну, а вы что же?..

— Да что же станешь делать-то?..

— Так и забыли все?

— Как забыть! Ведь, она вон, Марья-то, казнимся на нее... Каждодневно ее все видят...

И подобные сцены встречаешь в деревне почти на каждом шагу... Везде остались следы усмирений и жестокостей... Они не дают возможности забыться, они беспрестанно с новой жгучей силой воскрешают то, что так настойчиво стараешься временно похоронить...

Что же, однако, будет?... Деревня не дает ответа на этот вопрос... Ясно одно, что народ ждет... Ясно, что он хочет новой жизни... Все остальное темно и туманно...

И так изо дня в день... Хожу по улицам, наталкиваюсь на жестокие факты, мучу себя сотнями неразрешимых вопросов... Плохо сплю ночи... А новый день начинается тем же и так же кончается...

13-е июля.

Сегодня получил письмо от Розы. Коротенькое, счастливое письмо... «Я выхожу замуж... Не думайте, что шучу... Выхожу самым серьезным образом... Надеюсь, что это не помешает нам быть самыми близкими друзьями»...

Конечно, еще бы помешать...

Однако, не все ли равно... Ведь, в конце концов, иного я и не ждал... Да и нельзя было ждать иного... Удивительное дело, право! Высунул человек голову из подполья и решил в один миг догнать то, что утеряно... В один миг решил и личную жизнь создать, и науку изучить, и с искусством познакомиться...

Все мои мысли об отдыхе и прочем кажутся теперь смешными. Мне стыдно за все те скачки и прыжки, которые сделаны мной в последние два месяца... Довольно! Начудил немало. Познакомился кое с кем, кое с чем... «Отдохнул»... Теперь, кажется, назад с новым запасом сил!..

Ха, ха, ха... Однако, написать что-либо Розе или нет? Что писать? Холодно поздравить или искренно пожелать счастья? Лучше ничего! Ничего!.. И без того она, вероятно, теперь смеется со своим женихом над моими глупыми признаниями и вздохами... Все кончено... Ничего не было!..

Начинается мучительная тяжелая боль... Тоска по чему-то, бесповоротно потерянному... Чудак Герасим... «Возьми ее, любп ее»... Ха, ха, ха... Ничего не нужно... По-старому лучше... К чорту эти столкновения!..

15-е июля.

Сегодня я окончательно решил ехать обратно. Маленький случай ускорил мое решение на целую неделю... Письмо Розы отдалило, было. его... Но теперь я решил бесповоротно...

Мы — несколько крестьян и я — отправились ловить рыбу... Пришлось идти через сельцо, прилегающее к железнодорожной станции... Маленькая станция, где поезд самое большее стоит пятнадцать минут... Вообще, сельцо это имеет значение лишь осенью, когда сюда съезжаются много скупщиков, и сельцо превращается в бойкий центр хлебной торговли... Вообще же, здесь ездят по железной дороге мало: изредка слезет какой-либо пассажир или поедет в город кто-либо из сельской администрации или духовенства.

Мы зашли на станцию выпить...

Вдруг кто-то сзади крепко обхватил меня за шею и начал целовать... Я хотел, было, вырваться, не мог: крепкие руки сдавили меня, шею щекотала борода...

— Кто это?

— Товарищ Виктор! Товарищ! Какими судьбами вы здесь?

— Да кто вы? Пустите на минуточку.

— Не помните? А я вас хорошо помню. Ну, да и где же вам всех нас упомянуть... Я с И-ского завода... Помните, вы бывали у нас на митингах?..

— Что же вы делаете здесь?

— Да, ведь, выслан я из города-то... На родину выслан... Пятый месяц здесь живу... Тоска! Батюшки мои, какая тоска! Руки на себя наложить много раз собирался... Один, как есть один... Кругом подозрительно посматривают... Думал, было, организацией заняться — куда тут! Оставить все пришлось... Вот и слоняюсь без дела... Хоть человека какого увижу из своих

мест — рад, словно праздник настает... Каждый день хожу к поезду на станцию... Большой тракт-то: кое-кого и встречаю... Вот вас встретил... Ну, как там у вас? Что нового? Как товарищи? Герасим как поживает?

Мне было мучительно стыдно сознаться, что я «отдыхаю» уже два месяца... Ведь, товарищи там теперь работают, с пользой и смыслом тратят свои силы... А я? Тоже трачу силы, нервы расшатаны еще больше, чем было там, при работе, но какой от этого смысл, какая польза? Есть ли какой смысл хоть для самого себя? Нет и нет... Ничего, кроме бессмысленной пустоты и ненужных скитаний... Для чего я продолжаю околачиваться здесь? Чего ищу? Чего жду?..

Что мог, я рассказал моему тоскующему товарищу... Мы долго беседовали с ним, строили различные планы... Что-то старое наполнило душу, сразу вытеснив из нее все вопросы личных столкновений... Стало легко и весело... Товарищ долго рассказывал о своих муках, о столкновениях с крестьянами, с полицией... Мне хотелось броситься к нему на шею, рыдать, целовать его... Довольно куролесить! Есть глубокий смысл жизни, есть цель, в которую верят они, к которым стремится товарищ, в которую страстно верю я... Скорее туда к ним! Ни минуты задержки!..

17-е июля.

Мучительно тянулось время до поезда... Боясь опоздать, я пришел на станцию часом раньше... Стрелка часов остановилась на одном месте и не хочет двигаться вперед... Медленно тащится поезд... Но, слава Богу! Кончено, все и я еду... Скоро буду там!..

19-е июля.

Сегодня целый день подводил итоги своей жизни за два последние месяца... И все мне кажется странным и непонятным... Словно я проснулся после долгого сна, тяжелого и кошмарного... Откуда взялась эта неуверенность в своих силах, эта разочарованность? Смешно! Словно политические события можно печь, как блины... Они рождаются медленно, с мучительными потугами и болями... Это я знал давно. Почему же тогда этот мучительный анализ, эти прыжки в уединение и скачка на Волгу? Отчего взялось все это? Какая сила бросила меня сюда, бросала из стороны в сторону? Очевидно, она все-таки есть... Да, несомненно, есть... Ведь, не что иное, как она, эта проклятая сила, свела с ума Нила и привела к самоубийству Герасима... Она и меня заставила метаться из стороны в сторону, заставила полюбить Розу... Если это была усталость физическая, то, ведь, она не прошла и теперь. А между тем, я — еще так недавно относившийся к нашим собраниям, как к чему-то надоедливому,—теперь считаю минуты, когда снова буду принимать в них участие. Может быть, это усталость от политической жизни, стремление к разнообразию... Вот, я вышел из подполья, хватался за то, другое и третье—что дало мне это? Ровно ничего! Ничего, кроме тоски и мук... И подполье снова манит к себе...

Только там я чувствую себя в своей атмосфере...

Поезд стучит, выбрасывая тысячи искр... Мне кажется, он оставляет позади себя все тяжелое и тоскливое...

20-е июля.

Слезая сегодня с поезда, я подумал о Розе... Сердце сжалось мучительно и тоскливо... Но только на один момент... Все это забудется и изгладится... А потом? Потом явятся новые впечатления... Во всяком случае, с ней мы будем хорошими товарищами...

18-е августа.

Сейчас перечитал свои заметки... Многого успело изгладиться, отчасти кажется смешным и странным... Уже месяц, как я непрерывно занят, заместив товарищей, уехавших «отдохнуть» ... Теперь я посмеиваюсь над их «отдыхом» ... Впрочем, может быть, кое-кто будет счастливее меня...

Начинается период нового подъема... Настроение заметно повышается... Очевидно, скоро настанет время, когда никто из нас не захочет отдыхать...

1907 г.